

962.7(57)

В 14

БДУ

С. И. ВАЙНШТЕЙН

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ ТУВИНЦЕВ

902.7(5)
В 14

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ
ИМ. Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЯ

С. И. Вайнштейн

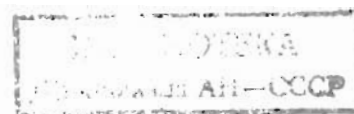
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ЭТНОГРАФИЯ
ТУВИНЦЕВ

ПРОБЛЕМЫ
КОЧЕВОГО ХОЗЯЙСТВА

173461 L



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1972



ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора	3
Введение	6
Глава I. Скотоводство и формы кочевания	11
Глава II. Саянское оленеводство и происхождение оленеводства в Евразии	88
Глава III. Способы и средства передвижения кочевых скотоводов	126
Глава IV. Земледелие у тувинцев в XIX — начале XX в. и тра- диции земледелия у кочевников	155
Глава V. Присваивающие формы хозяйства	181
Глава VI. Домашнее производство и ремесло. Роль и специфика ремесла у кочевников	231
Примечания	288
Цитированная литература	291
Основные архивные источники и музейные коллекции	307
Список сокращений	309
Указатель этнических названий	311

Севьян Израилевич Вайнштейн
ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭТНОГРАФИЯ ТУВИНЦЕВ.
Проблемы кочевого хозяйства

Утверждено к печати
Институтом этнографии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая
Академии наук СССР

Редактор Я. Б. Гейшериц
Младший редактор Н. И. Иванова
Художник М. И. Эльцуден
Художественный редактор И. Р. Бескин
Технический редактор Л. Ш. Береславская
Корректор В. В. Воловик

Сдано в набор 10/V 1972 г.
Подписано к печати 21/VIII 1972 г.
А-10085. Формат 60 × 90^{1/16}. Бумага № 1
Печ. л. 19,75. Уч.-изд. л. 21,53
Тираж 1400 экз. Изд. № 2922. Заказ 591
Цена 1 р. 56 к.

Главная редакция восточной литературы
издательства «Наука»
Москва, Центр. Армянский пер., 2
3-я типография издательства «Наука»
Москва К-45, Б. Кисельный пер., 4

Ответственный редактор
С. Г. КЛЯШТОРНЫЙ

ОТ АВТОРА

Настоящая работа посвящена историко-этнографическому исследованию кочевых форм хозяйства тувинцев в XIX — начале XX в. в связи с проблемами истории хозяйственно-культурных типов степных и таежных кочевников Азии. Такое построение работы вызвано необходимостью использовать богатейшие и в основном не введенные ранее в научный оборот историко-этнографические и статистические материалы по хозяйству кочевников Тувы для разработки ряда общих проблем истории кочевничества.

Теория хозяйственно-культурных типов, создание которой явилось одним из крупных достижений советской исторической науки, справедливо отводит кочевникам Азии важную роль во всемирно-историческом процессе. Тем не менее многие кардинальные вопросы формирования, специфики и структуры хозяйственно-культурных типов кочевников остаются мало-разработанными; весьма спорны и противоречивы суждения о развитии орудий и средств производства и обусловленных ими форм собственности и производственных отношений в рамках хозяйственно-культурных типов кочевников Азии.

В связи с этим изучение кочевого хозяйства тувинцев представляет исключительно большой интерес, поскольку Тува, расположенная в центре Азиатского материка, входит в зону формирования и длительного взаимодействия двух крупнейших хозяйственно-культурных типов кочевников Азии — скотоводов сухой зоны умеренного пояса и таежных охотников-оленоводо-вод, а кочевые формы хозяйства в силу ряда исторических причин сохранялись здесь значительно дольше, чем у других народов СССР [История Тувы, 1964, т. II].

Как известно, вплоть до победы народной революции и образования в 1921 г. Тувинской Народной Республики (ТНР) в Туве господствовали патриархально-феодалные отношения и отсталые формы хозяйства. Революция положила начало строительству новой Тувы, а после вступления ТНР в состав Союза ССР (1944 г.) и успешного завершения в начале 50-х годов коренных социалистических преобразований, включавших коллективизацию и переход аратов на оседлость, отсталые формы кочевого хозяйства навсегда ушли в прошлое и тувинский народ стал активным участником строительства коммунистического будущего.

Опираясь на результаты многолетних собственных полевых исследований и изучение обширной литературы и музейного материала, автор рассматривает традиционные формы хозяйства тувинцев в связи с общими проблемами хозяйственно-культурной истории кочевников Азии. В книге рассмотрены такие вопросы, как происхождение оленеводства у народов Евразии, формы кочевания и их историческое развитие, земледельческие традиции у кочевников и др.

* * *

Предлагаемая читателю книга отнюдь не претендует на исчерпывающее решение всех поставленных в ней проблем, тем более что детальная разработка многих из них требует дополнительных исследований как в самой Туве, так и в других районах, где шло формирование степных и таежных кочевников Азии.

История этнографического изучения тувинцев в данной работе не рассматривается, так как этому вопросу посвящен ряд моих статей [Вайнштейн, 1965; его же, 1968б; его же, 1968в]. Следует лишь отметить, что приведенные в работе материалы по исторической этнографии тувинцев получены из двух основных источников. Одним из них служат свидетельства путешественников и краеведов, наблюдавших быт тувинцев в XIX — начале XX в. Помимо опубликованных работ автор привлек архивные источники, хранящиеся в центральных и местных архивах СССР, в том числе в Москве, Ленинграде, Кызыле, Красноярске, Иркутске, Минусинске и других городах (часть этих архивных материалов впервые вводится в научный оборот), а также тувинские этнографические коллекции в центральных и сибирских музеях СССР и некоторых зарубежных музеях. Для сравнительного изучения этнографии тувинцев автор использовал наряду с опубликованными источниками свои личные этнографические наблюдения у тофаларов, хакасов, кетов, бурят, монголов и некоторых других народов, а также характеризующие их архивные и музейные материалы. Другим источником являются этнографические исследования автора в Туве, которые были начаты в 1950 г., т. е. в то время, когда часть тувинцев жила еще в условиях кочевого быта, и сообщения его информаторов-тувинцев (по специальным программам опрошено свыше пятисот человек, причем наиболее старые из них родились в 60-х годах прошлого века).

Изучение исторической этнографии Тувы потребовало многолетних полевых исследований. Автор вел их почти двадцать лет во время специальных командировок и длительных экспедиций, организованных Тувинским республиканским музеем, Тувинским научно-исследовательским институтом языка, литературы и истории и Институтом этнографии АН СССР. Эти экспедиции охватили все районы Тувы, включая наиболее труднодоступные, расположенные на востоке республики, — Тоджу и Тере-Холь.

В ходе командировок и экспедиций автор получал помощь многих тувинских общественных и научных организаций, а также отдельных товарищей, которым он выражает свою искреннюю признательность. С особой благодарностью хочется отметить помощь безвременно скончавшихся молодых участников саянских экспедиций Бальчибу Найдын-оола (экспедиция в Восточный Саян в 1951 г.) и Кысыгбая Доржу (экспедиция в Восточный Саян в 1956 г.), самоотверженно деливших все, нередко чрезвычайно большие, трудности напряженной работы в сложных экспедиционных условиях.

Автор считает своим приятным долгом выразить глубокую признательность всем, кто оказал помощь своими консультациями и замечаниями, и прежде всего тувинским коллегам — Ю. Л. Аранчыну, Л. В. Гребневу, А. К. Калзану, М. Б. Кенин-Лопсану, Х. М. Сейфулину, Н. А. Сердобову.

В настоящей работе написание всех тувинских терминов приближено к правилам современной тувинской орфографии и живому произношению, за исключением тувинских букв *ң*, которая передается сочетанием *нг*, и *Ө*, *У*, которые соответственно заменяются знаками *о̄*, *ӯ*. Следует оговорить, что в приводимых тувинских терминах буквы *б* и *д* в начальных положениях произносятся глухо (как русские *л* и *т*), исключая интервокальное положение их на стыке слов.

В заключение необходимо отметить, что, поскольку книга была утверждена к печати в начале 1969 г., автор лишь в небольшой мере имел возможность учесть издания, вышедшие после этой даты.

ВВЕДЕНИЕ

Природные условия Тувы. Расположенная в центре Азии, Тува является частью обширного Саяно-Алтайского нагорья. Общая площадь Тувы составляет 170,5 тыс. кв. км. На северо-западе, севере и северо-востоке Тувинской АССР простираются Саянские горы, на западе ее границы подходят к хребтам Алтайской горной страны, на юге республики расположены хребты Танну-Ола, южнее которых в пределах Тувы начинаются полупустынные степи центральноазиатской Котловины Больших озер. Наиболее высокогорный район Тувы расположен на ее юго-западе (хребты Цаган-Шибэту, Чихачева, горный массив Монгун-Тайга).

В Туве много рек. Здесь берет начало одна из величайших рек мира — Енисей, носящий в своем верхнем течении тувинское название Улуг-Хем («великая река») и имеющий протяженность в пределах республики свыше 200 км. Один из самых больших левых притоков Енисея, Хемчик, также расположен в Туве (в ее западной части). Одна из основных составляющих Енисей рек — Бий-Хем течет на северо-востоке республики, другая — Каа-Хем — на юго-востоке.

В Центральной, Западной и Южной Туве расположена весьма значительная степная (горно-степная) зона, охватывающая Тувинскую (Хемчикскую и Улуг-Хемскую) и Убсу-Нурскую котловины, горы Юго-Западной Тувы и южные склоны Западного Саяна. Горно-степная зона занимает 70 тыс. кв. км, т. е. почти половину всей территории республики. Здесь издавна расположены основные пастбища для скота. Растительность в степной зоне распространена неравномерно — наиболее сухая степь Убсу-Нурской котловины имеет полупустынный характер с редким травостоем, в других котловинах растительность несколько богаче, особенно в речных долинах. Степные участки сравнительно высоко поднимаются в горы: так, на южных склонах Танну-Ола они достигают высоты почти в 2000 м над уровнем моря. На северных, более увлажненных склонах гор степные участки обычно располагаются ниже: так, по северным склонам Танну-Ола степи поднимаются до 1200—1300 м, а на Западном Саяне

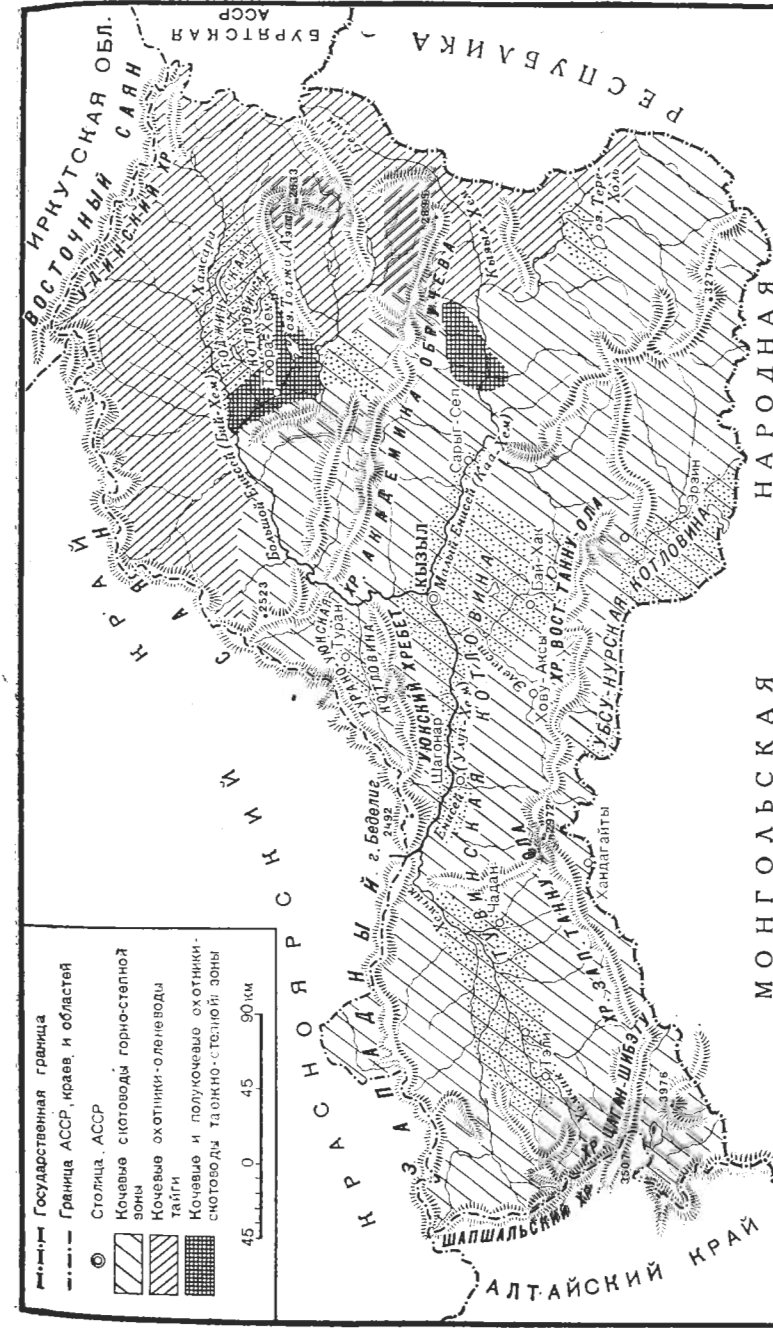


Рис. 1. Хозяйственно-культурные типы Тувы (XIX — начало XX в.)

лишь до 900—1000 м. На более высоких участках северных склонов обычно растут небольшие леса; лесные рощи встречаются и в долинах степных рек.

В степях водятся лисы, волки, суслики, дрофы, куропатки и другие животные и птицы, на лесистых склонах встречаются косули, а в степях Убсу-Нурской котловины также антилопы дзерен.

Для Тувы характерно чередование горных хребтов и межгорных котловин. В степных котловинах и на безлесных склонах гор расположены основные пастбища для скота. Многочисленные реки и ручьи в горных районах обеспечивают скот водопоями. Пастбищному скотоводству в Туве способствует то, что ранние осенние морозы как бы консервируют для скота травяной покров. Сравнительно небольшое количество выпадающего снега оставляет пригодной для выпаса скота значительную часть пастбищных угодий, в особенности на склонах гор, где ветер сдувает снег. Впрочем, в отдельные неблагоприятные годы снега выпадало намного больше, что приводило в прошлом к огромным потерям скота.

В Восточной Туве (Тоджа, Тере-Холь) господствует горная тайга, охватывающая обширную территорию, в том числе бассейн Бий-Хема и среднее течение Каа-Хема (Восточный Саян, хребет академика Обручева, Тоджинская котловина и др.). В Восточной Туве сосредоточено свыше 60% всех лесов Тувы; в них преобладают сибирская лиственница, кедр, растут также березы, ели, пихты. В тайге обитает множество промысловых животных, в том числе белка, соболь, бобр, выдра, копытные — лось, марал, косуля и др. Многочисленные водоемы изобилуют рыбой (харнус, таймень, сиг). В высокогорном, лишенном лесов поясе произрастает лишайник — излюбленная пища оленей.

Следует сказать, что природа Восточной Тувы во многом сходна с природой более северных таежных районов Сибири, а горно-степная зона республики по своим природным условиям близка к сухой зоне Центральной Азии, причем полупустынные степи, расположенные к югу от Таниу-Ола, являются северной периферией центральноазиатских ландшафтов [Шахунова, Лиханов, 1955].

Хозяйственно-культурные типы Тувы в XIX — начале XX в. Понятие хозяйственно-культурных типов (ХКТ) было введено в советскую науку учеными, которые рассматривали их как исторически сложившиеся комплексы особенностей хозяйства и культуры, характерные для народов, обитающих в определенных естественно-географических условиях и находящихся на определенном уровне социально-экономического развития [Левин, Чебоксаров, 1955, 4]. Этнография свидетельствует о том, что у одного народа, живущего в различных природных условиях, может быть несколько ХКТ.

Яркий пример тому — тувинцы, у которых в XIX — начале XX в. были представлены три ХКТ.

Кочевые скотоводы горно-степной зоны населяли большую часть Тувы — ее центральные, южные и западные районы. Они составляли абсолютное большинство населения (около 95%), условно именуемое нами западными тувинцами [см.: Вайнштейн, 1969, 12]. Их хозяйство основывалось на пастбищном скотоводстве (мелкий и крупный рогатый скот, лошади, верблюды) с сезонными «вертикальными» перекочевками и дополнялось у части населения орошаемым земледелием, спорадической охотой, собирательством и рыболовством. Основным жилищем служила решетчатая войлочная юрта. Одежду шили главным образом из выделанных шкур домашних животных, войлока и ткани. Эти и некоторые другие хозяйственно-культурные особенности были характерны также для тех частей бурятского, монгольского, киргизского, хакасского и некоторых других скотоводческих народов, которые населяли горно-степные районы. На этом основании мы считаем возможным выделить в ХКТ кочевых скотоводов сухой зоны умеренного пояса горно-степной центральноазиатский подтип (или вариант), к которому мы относим хозяйственно-культурный комплекс западных тувинцев.

Охотники-оленоводы горно-таежной зоны населяли в Восточной Туве бассейны верхних течений рек Бий-Хема и Каа-Хема. В начале XX в. насчитывали около 400 хозяйств, т. е. около 3% коренного населения Тувы. Основу их хозяйственной деятельности составлял круглогодичный охотничий промысел на мясных животных и сезонный — на пушных с выраженной специализацией в сторону последних, а также оленеводство (выючно-верховое, с доением, а при крайней необходимости и забоем на мясо). Важную роль играло собирательство, а для части населения и спорадическое рыболовство. Жилищем служил чум, крившийся летом берестой, а зимой шкурами копытных. Одежду шили главным образом из выделанных шкур диких животных. Эти и некоторые другие хозяйственно-культурные особенности были характерны также для тофаларов, камасинцев, части дархатов, в связи с чем мы относим их хозяйственно-культурный комплекс к выделяемому нами горно-таежному саянскому подтипу ХКТ охотников-оленоводо- таежной зоны жили двумя компактными группами в пограничной зоне Восточной Тувы на стыке горно-степных и горно-таежных районов в среднем течении рек Бий-Хема (сумон Кол) и Каа-Хема (сумон Бельбей), насчитывая в начале XX в. около 250 хозяйств, т. е. около 2% всех тувинцев. Их хозяйственная деятельность базировалась на охоте и пастбищном скотоводстве (в основном лошади и крупный рогатый скот),

СКОТОВОДСТВО И ФОРМЫ КОЧЕВАНИЯ

ИЗ ИСТОРИИ СКОТОВОДСТВА В ТУВЕ

причем для одних хозяйств ведущую роль играла охота, для других — скотоводство (последних можно было бы называть скотоводами-охотниками). Пресобладание одного из этих двух видов хозяйственной деятельности зависело от обеспеченности скотом и колебалось в отдельные годы в ту и другую сторону. Сезонные перекочевки совершались на небольшие расстояния. Охотничий промысел велся круглый год на мясных и сезонно на пушных животных. У значительной части населения важную роль играло собирательство, меньшую — рыболовство. Основным жилищем служил чум, круглый год крытый берестой, а у некоторых и корой лиственницы. В конце XIX — начале XX в. небольшая часть охотников-скотоводов вела полукочевое хозяйство, имея на зимниках постоянные срубные жилища. В их культуре сочетались черты, близкие как таежным охотникам, так и горно-степным скотоводам. Например, конструкция жилища и промысловая одежда были сходны с применяемыми таежными охотниками-оленьеводами, а утварь и остальная одежда аналогичны той, которой пользовались горно-степные скотоводы. Сходные хозяйственно-культурные особенности были в определенной мере присущи и небольшой части алтайцев, бурят, монголов, хакасов, живших в Саяно-Алтае и в сопредельных к нему районах на границе глухой тайги и горных степей. Это позволяет отнести их хозяйственно-культурный комплекс к выделяемому нами горному таежно-степному саяно-алтайскому подтипу ХКТ охотников-скотоводов.

Южная Сибирь и Центральная Азия относятся не только к областям древнейшего скотоводства Старого Света, но и являются одним из мировых центров одомашнивания животных. Известно, что здесь поныне живут дикие лошади Пржевальского, двугорбые верблюды, яки и северные олени — ближайшие сородичи разводимых в этом районе домашних животных. К сожалению, в отличие от Передней и Средней Азии история скотоводства здесь остается почти неизученной.

Наиболее ранние костные остатки домашних животных, выявленные в бассейне верхнего и среднего Енисея, датируются энеолитическим временем. Несомненно, что уже в III тысячелетии до н. э. жившие здесь племена афанасьевской культуры знали пастушеское скотоводство, а в их стадах был крупный и мелкий рогатый скот и лошади [Киселев, 1951]. Оседлые племена, населявшие речные долины Западной Тувы в эпоху бронзы, пасли свои стада не только в приречных степях, но и осваивали высокогорные пастбища; об этом, в частности, свидетельствуют наши находки следов стоянок пастухов того времени в горах Алашского плато.

В середине I тысячелетия до н. э. в степях Южной Сибири совершился переход к формам хозяйства, характерным для ранних кочевников [Грязнов, 1955; его же, 1957], что явилось частью общенсторического процесса формирования хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов, протекавшего на огромных степных пространствах Евразии [Вайнштейн, 1971в]. Материалы археологических раскопок казылганских¹ памятников в Туве (VII—III вв. до н. э.) позволяют сделать вывод, что в основе хозяйства населения горно-степных районов лежало полукочевое скотоводство, сочетавшееся с земледелием, охотой, собирательством. Казылганцы совершали в горных степях сезонные «вертикальные» перекочевки, сооружая, по видимому, в местах тебеновок постоянные постройки. Скотоводы Тувы, как и сопредельных степных районов Центральной

Азии, имели в это время, судя по остеологическим материалам и наскальным изображениям, стада овец, коз, лошадей, верблюдов, а возможно, и яков. Казылганские скотоводы заселяли также Тоджинскую котловину в Восточной Туве, где пасли скот вблизи тайги на открытых, свободных от леса пастбищах. Для этой группы было характерно развитие хозяйственно-культурных особенностей, присущих охотникам-скотоводам. Их хозяйство отличалось как от того, которое было характерно для соседних горно-степных племен, так и от охотничье-рыболовецкого хозяйства местных таежных племен, являясь своеобразной промежуточной формой. В их стадах преобладали лошади, а овец и коз здесь почти совсем не разводили. Особенности табунного скотоводства определялись небольшими размерами пастбищ, ограниченной возможностью перекочевков, снежными зимами. Важнейшее хозяйственное значение для здешних скотоводов имели не только охота, но и рыболовство и собирательство.

В конце I тысячелетия до н. э., когда в степях Тувы появилось новое население, связанное с гуинами, местные сынычюрские² племена в горно-степных районах сохраняли в основном еще полукочевые формы быта, становившиеся все более подвижными.

Хотя вопрос о соотношении различных видов скота у ранних кочевников, к которым мы относим горно-степные племена Тувы не только скифского, но и гунно-сарматского времени, остается еще не изученным, характер мясной пищи, сопровождавшей погребенных в сынычюрских погребениях [Вайнштейн, Дьяконова, 1966; Вайнштейн, 1970б, 79], позволяет предполагать преобладание, как и в предыдущую эпоху, мелкого рогатого скота, в особенности овец.

В середине I тысячелетия н. э. (древнетюркское время) в степях Тувы завершилось сложение хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса (центрально-азиатский горно-степной подтип). Основу хозяйства древнетюркских племен Тувы, населявших горно-степные районы, составляло кочевое скотоводство с круглогодичным выпасом животных. В летнее время осваивались пастбища преимущественно в долинах, зимой скот пасли на открытых ветру горных склонах. Древнетюркские камнеписные памятники свидетельствуют о том, что в степях Тувы паслись огромные табуны лошадей, крупного и мелкого рогатого скота. Остеологические материалы из древнетюркских погребений в горно-степных районах дают представление о породах скота, в особенности лошадей, которые были очень близки по экстерьеру к ныне разводимой тувинцами монгольской породе с ее крепким телосложением, невысоким ростом и приспособленностью к тебеневкам в суровых условиях. Были у древних тюрков и высокорослые кони, требовавшие более тщательного ухода, но

особенно ценившиеся знатью. Китайские источники свидетельствуют, что «лошади тугю исключительно ловки... Они могут совершать дальние перекочевки, а в использовании на охоте не имеют себе равных» [Зуев, 1960, 98].

Иным был характер скотоводства у населения, жившего в Тоджинской котловине на границе глухой горной тайги и горных степей по соседству с лесными охотничье-рыболовецкими и оленеводческими племенами Саян. Проникавшим в таежную зону Восточной Тувы степным тюркоязычным племенам приходилось отказываться от сложившихся форм скотоводческого хозяйства; в частности, из-за природных условий здесь было значительно труднее содержать мелкий и крупный рогатый скот. Главное внимание уделялось коневодству. «У них много хороших лошадей», — говорит «Тан-шу» о живших здесь племенах, именуемых в китайских источниках «дубо», «милиге» и «эчжы» [Бичурин, 1950, т. I, 354]. Однако тот же источник позволяет сделать вывод, что хозяйство этих племен основывалось не столько на табунном скотоводстве, сколько на охоте и собирательстве [Бичурин, 1950, т. I, 348].

После завоевания Тувы уйгурами (VIII в.), а затем кыргызами (IX в.) формы ведения скотоводческого хозяйства местными племенами не изменились. Часть завоевавших Туву кыргызских племен осталась здесь и после падения их господства, а впоследствии вошла в состав тувинского народа, приняв участие в его этногенезе. Для древних кыргызов также было характерно развитое скотоводство. «Тан-шу» сообщает, что кыргызы (китайцы именовали их в это время «хягас») разводили лошадей, овец, коров, верблюдов, причем преобладал крупный и мелкий рогатый скот, который в стадах богатых кыргызов насчитывал по нескольку тысяч голов [Бичурин, 1950, т. I, 349—350]. Тот же источник отмечает, что лошади кыргызов плотны и рослы. Не исключено, что небольшая часть кыргызов вела оседлое хозяйство с пастушеским скотоводством, однако несомненно, что основная масса кыргызских скотоводов в Туве вела кочевой образ жизни.

В монгольскую эпоху, начало которой положило завоевание Тувы войсками Чингисхана, в горно-степных районах продолжали господствовать формы кочевого скотоводства, сложившиеся еще в древнетюркское время. Рашид ад-Дин, характеризуя население верхнеенисейской области Кэм-кэмджиут (нынешняя территория Центральной и Западной Тувы), отмечал, в частности, что у них «кочевники многочисленны» [Рашид-ад-дин, 1952, т. I, 150]. В эту эпоху ареал, занятый в Восточной Туве охотниками-скотоводами (коневодами), по-видимому, значительно сузился, а область расселения охотников-олeneводцов расширилась. Это объясняется тем, что к оленеводству, позволявшему лучше осваивать прилегающие таежные районы, переходила, вероятно, и часть охотников-

скотоводов Тоджинской котловины. Рашид ад-Дин, характеризуя таежное оленеводческое население Восточной Тувы («лесных урянкатор»), писал, что «они считали большим пороком пастбу баранов до такой степени, что если отец или мать ругали дочь, то говорили: „Мы отдадим тебя такому человеку, у которого тебе придется ходить за бараками!“» [Рашид-ад-дин, 1952, т. I, 123].

В послемонгольское время в Туве были представлены три хозяйственно-культурных типа со свойственными им формами скотоводства (и его разновидности — оленеводства): кочевники-скотоводы горно-степных районов (подавляющее большинство населения); кочевые и полукочевые охотники-скотоводы зоны тайги (небольшие группы, в основном в Тоджинской котловине и по среднему течению Каа-Хема); охотники-олeneводы тайги (жители обширной горной тайги в Восточной Туве). Сложившееся к этому времени размещение хозяйственно-культурных типов Тувы сохранилось здесь в основных чертах до начала XX в.

Переходя к рассмотрению скотоводства горно-степных районов, остановимся прежде всего на одном из важнейших вопросов, характеризующих его специфику, — количественном соотношении различных видов скота.

ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ СКОТА

Хотя уже из сообщений русских послов к алтын-ханам в XVII в. [МИРМО] и из свидетельств наблюдателей тувинского быта в XVIII в., в частности из сообщений Е. Пестерева, известен видовой состав скота у тувинцев [Пестерев, 1793], однако о его количественном соотношении более или менее подробные данные появляются лишь к концу XIX — началу XX в. Такого рода сведения содержатся в материалах, собранных местными краеведами, чиновниками и путешественниками (Осташкиным, Беннигсенем, Ермолаевым, Турчаниновым и др.), в архивных источниках, а также в переписях.

Беннигсен приводит такие данные: крупный рогатый скот — 170 тыс., лошади — 85 тыс., овцы и козы — 550 тыс., верблюды — 700 [Беннигсен, 1913, 48]; Ермолаев исчисляет поголовье крупного рогатого скота в 85 тыс., лошадей — 100 тыс., овец и коз — 500 тыс., верблюдов — 500 [Ермолаев, 1919б, 8]; наконец, по Турчанинову, крупного рогатого скота было 313 184, лошадей — 614 329, овец и коз — 1 344 286 [ККА, ф. 217, оп. 13, № 1].

Расхождения вызваны неточностью и приблизительностью подсчетов, а у местного чиновника Турчанинова, вероятно, и сознательным стремлением завысить численность поголовья.

О соотношении различных видов скота у некоторых групп

западных тувинцев дают представление материалы обследования Ермолаевым 4542 хозяйств в районе бассейна Хемчика в 1916 г. Он получил следующие данные [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, 22]:

Вид скота	Число голов
Лошади	35 060
Крупный рогатый скот . .	31 080
Овцы и козы	175 705
Яки	195
Верблюды	20

Состав стада менялся не только по различным районам, но и на близлежащих территориях с различными пастбищными условиями. Об этом свидетельствуют данные Ермолаева, полученные при обследовании трех рядом расположенных местностей в районе Чадапа в 1916 г. [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 50]:

Местность	Овцы и козы	Крупный рогатый скот	Лошади	Сарлыки	Верблюды
Долина Чадапа	13 460	3 200	3 000	15	10
Река Боян-Тугай . . .	3 800	170	280	—	—
Обе реки Кудургай . .	4 100	900	1 350	—	—

Из приведенных материалов совершенно очевидно, что в конце XIX — начале XX в. для всех горно-степных районов Тувы было характерно значительное преобладание мелкого рогатого скота, в особенности овец, составлявших около половины общего поголовья. За ними в количественном отношении следовали лошади и крупный рогатый скот, менее одного процента приходилось на долю верблюдов и яков.

В послереволюционные годы в результате ряда мер правительства ТНР, направленных, в частности, на поддержку бедняцких хозяйств аратов, общее поголовье скота возросло, изменилось и соотношение видов скота. Овцы и козы продолжали значительно преобладать в стаде, но относительная численность лошадей сократилась за счет повышения удельного веса крупного рогатого скота, росту поголовья которого способствовало увеличение сенокосения и заготовки кормов аратами. Представление о соотношении основных видов скота в расчете на 100 голов дает перепись 1931 г. [ТСДП, 161]: овец — 48,0; коз — 27,4; крупного рогатого скота — 14,6; лошадей — 8,9; оленей — 1,0.

В таблице 1 приводятся данные о составе и количестве скота у 15 648 тувинских хозяйств по переписи 1931 г. [ТСДП, 62—73].

Таблица 1

Состав и количество скота у тувинцев в 1931 г.

Вид скота	Хошун						Всего
	Барун-Хемчик	Дзун-Хемчик	Улуг-Хем	Каа-Хем	Тес-Хем	Тоджа	
Крупный рогатый скот . .	34 734	43 966	28 440	24 578	20 538	1 331	153 587
Лошади	19 682	26 551	20 336	14 165	11 397	1 971	94 102
Овцы	155 828	131 858	100 110	49 616	68 028	463	506 903
Козы	90 413	86 578	54 413	24 303	32 213	572	288 492
Верблюды . . .	59	256	157	95	346	1	914
Яки (сарлыки)	484	82	19	151	11	—	747
Олени	—	5	1	515	51	9 843	10 415

Яков разводили в высокогорной зоне, главным образом в Монгун-Тайге, Бай-Тайге и Тере-Холе, на долю которых приходилось почти 85% всего количества этих животных в Туве. Были яки также в стадах прикосогольских тувинцев (Вайнштейн, Остроухов, 1969, 2). Как известно, разведение яков в Центральной Азии характерно для хозяйственно-культурного типа высокогорных скотоводов-кочевников, распространенного главным образом на высокогорных плато Северного и Западного Тибета. Однако у высокогорных групп тувинцев, имевших в составе своих стад яков, не было каких-либо существенных хозяйственно-культурных отличий от остальных западных тувинцев-скотоводов.

Характерное для тувинцев горно-степных районов преобладание в составе стад мелкого рогатого скота — в особенности овец — типичное явление для кочевых скотоводов степной зоны Евразии. У степных племен Северного Причерноморья резкое возрастание роли мелкого рогатого скота — главным образом овец — удается проследить уже со скифского времени [Цалкин, 1971, 14]³. Как отмечалось выше, для сынычюркецев Тувы также было, по-видимому, характерно преобладание овец в стаде.

Уже в то время овцы, разводившиеся местным населением, имели близкий к современной тувинской овце экстерьер, а возможно, и породные качества. Они, по-видимому, были курдючными и грубошерстными. Во всяком случае в XIII в., по данным китайских источников, овцы у кочевых племен Центральной Азии (монголов, чжурчженей) имели ряд особенностей, характерных для монгольских и тувинских овец в XIX — начале XX в.

По свидетельству китайских путешественников, в стадах монголов Центральной Азии преобладали овцы, следующее место занимал крупный рогатый скот. Пэн Да-я писал в на-

чале XIII в.: «(Татары) больше всего разводят овец... За ними следует крупный рогатый скот» [КСОТ, 139]. Обилие овец у кочевников и их круглогодичный выпас поражали и других средневековых путешественников. Ибн-Фадлан писал, например, о кочевых татарах, что у них зимой «чаще всего пасутся овцы на снегу» [см. Ковалевский, 1956, 128].

В XIX — начале XX в. значительное преобладание мелкого рогатого скота отмечено у халха-монголов, у отдельных групп которых число овец составляло около трех четвертей всего поголовья [Майский, 1921], калмыков (Бюлер, 1846, 91—92), туркмен [Оразов, 1964, 4—5], казахов [Radloff, 1893, т. I, 420], кочевых скотоводов Закавказья [Мкртумян, 1971, 125] и ряда других народов с кочевыми формами скотоводческого хозяйства.

Перейдем к рассмотрению вопроса о соотношении различных видов скота у тех групп тувинцев, у которых был представлен другой хозяйственно-культурный тип — кочевых и полукочевых охотников-скотоводов таежно-степной зоны.

У тувинцев этой хозяйственно-культурной группы, населявших главным образом Тоджинскую котловину и сумон Бельбей в бассейне Каа-Хема, скота было значительно меньше, чем у тувинцев горно-степных районов. Еще Е. Пестерев, наблюдая в Тодже тувинцев этой группы, отмечал в конце XVIII в., что они скота имеют «весьма малое число» [Пестерев, 1793, ч. LXXX, 55]. Охотники-скотоводы таежной зоны не разводили верблюдов, не было у них и яков⁴, очень мало овец и коз. В общем поголовье преобладали лошади. По переписи 1931 г., у охотников-скотоводов Тоджи насчитывалась 1971 лошадь, меньшим по численности был крупный рогатый скот — 1331 голова, а овцы и козы составляли около трети всего поголовья (соответственно 463 и 572 головы).

Такое соотношение различных видов скота в группе охотников-скотоводов данной зоны объясняется природными особенностями этого района Тувы, о которых уже шла речь выше. Наиболее благоприятными были здесь условия для табунного скотоводства, что и предопределило преобладание лошадей. В определенной мере сходная картина видовой структуры стада наблюдается и у некоторых других народов Сибири, у которых представлен хозяйственно-культурный тип полукочевых или полuosедлых охотников-скотоводов таежно-степной зоны (часть бурят, монголов, эвенков). Якуты же до прихода русских разводили только лошадей и крупный рогатый скот, а овцы и козы им были совершенно неизвестны.

В связи с изложенным нельзя не отметить выдвинутой Л. П. Потаповым в недавно опубликованной работе точки зрения, согласно которой все тувинцы, кроме оленеводов, должны быть отнесены к скотоводам-охотникам, а их тип хозяйства

рассматривается как присущий «лесным племенам или народам», у которых, в частности, овцеводство занимает «более скромное место» по сравнению с коневодством и разведением крупного рогатого скота [Потапов, 1969, 85]. Из рассмотренных нами материалов совершенно очевидно, что такая характеристика могла относиться лишь к очень небольшой группе охотников-скотоводов Восточной Тувы. Попутно заметим, что для тувинских охотников-скотоводов не было характерно занятие земледелием, которое в указанной выше работе рассматривается Л. П. Потаповым как одна из составных частей хозяйственного комплекса «лесных племен» [Потапов, 1969, 82].

Обратимся теперь к вопросу о видовой структуре стада в отдельных хозяйствах западных тувинцев. Изучение имеющихся в нашем распоряжении материалов позволяет прийти к выводу, что оно зависело как от пастбищных условий, так и от количества скота в хозяйстве.

А. П. Ермолаев, тщательно обследовавший в 1916 г. скотоводство в бассейне Хемчика, установил видовое количество скота, приходящегося в среднем на одно хозяйство. По материалам этого обследования, количество голов различных видов скота в среднем на одно хозяйство в Западной Туве было следующим [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 22]:

Вид скота	Число голов
Овцы и козы	38,7
Лошади	7,7
Крупный рогатый скот . .	6,8

Данные переписи 1931 г. в долине Хемчика показали, что овцы и козы составляли (в среднем на одно хозяйство) свыше 50 голов, т. е. по-прежнему более 70% поголовья, однако доля лошадей понизилась, и они занимали уже не второе, а третье место. Перепись 1931 г. позволяет получить представление о количестве и соотношении различных видов скота в среднем на одно тувинское животноводческое хозяйство в целом по республике [ТСДП, 161]:

Вид скота	Число голов
Овцы и козы	50,83
Крупный рогатый скот . .	9,82
Лошади	6,01

Однако соотношение скота по видам «в среднем» на одно хозяйство не отражает реальной картины. Фактически для богатых животноводов было характерно большее число мелкого рогатого скота, в особенности овец; в сравнительно бедных хозяйствах это соотношение заметно менялось в пользу крупного рогатого скота, на что мне неоднократно указывали

мои старейшие информаторы, характеризуя животноводство тувинцев в конце XIX — начале XX в. Об этом свидетельствуют также материалы переписи 1931 г., отражающие среднее количество скота (по видам) в различных хозяйствах, сгруппированных в зависимости от обеспеченности скотом [ТСДП, 161]:

Количество голов скота в хозяйстве (в переводе в крупный)	Крупного рогатого скота	Волов	Лошадей	Овец	Коз
До 5	2,38	0,16	0,99	3,21	5,18
от 5,01 до 10	5,99	0,62	2,14	10,43	10,66
от 10,01 до 20	9,85	1,54	4,36	25,99	18,68
от 20,01 до 30	11,29	2,70	8,52	53,58	28,84
от 30,01 до 50	19,26	4,06	15,00	89,31	39,63
от 50,01 и более	29,56	6,99	32,12	155,87	56,23

Таким образом, в 1931 г. в наиболее бедной группе крупный рогатый скот составлял около 20% поголовья, а в самой богатой — лишь немногим более 10%, т. е. относительное число крупного рогатого скота в байских хозяйствах в среднем было в два раза меньше, чем в хозяйствах бедняков.

Характерное для наименее обеспеченной скотом группы тувинских аратов соотношение видов животных в стаде, отмеченное переписью 1931 г., было, судя по свидетельствам многочисленных информаторов, достаточно типично и для многих аратских хозяйств в конце XIX — начале XX в. Учитывая, что скот, являясь одним из важнейших источников существования аратов в условиях господства натурального хозяйства, обеспечивал не только продуктами питания, шерстью, кожей, конским волосом, но и служил основным транспортным средством, наличие в хозяйстве двух-трех коров, одной лошади и до десятка овец и коз обрекало такое хозяйство на полуголодное, нищенское существование, даже если скотоводство дополнялось земледелием, охотничьим промыслом и собирательством. Между тем араты с таким поголовьем скота были весьма значительной группой в составе тувинцев в конце XIX — начале XX в. Следует заметить, что в то время немало тувинских хозяйств не имели даже такого количества скота, были довольно многочисленными и совершенно бесскотные хозяйства, находившиеся в зависимости от басв. Даже в 1931 г., когда в результате проведенных народным правительством социально-экономических мероприятий количество беднейших хозяйств намного сократилось, араты, в собственности которых было до пяти голов скота (в переводе в крупный), составляли около 10% всех кочевников Тувы.

Согласно материалам обследований и переписей, а также данным, полученным мною от информаторов, в байских стадах количество мелкого рогатого скота колебалось от 65 до 85% всего поголовья.

В качестве примера можно привести состав стада «среднего» байского хозяйства улуг-хемских тувинцев, в котором, по материалам экспедиции Кона, было: «Верховых лошадей, жеребцов 1—2; кобыл 20—40; жеребят моложе трех лет около 25; рогатого скота: быков 3—4, поросят 1; дойных коров 10; яловых 2—3; телят моложе трех лет около 25; молодых быков 4—5; мелкого скота: семенных (племенных.—С. В.) баранов 2—3; баранов до 20; овец до 200; ягнят до 70; козлов некладенных 2—3; кладенных до 20; коз до 100; козлят до 50. Сверх того, верблюдов 2—3» [Кон, 1934, 103]⁶.

Сходное соотношение видов скота в зависимости от богатства животноводов было характерно и для других кочевых скотоводческих народов; у киргизов, например, до коллективизации в бедняцких хозяйствах преобладал крупный рогатый скот, а в хозяйствах, владевших восемью и более единицами скота, овцы составляли от 56,4 до 76% стада [Погорельский и Батраков, 1930].

П. Погорельский и В. Батраков, которые приводят эти данные, склонны объяснять преобладание овец в стадах богатых киргизов-скотоводов исключительно товарностью хозяйств последних [Погорельский и Батраков, 1930, 23]. Однако по данным моих информаторов, овцы преобладали в стадах и тех тувинских баев, которые совершенно не были связаны с рынком. Погорельский и Батраков, делая приведенный вывод, не учитывали специфики кочевого хозяйства, в котором характер используемых пастбищ и количество кочевков также определяли состав стада. Имея достаточно рабочего скота для обеспечения перекочетов, а благодаря этому и возможность осваивать хорошие пастбища (даже тогда, когда они были сравнительно далеко расположены), байские хозяйства могли увеличивать поголовье за счет прежде всего овец — животных, особенно ценившихся тувинцами и наиболее хорошо приспособленных (наряду с лошадьми) для дальних кочевков. О числе хозяйств, в собственности которых были различные виды скота, дают представление следующие данные переписи 1931 г. (учтено всего 15648 хозяйств) [ТСДП, 161].

Вид скота	Количество хозяйств, %
Крупный рогатый скот	92,2
Лошади	89,5
Овцы	77,8
Козы	76,9

Из этих данных мы можем заключить, что крупного рогатого скота совсем не имели лишь 7,8% хозяйств, в то время как овец не было в 22,2% хозяйств (это были в основном бедняки).

В питании тувинцев, как и других кочевых скотоводческих народов, первостепенное значение имели молочные продукты, коровы же лучше обеспечивали ими, чем мелкий рогатый скот, поэтому бедняцкие хозяйства прежде всего стремились обзавестись хотя бы несколькими коровами. Это широко распространено у кочевников явление особенно характерно для скотоводов горно-степных районов. С. И. Руденко не без оснований объяснил преобладание коров в поголовье скота у кочевых приалтайских найманов их общим обеднением [Руденко, 1930, 14].

Кроме того, важнейшим условием ведения кочевого скотоводческого хозяйства было наличие транспортных животных, обеспечивавших возможность перекочетов. Утрачивая рабочий скот в результате тех или иных причин, в числе которых немаловажную роль играли стихийные бедствия, и не имея возможности совершать необходимые перекочевки, пострадавшие хозяйства вынуждены были либо отказываться от содержания мелкого рогатого скота, особенно нуждавшегося в хороших пастбищах, либо арендовать в той или иной форме рабочий скот у баев, либо объединяться для перекочетов с такими же, как они, бедняками, либо оседать. Подобное явление было характерно в той или иной форме для всех скотоводческих кочевых народов, а сообщения древних авторов позволяют предполагать, что процесс оседания обедневших кочевников имел место уже у скифов [Либеров, 1960, 147; Смирнов, 1966, 122—123].

Соотношение различных видов скота в стаде зависело также от характера пастбищ, которыми пользовались те или иные аалы. Если пастбища располагались в скалистых местностях, труднодоступных для крупного рогатого скота, то в хозяйствах, осваивавших эти районы, преобладал мелкий рогатый скот, в особенности козы. Те же хозяйства, которые пользовались преимущественно пастбищами в остепненных долинах, имели относительно больше рогатого скота и лошадей.

Это обстоятельство неоднократно отмечали мои информаторы. Указания на такую зависимость имеются также у А. П. Ермолаева, который писал, что, исходя из «местных естественных условий, урянх разводит то одну породу, то другую за счет остальных. На левой стороне Кемчика долины речек узки, склоны их обрывисты и скалисты; пастбища доступны только мелким животным, там преобладают овечки и яманы. Там же, где особенно плохо в этом отношении, разводят преимущественно последних. В степных долинах и на междуречных пространствах с более спокойным рельефом крупного рогатого скота и лошадей имеют относительно больше» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 22об.].

П. Чихачев на основе своих наблюдений в первой поло-

вине XVIII в. отмечал, что в долине Алаша западные тувинцы занимаются преимущественно овцеводством, в меньшей мере разводят крупный рогатый скот и почти совсем не имеют лошадей [Tchihatcheff, 1845, 142]. Аналогичное явление в середине XIX в. у казахов установил Радлов, писавший, что они «предпочитают иметь больше овец и коз, нежели крупный рогатый скот. Поскольку, однако, это в значительной мере определяется характером пастбищ, то в районе Акмолинска держат больше овец, в районе Каракаралинска, в северной части Семипалатинского района и Кулунде — крупный рогатый скот, в южной части восточной степи разводят больше овец, а в горах — коз» [Radloff, 1893, т. I, 420].

Подобное положение, издавна характерное для кочевков скотоводов, нашло отражение в «Сокровенном сказании» в словах сподвижника Чингисхана Чжамухи: «Покочуеть-ка возле гор — для табушников наших шалаши готов. Покочуеть-ка возле реки — для овчаров наших в плотку (еда) готова!» [С. ск., § 118].

Все изложенное выше дает основание полагать, что состав стад западных тувинов в XIX — начале XX в. соответствовал в основных чертах формам животноводства, сложившимся в природных условиях горно-степных районов Тувы в период завершения формирования хозяйственно-культурного типа кочевков скотоводов, т. е. еще в I тысячелетии н. э. В этой связи хотелось бы отметить, что сохранение в условиях одного хозяйственно-культурного типа традиционного видового состава стада в течение многих веков отмечается историками животноводства также в других регионах Азии. Так, В. И. Цалкин указывал на поразительное сходство, «которое обнаруживается в составе стада у населения Северной Кара-Калпакии в XI—XIV вв. н. э. и в самом недавнем прошлом» [Цалкин, 1966, 154].

Указанное обстоятельство объясняется тем, что основные факторы, определявшие состав стада в рамках одного хозяйственно-культурного типа, существенно не менялись в течение весьма длительного времени, что, к сожалению, далеко не всегда учитывается при изучении истории кочевых скотоводческих народов.

Мелкий рогатый скот

Мы уже отметили, что мелкий рогатый скот преобладал в тувинском животноводстве. Такое явление вполне закономерно для кочевой скотоводческой хозяйства, так как уход за крупным рогатым скотом при перекочевках значительно сложнее, чем за мелким. Овцы — одно из самых неприхотливых животных, они легче других переносят предвесенний недостаток в корме. Стада мелкого рогатого скота сравнитель-

но быстро воспроизводятся, причем ягнята нуждаются в специальном уходе всего несколько дней, а затем могут передвигаться за стадом. Мелкий рогатый скот, в особенности овцы, давал не только высококачественное мясо, молоко и кожу, но и шерсть.

Отличительной чертой тувинского стада был сравнительно высокий процент коз в общем поголовье (27,4% по переписи 1931 г.). У других кочевников — скотоводов Центральной Азии — относительное число коз в стаде было ниже, а некоторые кочевые скотоводы, как, например, абак-кирси, их почти не имели. Характеризуя скотоводство абак-киреев, Г. Е. Грумм-Гржимайло писал: «...коз абак-кирси почти все не держат и требующиеся им козлины выменивают у урянхайцев и торгоутов» [Грумм-Гржимайло, 1930, т. III, 440]. В. Радлов также отмечал, что «алтайцы держат очень незначительное число коз, скорее ради шерсти, чем из-за молока и мяса» [Radloff, 1893, т. I, 284].

Тувинские овцы относятся к отродью мясо-сальных овец монгольского типа, для которых характерна грубая шерсть и сравнительно маленькие удои. Козы, также монгольского отродья, малопородны. Однако и овцы и козы были хорошо приспособлены к климату Тувы и условиям круглогодичного пастбищного содержания.

Мелкий рогатый скот обязательно пасли чабанами (*кадарчы*) были главным образом подростки, что вообще характерно для кочевых скотоводов. Хакасский ученый Катанов, например, писал в автобиографии: «Летом я с прочими детьми смотрел за овцами и телятами, так как сагайские татары пасение мелких животных поручают преимущественно детям» [Вайнштейн, 1968в, 32]. То же наблюдал Руденко у казахов, у которых, по его словам, «овец пасет пастух — койшы — обычно мальчик» [Руденко, 1930, 16]. Аналогичную картину этнографы отмечали у монголов, киргизов, туркмен и других кочевых народов.

Летом овец пасли вблизи аала, пригоняя их туда в полдень и на ночь. Так же пасут овец монголы, алтайцы, казахи и другие кочевники.

У тувинов мелкий рогатый скот пасли верхом на волах, лошадях, либо пешком. В западных районах использовали для пастбы преимущественно волов. Путешественники отмечали случаи, когда двое-трое мальчиков, выполнявших обязанности чабанов, сопровождали отару, сидя на одном воле. Верховые чабаны для управления стадом иногда использовали длинные шесты, реже — укрюки, а пешие — небольшие посохи, но главным средством управления движением мелкого рогатого скота на пастбищах были определенные возгласы, которым животные приучались подчиняться. Эти возгласы (*тайгырар*) включали команды, требовавшие изменения на-

правления отары (звук, напоминающий выкрик *ах!* с сильным гортанным произношением), возвращения в стадо откалывающегося от него животного (*хай!* или *ах!*), ускорения движения (*кыш!*) и другие.

Доили овец и коз летом (начинали в мае, заканчивали в августе), один-два раза в день, надаивая до 300—500 г. За весь период лактации овцы давали до 65 л, а козы до 115—120 л молока. Доейные велось так называемым подсосным методом. Козлят и ягнят, находившихся на привязи вблизи юрты, отвызывали и допускали к матери перед дойкой на несколько минут, а после дойки — на час и более; затем их вновь привязывали. Привязь для ягнят и козлят, носившая название *хёне* (ср. название такой привязи у казахов *коген*, у киргизов *кёгён*), состояла из волосяной веревки длиной от 3 до 10 м, к которой были прикреплены волосяные петли, охватывавшие шею животных. Для того чтобы освободить ягненка от привязи, нужно было снять петлю. Новорожденные ягнята и козлята, содержащиеся в жилище, до и после дойки находились в небольшом загончике из жердей. В обильные снегом зимы, в гололед и сильные морозы, когда у овец и коз не хватало молока, новорожденных ягнят подкармливали искусственно коровьим молоком или чаем с молоком. С появлением травы козлят и ягнят выпускали из юрт и чумов, и они паслись отдельно от взрослых коз и овец.

В трех-четырёхмесячном возрасте часть самцов кастрировали, оставляя лишь производителей. Кастрировали так называемым кровавым способом, надрезая мошонку и отрезая семенники, которые варили и съедали. Овец стригли два раза в год (за исключением Тоджи, где стригли один раз). С овцы настригали в июне около 1 кг шерсти. Осенью овец стригли только в тех хозяйствах, где была большая необходимость в шерсти, но получали в результате этой стрижки гораздо меньше шерсти, чем летом, так как к осени шерсть не успевала достаточно отрасти, к тому же обстригали только бока. Коз стригли один раз в год, а в некоторых хозяйствах их вообще не стригли, так как считалось, что козья шерсть непригодна для выделки войлока.

Летняя стрижка носила название *хой кыргыр*, осенняя — *агарлаар*. Стрижкой животных занимались женщины, которым в отдельных случаях помогали дети и мужчины. Стригли ножницами (*хачы*), изготавливаемыми местными кузнецами. В бедняцких хозяйствах собирали также шерсть овец, спадающую с них во время линьки в весеннее время. Однако сообщение Д. В. Мурзаева, что еще в начале XX в. в некоторых хозяйствах овец не стригли, а только собирали шерсть, падавшую с животного [Мурзаев, 1905], не подтверждается нашими материалами. Этот весьма древний пережиток известен также халха-монголам и алтайцам.

Летом овец и коз пасли отарами отдельно от крупного рогатого скота, помещая их на ночь в открытые загоны. Зимой овец и коз пасли на открытых ветру, свободных от снега либо малозаснеженных склонах гор. Если даже снег закрывал все пастбище, то и тогда овцы и козы добывали себе корм. Однако нередко случались сильные снегопады, и тогда овцы и козы с трудом находили пищу; особенно трудным положение мелкого рогатого скота становилось после оттепелей, когда пастбище покрывалось крепким настом. В таких случаях овец и коз пускали туда, где уже прошли лошади, разбивавшие наст копытами в поисках пищи.

Однако и в этом случае овцы и козы часто ранили ноги до крови и с трудом добывали пищу; многие из них гибли от истощения. Чтобы спасти животных, тувинцы зимой старались найти пастбище с наименьшим снежным покровом, пасли скот в зарослях кустарника или в березовом лесу, где рубили на корм скоту ветки, а также старались расчистить снег на пастбищах лопатами либо специальным приспособлением *талбий*, состоявшим из двух досок, сколоченных под углом, которое тянули вол, лошадь или верблюд.

На зимних пастбищах в почное время животные находились в примитивных кошарах. В хозяйствах, где было много овец и коз, для молодняка сооружали отдельную небольшую кошару. Иногда для него делали маленький загон *казанак* внутри большой кошары. Тувинцы подкармливали ягнят сеном, впрочем это делали, если было возможно, и другие скотоводы-кочевники, например монголы [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 344], а также алтайцы [Токарев, 1936, 11], [Radloff, 1893, т. I, 286].

Случая овец и коз проводилась поздней осенью (в ноябре). Чтобы избежать осеннего приплода, который мог не выжить, летом всем находившимся в отаре баранам и козлам — производителям надевали небольшой войлочный, кожаный или берестяной передник *хёг*, препятствующий случке. Аналогичный способ был известен всем тюрко-монгольским кочевым народам.

Клички овец и коз отражали обычно цвет шерсти, форму тела, рогов, ушей, особенности характера. Например, кличка *Калчан кара хой* означала «Белолобая черная овца»; *Узэр хуна* — «Бодливый козел»; *Дёнгёр кидак* — «Обрезанное ухо» и т. д. Клички использовались главным образом для различия животных в отаре.

У тувинцев была очень развитая система названий мелкого рогатого скота по полу и возрасту, столь характерная для кочевых скотоводов.

Возрастные названия овец были следующими: новорожденный ягненок — *чаш хураган*; до года — *хураган*; родившийся осенью, после первой зимы — *дбтне*; на втором году

(родившихся весной — к следующей осени) *хунан хой* (в восточных и южных районах — *шүрленг хой*); на третьем году — *дөнэн хой* или *кыжааланг*; на четвертом году — *алды диштиг хой* или *сойяланг хой*; на пятом году — *хедишкен хой*; старше пяти лет — по числу прожитых лет.

Для баранов исчисление велось в таком же порядке, только вместо *хой* (овца) стояло *кошкар* (баран); если же барана кастрировали (после года), то добавлялось название кастрата *црт*.

Аналогичные названия в зависимости от возраста были и для коз. Новорожденная козочка — *чаи анай*; от года до двух лет — *хунан öшкү* или *шүрленг анай*, причем в этой возрастной группе самец назывался *сейнек*, а самка *дузак*; от двух до трех лет — *дөнэн öшкү* или *кыжааланг öшкү*; трех лет — *алды диштиг öшкү* или *сойяланг öшкү* (последнее — в Восточной Туве); четырех лет — *хедишкен öшкү*.

При определении названий козла вместо *öшкү* добавляли *хуна*, а если козел был кастрирован, то *серге*.

Следует иметь в виду, что тувинцы, как и монголы [Вяткина, 1960, 164], при определении возраста животного по числу прожитых лет (один год, два года и т. д.) вели счет, прибавляя к реальному возрасту период утробного развития.

Словом «хой» в том же или близком звучании овцу называют помимо тувинцев алтайцы, казахи, киргизы, уйгуры, каракалпаки, турки. В значении «овца» это слово указано в словаре Махмуда Кашгарского [МК, I, 31] (ср. монгольское *хонь*). Название барана-производителя «кошкар» общетюркское и встречается в древних памятниках в более полной форме *коч[у]нгар* [МК, I, 321] (ср. монгольское *хуца*).

Наименование козы *öшкү* в близких фонетических формах распространено почти во всех западных и восточных группах тюркских языков (*öшкү*, *öчки* и др.). Это слово зафиксировано и в древних тюркских языках [МК, I, 95] и может рассматриваться как тюркское по происхождению [Щербак, 1961, 117] (см. монгольское *ямаан[н]*).

Разъясним некоторые возрастные названия. Названия «хунан» и «дөнэн» характерны для всех домашних животных определенного возраста. Этимология этих названий до сих пор не может считаться разрешенной (к этому вопросу, представляющему большой интерес, мы вернемся ниже). Название овец на четвертом году жизни *алды диштиг хой* означает «овца, имеющая шесть зубов» (*диш* — зуб в тувинском и других тюркских языках). Это также требует специального разъяснения, ибо на четвертом году овца имеет значительно больше зубов [Доброхотов, 1959, 665—666]. К этому вопросу мы также вернемся ниже. *Кыжааланг* и *сойяланг* — диалектные названия монгольского происхождения. Слово *хедишкен* обычно означает в тувинском языке «зрелый, совершеннолет-

ний». Как удалось установить у моих старейших информаторов, название «хедишкен» применяется к животным в том смысле, что они имеют уже все зубы.

Лошади

Лошадь в хозяйстве тувинцев занимала особое место. Роль лошади прежде всего определялась ее использованием в качестве верхового и вьючного животного; она давала также мясо, молоко, кожу, волос, имевшие важное значение в хозяйстве кочевника. Не случайно богатство тувинца в значительной мере определялось количеством имевшихся у него лошадей, что было характерно и для других кочевых скотоводов. Лошадь считалась ценнейшим животным в условиях кочевого быта благодаря способности к круглогодичному содержанию на подножном корму и исключительной подвижности, позволявшей осваивать самые отдаленные пастбища.

Уже ранние кочевники оценили роль коня. Они считали, что и в загробном мире человек не может обойтись без лошади, что нашло отражение в возникшем у них погребении ее вместе с хозяином. Этот обычай был особенно характерен для древних тюрок, оставивших в Туве курганы с погребениями человека с конем, сохранялся он и у тувинцев [Вайнштейн, 1957, 185]. О том, какое значение придавалось лошади древними тюрками, свидетельствует, в частности, и то, что за кражу снутой лошади преступник подвергался смертной казни [Бичурин, 1950, т. I, 230].

Тувинский героический эпос рисует огромную роль лошади в жизни далеких предков тувинцев. В эпосе все время говорится о табунах; вместе с героем постоянно упоминается его конь. Даже имя герою дают только после того, как он получает коня [Вайнштейн, 1969а, 125—126].

Ряд важнейших добуддийских религиозных обрядов у кочевых тувинцев-скотоводов, как и у их далеких предков, был связан с конем. Так, например, основу одного из важнейших культовых обрядов *дагыла* у западных тувинцев, как и у алтайцев и некоторых других скотоводческих народов, составляло заклание лошади (реже барана), а затем вывешивание ее головы со шкурой на жерди [Вайнштейн, 1969б, 1085—1087]. Аналогичный обычай был зафиксирован у древних тюрок [Бичурин, 1950, т. I, 230].

Тувинская лошадь, относимая к так называемой монгольской породе, отличается сравнительно низким ростом, но очень вынослива, хорошо приспособлена к местным условиям, неприхотлива в пище. Густая шерсть позволяет ей переносить зимой сильные морозы. Навьюченная, она может переплывать бурные горные реки, идти по узким тропам, нависающим над ущельями, преодолевать большие расстояния в тайге.

Несмотря на маленький рост, она может подолгу везти на себе не только одного, но и двух всадников. Достоинства тувинской лошади местной породы отмечались многими путешественниками. Так, например, В. М. Родевич справедливо заметил, что «кони хорошо удаются у сойотов. Небольшого роста и лохматые, они очень быстры и выносливы, потому что вырастают в степи, круглый год на подножном корму. Привыкают к пробежкам до 100 верст за один раз и пригодны для езды на горах некованными» [Родевич, 1912, 139].

Лошади монгольской породы получили распространение в Центральной Азии еще в древности. В погребениях гуинов, например, были в основном найдены костные остатки монгольских табунных лошадей небольшого роста, грубых, коренастых, с короткой и широкой мордой [Руденко, 1962, 24]. В конце XIX—начале XX в. у тувинцев начал появляться иной тип лошади—результат скрещения местной породы с лошадьми русских переселенцев.

Табуны лошадей в Туве паслись днем, а иногда и ночью без присмотра пастухов отдельно от остального скота, что было характерно и для монголов, казахов, киргизов и многих других скотоводческих народов. В отличие от других видов скота лошадей нередко пасли ночью (пастьба коней ночью носила название *күзеттээр*). Почти в каждом большом табуне на 20—30 маток имелся один производитель.

Доили кобыл в течение дня многократно (обычно пять-семь раз), так как быстро накапливалось молоко. Такое доение характерно для всех кочевых скотоводов. Дойка велась около четырех месяцев (июнь—сентябрь); за день выдаивали около 2,5 л молока. Необходимо отметить, что если других домашних животных, кроме верблюдов, доили лишь женщины, то в дойке кобыл иногда участвовали мужчины. Этот обычай, по-видимому, очень древнего происхождения: так, у монголов он зафиксирован в XIII в. [Рубрук, 1957, 96]. У некоторых кочевых скотоводческих народов (например у казахов) еще в XIX в. кобыл доили почти исключительно мужчины [Radloff, 1893, т. I, 445].

Во время дойки, когда кобылица начинала беспокоиться, жеребенка периодически подпускали к ней: летом—два-три раза, осенью—до четырех раз в течение одной дойки. Пока кобылиц доили, жеребята находились рядом на волосяной привязи *челе*, укреплявшейся обычно на двух кольях, либо привязывавшейся к двум жердям загоня для скота. Этот способ дойки был известен и древним монголам, у которых он описан Рубруком: «На двух кольях, вбитых в землю, они (монголы.—С. В.) натягивают длинную веревку, к этой веревке они привязывают... детенышей кобылиц, которых хотят доить. Тогда матки стоят возле своих детенышей и дают себя спокойно доить. А если какая-нибудь из них очень несдержан-

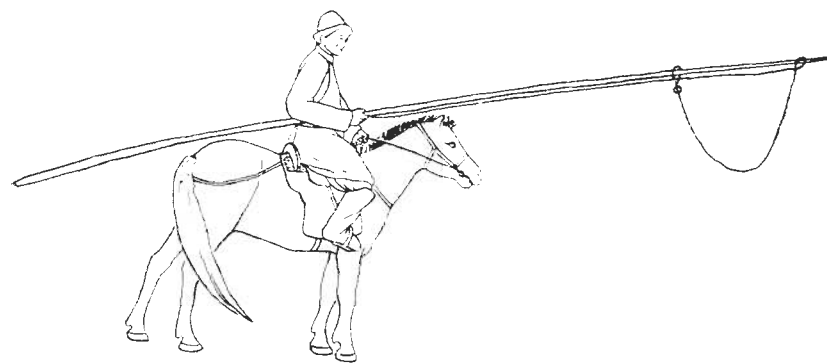


Рис. 2. Всадник с укрюком (*урук*)

на, то человек берет детеныша и подносит к ней, давая немного пососать; а затем оттаскивает его и на смену появляется доильщик молока» [Рубрук, 1957, 96]. Привязь челе для жеребят упоминается также в тувинском эпосе, где говорится: «вбейте длинные челе и поймите взрослых кобылиц» [ТТ, 1951, 81]. Подобное устройство известно и другим скотоводческим тюрко-монгольским народам. У казахов, например, оно известно под названием *желы*, у киргизов *джеле*.

Если в хозяйстве была только одна дойная кобыла, то жеребенок с утра и до вечера находился привязанным к вбитой в землю коновязи *баглааш*. По окончании каждой дойки кобылиц угоняли пастись, а после последней вечерней дойки кобылицу с жеребенком оставляли на ночь на пастбище; утром жеребенка отделяли от матери и помещали в загон.

Кобыл доили обычно до 15-летнего возраста. На мясо резали преимущественно кобыл, выбирая самых жирных.

Лошадей ловили двумя способами—при помощи аркана или укрюка. Ни эти орудия, ни интересные способы пользования ими подробно не описаны в этнографической литературе о центральноазиатских кочевниках, поэтому мы остановимся на этих вопросах детальнее.

Аркан из хорошо выделанной мягкой кожи носил название *сыдым* или *сыдым аргамчы*, из менее выделанной—*аргамчы* (последним пользовались только тогда, когда не было *сыдыма*). Аркан имел в длину шесть-восемь кулаш (кулаш равен маховой сажени), т. е. 12—16 м, его изготовляли из спирально вырезанной кожи грудной части быка, марала, лося. Сыдым аргамчы состоял из специально обработанного тонкого длинного ремня (его передняя часть была витой), который заканчивался поперечной роговой застежкой (*сыдым дээки*) длиной 6—8 см с подпрямоугольным отверстием по-

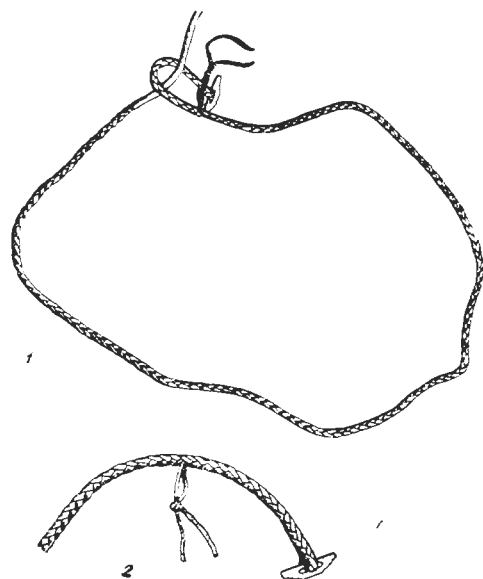


Рис. 3. Аркан (сыдым аргамчы):
1 — малая и большая петли аркана; 2 — передний конец аркана с костяной застежкой (сыдым дээки)

без застежки делали при помощи специального узла (тонг).

Всадник вез аркан свернутым в кольцо и притороченным к седлу или перекинутым через плечо. Перед тем как воспользоваться сыдымом, его подготавливали к броску, для чего, пропустив через малую петлю его переднюю часть, получали большую петлю диаметром около метра, а остальную часть аркана у основания большой петли свертывали в круги диаметром около 50—60 см. Затем табушник, крепко сжав в кисти правой руки кольца аркана сверху, брал его в левую руку, в которой держал в этот момент также поводья узды и недоуздки. Сделав широкий захват, опытный табушник, резким, точным и сильным движением набрасывал большую петлю аркана на голову коня, которого ему нужно было поймать. Точным броском удавалось обычно заарканить (шалбадаар) среди табуна на расстоянии до 10—12 м даже быстро скачущую лошадь. Если попытка не удавалась, табушник через некоторое время повторял ее.

Закинув аркан на шею коня, табушник ловко и очень быстро пропускал конец аркана под чепрак своей лошади и плотно прижимал его правой рукой к правому колену (это действие называется *төрөпчилээр*), постепенно притормаживая коня и все туже затягивая петлю на его шее. После того

как аркан очень сильно затягивал шею лошади, она прекращала кратковременное отчаянное сопротивление и, теряя сознание, падала. В этот момент к лошади спешили помощники табушника, которые быстро и одновременно надевали недоуздки и стреножили упавшую лошадь. Чтобы не дать лошади возможности вскочить на ноги, один из подбежавших, крепко сжимая уши лошади, придавливал коленом ее голову к земле. Лишь надев на лошадь узду, ей давали возможность встать на ноги, а затем седлали ее.

Ловля лошадей облегчалась применением укрюка (в Центральной, Западной и Южной Туве носил название *урук*, в Восточной — *хурук*). Он состоял обычно из тонкого деревянного (обычно береза или тальник) шеста длиной в три кулаша, т.е. около 6 м, иногда длиннее — 7—8 м. На его переднем конце прикреплялся кожаный аркан со скользящей петлей длиной около метра. Нередко тот конец шеста, который держали в руке, для удобства обертывали кожей (обернутая кожей часть шеста называлась *декшиш*). Верховой табушник с укрюком в правой руке догонял нужного коня и накидывал петлю на его шею, причем нередко делалось это на полном скаку и среди мчащихся рядом лошадей. Набросив петлю, табушник рывком вытягивал из нее шест и кидал его в сторону, продолжая удерживать выловленного коня на аркане, после чего выполнялись действия, описанные выше.

Укрюк упоминается в тувинском эпосе [ТТ, 1947, 65]. Укрюк и аркан известны всем коневодам Евразии. Следует отметить, что укрюк — одно из древнейших орудий коневодов, об этом, в частности, говорит то, что его название в близких фонетических вариантах сохранилось в различных алтайских языках — тюркских, монгольском, маньчжурском. Сходное с тувинским название укрюка в форме *урук* известно алтайцам, шорцам, хакасам и другим южносибирским тюркам [Радлов, 1893, т. I, стлб. 1658—1659].

Укрюк издавна использовался кочевыми скотоводами евразийских степей не только для отлова лошадей, но и для охоты на диких животных — копытных, волков и др., о чем, в частности, свидетельствуют паскальные изображения, относящиеся еще к гунно-сарматскому времени. Подобные изображения известны и в Туве. Так, на открытых мною петроглифах горы Сыын-Чюрек в Центральной Туве изображен всадник с укрюком в момент охоты на козерога [Вайнштейн, 1958, табл. I, рис. 1,2]. На писанице у с. Тээли в Западной Туве в сцене охоты на копытных, относящейся к XVIII — началу XIX в., мы видим оленя, пойманного при помощи укрюка (рис. 19). До недавнего времени у тувинцев практиковалась также охота с укрюком на волков.

Необъезженных коней предпочитали седлать в специальных загонах для лошадей (*чылгы кажазы*). Такие загоны

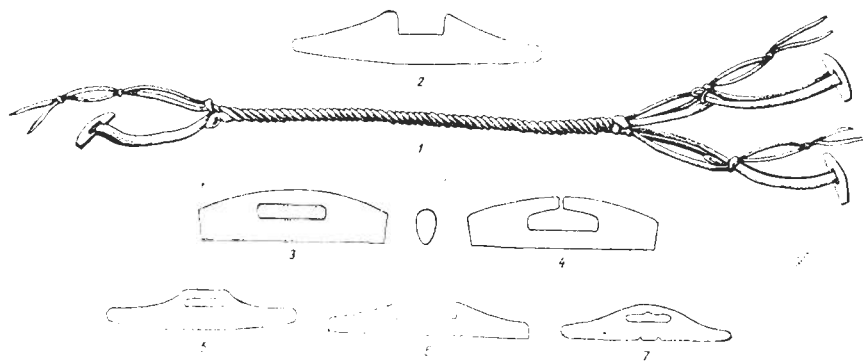


Рис. 4.

1 — кожаные путы (кижен) для стреноживания лошадей; 2—4 — застёжки (кижен дээки) пут, применяемые тувинцами; 5—7 — древнетюркские застёжки от пут, найденные в могильнике Кокзаль (раскопки автора)

сооружались для доения в них кобыл, стрижки грив и хвостов, для кастрации жеребцов и содержания необъезженных коней. Летом в этих загонах в ночное время иногда находилась табун.

Существовало четыре способа спутывания лошадей. В первом случае путами связывали две передние ноги (способ носил название *дужак*), во втором — две передние и одну заднюю (*кижен*), в третьем — одну переднюю и одну заднюю с левой стороны (*костээр*), в четвертом — две задние и одну переднюю (*дебир кижен*). Для второго и четвертого способов необходимы специальные путы кижен, для остальных пригодны волосяные веревки и кожаные арканы. Путы кижен состояли из витого кожаного ремня длиной около метра с приспособлениями для скрепления с тремя ногами коня. Важной составной частью этих приспособлений служили застёжки (*кижен дээки*) размером 6×2 см с прямоугольным отверстием посередине, изготовлявшиеся из козлиных рогов. Подобные застёжки получили широкое распространение у кочевников еще в древнетюркское время. Их часто находят в древнетюркских погребениях с конем [Вайнштейн, 1966б], нередко притороченными к седлу, как это делается и у тувинцев.

Для привязывания пасущихся рабочих лошадей применяли волосяные веревки, концы которых прикрепляли к небольшим деревянным кольям (*орген*), вбивавшимся в землю каким-нибудь подручным предметом или камнем.

Упряжь коня, его обучение, верховая езда на нем рассматриваются нами ниже, в главе, посвященной средствам передвижения.

В Западной Туве жеребцов кастрировали преимущественно в возрасте одного года, в Центральной Туве — преимущественно одного-двух лет в отличие от народов Средней Азии, где кастрировали обычно в трех- и даже в четырехлетнем возрасте. Столь ранняя кастрация объясняется бытовавшим в свое время мнением, что, чем раньше конь кастрирован, тем более стройным он вырастает.

Кастрация лошадей — один из древнейших обычаев коневодов, связанный со многими традициями кочевников, — к сожалению, не описана достаточно подробно не только у тувинцев, но и у других скотоводческих народов Центральной Азии. Поэтому нам придется остановиться на этом вопросе.

У тувинцев, как и у других коневодческих народов, кастрацией занимались особые люди, считавшиеся *чиик холдуг*, т. е. людьми с легкой рукой, причем ими могли быть только мужчины. Люди с «легкой рукой» имелись далеко не в каждом аале и их нередко приглашали издали.

Кастрацию *мал чазар* производили обычно весной, в мае. Приглашенный человек и его помощники, среди которых мог быть и хозяин коня, приступив к операции, валили животное и поворачивали его на спину. Ноги коня к моменту кастрации должны были быть связаны арканом, причем связывали их отдельно — с левой стороны переднюю и заднюю ногу, то же с правой стороны. Один из присутствующих на кастрации, взяв привязанного на аркане коня за уши и подставив свои ноги под передние ноги животного, ловким движением подсекал их и валил жеребца на бок. Обычно ему помогали другие присутствующие.

Мошонку сжимали специальными деревянными тисками *сапсылга*, затем выдававшуюся под тисками часть мошонки срезали ножом и выдавливали семенники, а разрез аккуратно прижигали небольшим железным утюжком *илир* или клеем для таврения *хаарыыл*.

Когда семенник извлекался, его тут же опускали в деревянное ведро *хунг* (другие сосуды нельзя было использовать), куда уже заранее была налита вода, смешанная с коровьим молоком. Этот обряд был связан с поверьем, что скот будет лучше размножаться, если животное или его части будут каким-либо образом соединены с «белой» пищей. Отрезанную часть мошонки человек, совершивший кастрацию, бросал через плечо, и, если она падала достаточно далеко, считалось, что кастрированный конь будет в будущем хорошим скакуном.

Инструменты, использовавшиеся при кастрации, до заживания ран нельзя было употреблять. Отрезанные семенники варили и съедали те, кто совершал кастрацию.

У большинства тюрко-монгольских народов был распро-

странен сходный в основных чертах с тувинским, кровавый способ кастрации жеребцов.

Гриву жеребенку стригли первый раз в возрасте одного года, а затем каждый год весной. Лишь необъезженным лошадям, ходившим в табуне, гривы обычно не стригли. Хвосты меринам не подстригали, но в торжественных случаях и на скачках их заплетали в косу из трех или пяти прядей. Любопытно, что хвосты лошадей, погребенных в I тысячелетии до н. э. в Пазырыкских курганах Алтая, также были заплетены в три или пять прядей [Руденко, 1953, 150].

Лошади имели разнообразные клички, связанные с мастью, характером, аллюром, поведением, внешним видом, например *Сылдыс шокар* — «Звездно-пятнистый», *Челер хуренг* — «Буланый рысак», *Чыраа доруг* — «Гнедой иноходец» и др.

У тувинцев много названий для лошадей в зависимости от пола, возраста, масти и т. п., в чем несомненно отразилось важное значение лошадей для кочевника. Здесь мы рассмотрим только возрастные названия для лошадей на примере жеребцов (*аскыр*).

Новорожденный жеребенок (пока он питается только молоком матери и не начал есть траву) вне зависимости от пола назывался *чаи кулун*; до года — *кулун* (в Восточной Туве *чаваа*); от года до двух — *богба* (в Бай-Тайге употребляется также название *сарба*). Жеребца от двух до двух с половиной лет называли *хунан аскыр* (в Восточной Туве — *шудулер*); от двух с половиной до трех лет — *хоочун хунан*; от трех до трех с половиной лет — *дөнён аскыр* (в Восточной Туве *биче сойяланг*, в Южной — *кыжааланг*); от трех с половиной до четырех лет — *хоочун дёнён*, на пятом году — *сес диштиг аскыр* («жеребец с восемью зубами»); на шестом году — *чедишкен аскыр* («созревший»); с семи до двенадцати лет — *аскыр ортузу* (*ортузу* — «средний»), с тринадцати лет — *кырган аскыр* (*кырган* — «старый»).

Если речь идет о мерине или кобыле, вместо аскыр добавляется соответственно *аът* или *бе*.

Таким образом, мы видим, что с пятилетнего возраста названия лошади становятся описательными: «взрослый», «средний», «старый» и т. д. Аналогичная картина характерна и для других кочевых скотоводческих народов, в частности монголов [Вяткина, 1960, 165], киргизов [КРС, 76], казахов [Руденко, 1930, 15] и др. Что же касается самих названий, то здесь необходимо коротко сказать об их происхождении и отметить параллели к ним в других тюркских языках.

Аскыр (жеребец). Так же называют жеребцов шорцы, койбалы, качинцы (*аткыр, аксыр, айхыр*). Сходные наименования с несколько более значительными фонетическими различиями известны почти всем тюркским народам [Щербак,

1961, 87; Севортян, 1966, 35—36], а также отмечены в древних тюркских памятниках [Малов, 1959, 89]. В монгольском языке жеребца называют *азрага*[н].

Название мерина «аът» тюркское. Это слово известно во всех тюркских языках, но не как название мерина, а как общевидовое название лошади. Помимо тувинцев это слово в значении «мерин» известно алтайцам, киргизам, хакасам, каракалпакам, а якуты называют так всякое кастрированное животное [Радлов, 1893, т. I, стлб. 442; Щербак, 1961, 83]. У монголов мерин зовется *мори*[н] или *морь*.

Название «кулун» (жеребенок до года) известно алтайцам, хакасам, якутам, узбекам, уйгурам, азербайджанцам, башкирам (с рядом фонетических вариантов). Это слово несомненно тюркское, в монгольском языке жеребенка называют *унага*[н].

Название жеребенка на втором году «богба» не имеет прямых параллелей ни в тюркских, ни в монгольских языках (в монгольском ближайшей параллелью является слово *бог* — «мусор»), встречающееся в сочетании *бог мал* — мелкий рогатый скот [МРС, 445]. У монголов одно- и двухлетний жеребенок называется *эр дааг* [Вяткина, 1960, 164]. Образование слова «богба» шло, вероятно, характерным для тюркских языков путем: *бог + мал > богмал > богма > богба*.

Слово *сарба* (диалектный вариант названия годовалой лошади) известно в том же значении алтайцам [Радлов, 1911, т. IV, стлб. 341, 342].

Крупный рогатый скот⁸

Крупный рогатый скот издавна имел важное хозяйственное значение для кочевников: он давал мясо, молоко, шкуры, а волы использовались также как транспортные животные — на них при перекочевках выючили имущество, перевозили его на волокушах, ездили верхом, они были основной тягловой силой в земледелии.

Для тувинского скотоводства в конце XIX — начале XX в. был характерен крупный рогатый скот, относящийся к монгольскому (калмыцкому) отродью, которое получило распространение в степях Центральной Азии еще в древности. Есть основания полагать, что происхождение местного рогатого скота монгольской (калмыцкой) породы связано с Центральной Азией, во всяком случае он имеет ряд существенных отличий от скота, восходящего к европейскому туру [Кулешов, 1949]. Уже у гуинов, судя по остеологическим находкам в их погребениях, быки были близки к современной степной калмыцкой породе [Руденко, 1962, 4]. Характеристика крупного рогатого скота северных монголов в XIII в., данная китайским путешественником Сюй Тином [КСОТ,

137], также вполне соответствует облику крупного рогатого скота у монголов и тувинцев в XIX — начале XX в.

Помимо тувинцев и монголов крупный рогатый скот указанной породы встречается у казахов, киргизов, калмыков. Он отличается сравнительно низкой продуктивностью и малым живым весом. Впрочем, по данным Грумм-Гржимайло, быки и коровы халха-монголов еще мельче, чем у тувинцев [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 359]. Преобладающая масть тувинских коров — красная, бурая, пегая, реже черная, т. е. такая же, как у монгольского скота. Клички скоту давали главным образом по его масти. Клички коров отражали масть, форму рогов, характер и др., например, *Кара инек* — «Черная корова», *Дагыр мыйыс* — «Загнутые рога», *Кудугур инек* — «Сутулая корова» и др.

Тувинский крупный рогатый скот приспособлен к пастбищному содержанию в суровых условиях. Он неприхотлив в пище, покрыт шерстью, причем у коров ею защищено даже вымя. Этот вид скота был выведен степными кочевниками в результате не столько искусственного, сколько естественного отбора.

Вряд ли можно согласиться с распространенным мнением, что крупный рогатый скот, исключая яков, обязательно нуждается в стойловом содержании [Руденко, 1961, 4]. Пример содержания крупного рогатого скота тувинцами, монголами и многими другими кочевыми скотоводческими народами в условиях круглогодичного выпаса почти без подкормки его сеном, на чем мы остановимся ниже, говорит не в пользу указанной точки зрения. Материалы по скотоводству тувинцев и других кочевников Центральной Азии доказывают, что в их стадах обычно был крупный рогатый скот. Незначительный процент или полное отсутствие крупного рогатого скота в стаде некоторых кочевых скотоводческих народов (у части казахов, например) объясняется не только тем, что крупный рогатый скот был менее приспособлен к круглогодичному выпасу, чем другие виды домашних животных, в стадах кочевников, а трудностью его перегона на дальние расстояния. К этому вопросу мы вернемся ниже, здесь же напомним, что у монголов, кочевавших в степях Центральной Азии и содержавших скот круглый год на подножном корму, в XIII в., по свидетельству китайцев, крупный рогатый скот занимал второе место после овец [КСОТ, 139]. У тувинцев, как отмечалось, крупный рогатый скот занимал в условиях кочевого хозяйства второе место после мелкого рогатого скота.

Крупный рогатый скот тувинцы содержали на вольном выпасе, без специальных пастухов. Встречающиеся в литературе сведения, что тувинцы пасли коров, основаны на недоразумении. Телят в общее стадо не пускали, исключение

делали лишь для сравнительно взрослых телят, которым надевали деревянные намордники *халбангнааш*, известные и другим скотоводческим народам.

Скот одного хозяйства пасся вместе (за исключением волков, которых отдельно пасли пастухи), так же как и у других кочевых скотоводов. В летнее время скот, возвращавшийся с пастбы, после вечерней дойки коров ночевал открыто вблизи юрт. Зимой скот содержали в коровниках *инек кажаазы*. Молодняк, родившийся весной, содержали в телятниках *бызаа кажаазы*, а осенью или зимой — в юртах. Бедняки, имевшие одну-две коровы, телятников вообще не строили и молодняк держали в юрте или чуме.

Случку предпочитали проводить весной или в начале лета, начиная с двухлетнего возраста; однако из-за совместного выпаса быков и коров нередко телились и полутороговые телки. Бычков кастрировали в возрасте одного года, пользуясь для этого кровавым способом. Производителями обычно оставляли быков от коров с темной мастью и длинной шерстью, что отмечается и у монголов [Майский, 1959, 110].

Забивали быков и коров, ударяя вначале обухом топора по лбу, а затем перерезая сонную артерию.

Удой коров составлял всего около 500 л в год, но жирность молока была очень высокой, достигая 7%. Доили коров два раза в день, утром и вечером, подсосным методом, т. е. в присутствии привязанных поблизости телят. Привязь *челе* для телят состояла из натянутой на двух низких колышках волосяной веревки; к ней были прикреплены для каждого теленка костяные или деревянные застёжки *савак*, которые продевались в петли ошейников *мончар*, имевшиеся на каждом теленке (ошейник изготовлялся из волосяной веревки). Освободив теленка от привязи, ему дважды во время дойки давали сосать вымя — вначале и после того, как примерно три четверти молока было выдоено. Когда после утренней дойки коровы уходили на пастбище, телят отвязывали и они паслись вблизи юрт. Перед возвращением коров с пастбища и вечерней дойкой телят вновь привязывали. Подобный способ дойки был характерен и для монголов, киргизов, казахов и других кочевых скотоводческих народов. При этом первые дни, а иногда и недели теленок пользовался всем молоком матери, и только потом ее начинали доить.

Если корова телилась зимой, то ее обычно вообще не доили.

Названия крупного рогатого скота в зависимости от возраста изменялись так же, как и у мелкого рогатого скота и лошадей. Новорожденную телку, например, называли *чаи* *бызаа*; до одного года — *бызаа*; на втором году — *молдурга*.

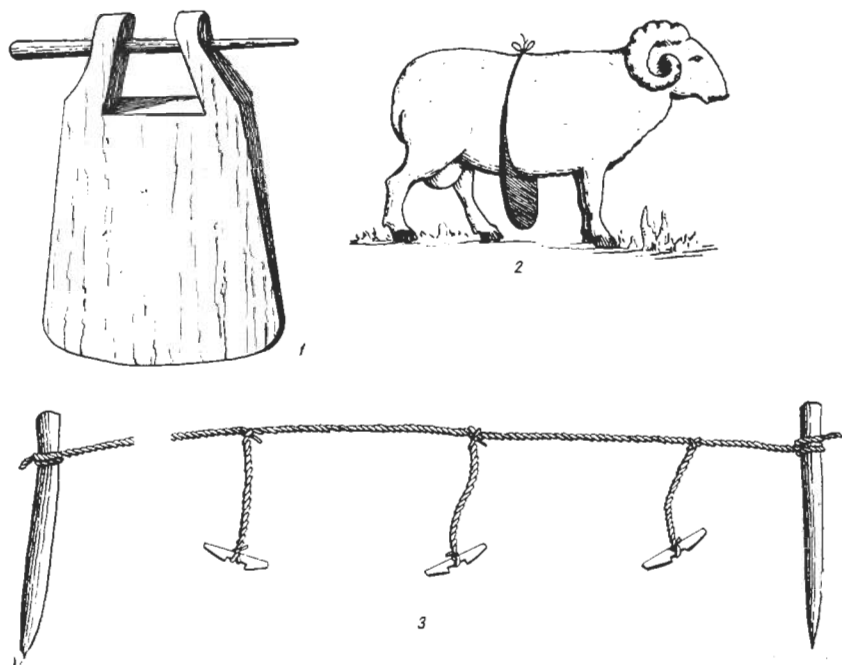


Рис. 5.

1 — деревянный намордник (*халбангнааш*) для телят, с продевающейся через его нос палочкой (намордник не позволял телят сосать молоко матери); 2 — баран с войлочным передником (*хөг*), препятствовавшим случке; 3 — волосная привязь (челе) для телят, с укрепленными на ней деревянными застёжками-чеками (*савак*)

Корову на третьем году называли *хунан инек* или *шүрленг*; на четвертом году — *дөнэн инек* (нетелившаяся корова — *казыра*); на пятом году — *хоочун дөнэн инек* или *сес диштиг инек*; на шестом году — *чедишкен инек*; далее — по числу прожитых лет.

Для наименования быка, вола применяется та же система, но вместо названия коровы *инек* добавляется *буга* (бык) или *шары* (вол). Новорожденный бычок назывался *чаш бызаа*; начиная с нескольких дней и до года — *бызаа*; на втором году — *эр молдурга*; бык на третьем году — *хунан буга*; на четвертом году — *дөнэн буга*; на пятом году — *сес диштиг буга*; на шестом году — *чедишкен буга*.

Некоторые указанные возрастные названия крупного рогатого скота встречаются в тувинском эпосе, среди них *хунан инек*, *дөнэн инек*, *казыра* [ТТ, 1947, 92, 106, 199, 209 и др.].

Слово «буга» («бык») имеет ближайшие лексические параллели в тюркских древних и современных языках (*буха*, *бука*, *пуга* и др.) [Радлов, 1911, т. IV, стлб. 1802]. Можно

с этим сравнить и монгольское *бух*, *бух*[а]. Название коровы «инек» тюркское, оно встречается также в алтайском, хакасском, киргизском и в ряде других древних и современных тюркских языков [Щербак, 1961, 97].

Верблюды

Двугорбый верблюд был одомашнен в Центральной Азии [Боголюбский, 1956], где и поныне встречается его дикий предшественник. Древнейшие изображения верблюда, обнаруженные в бассейне верхнего Енисея, относятся к I тысячелетию до н. э. На одном из них, выполненном в форме бронзовой бляхи, на верблюде показан всадник [Членова, 1967, рис. 36—4]. Однако крайняя редкость изображений верблюдов по сравнению с другими домашними животными может служить указанием на то, что верблюды еще не получили тогда распространения в степях Южной Сибири.

Верблюды были в составе гуннских стад, и это отмечено в свое время китайскими источниками, а позднее подтверждено археологическими раскопками гуннских погребений, где были найдены кости двугорбого верблюда [Руденко, 1962, 24]. Были верблюды и у средневековых кыргызов [Бичурин, 1950, т. I, 351] — жителей верхнего Енисея.

О том, что домашний верблюд был уже в древности известен населению Тувы, свидетельствуют его изображения на тувинских петроглифах [Грач, 1957, табл. XXIV], а также то, что верблюды упоминаются в енисейских рунических надписях Тувы [Щербак, 1970, 118].

Для животноводческого населения Тувы, судя по наскальным рисункам, в прошлом, как и теперь, были характерны двугорбые верблюды. Между тем в XIII в. у их соседей, северных монголов, по свидетельству китайского путешественника Пэн Да-я были не только двугорбые, но и одногорбые верблюды [КСОТ, 137]. Одногорбые верблюды упоминаются и в рунических надписях Тувы [Щербак, 1970, 118].

Верблюды многократно упоминаются в тувинском эпосе как животные, разводившиеся местным населением [Тыва тоолдар, 1947, 34, 45, 75—77 и др.]. О значительном количестве верблюдов в стадах западных тувинцев в XVIII в. писал Е. Пестерев [Пестерев, 1793, LXXX, 71].

Все это не позволяет согласиться с предположением А. П. Ермолаева [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 29 об.], поддержанного В. И. Дуловым, что в Туве верблюды появились только недавно, — после того как их привезли из Монголии в соседние с ней южные районы Тувы [Дулов, 1956, 63].

О верблюдоводстве тувинцев в этнографической литературе очень мало сведений. Возможно, это объясняется тем,

что верблюдов (*теве*) имели сравнительно немногие скотоводческие хозяйства: из 15 648 хозяйств, вошедших в перепись 1931 г., верблюдов имели лишь 173, т. е. немногим более 1%. О количестве тувинских хозяйств, владевших верблюдами в условиях кочевого быта, дают представление следующие данные, полученные мною по материалам переписи 1931 г. [ТСДП, 64—72].

Хошун	Число хозяйств, имевших верблюдов	Количество верблюдов
Барун-Хемчик	7	59
Дзун-Хемчик	36	256
Улуг-Хем	50	157
Каа-Хем	23	95
Тес-Хем	56	346
Тоджа	1	1
Всего	173	914

Верблюды, как видно из приведенных выше данных, имелись почти в каждом районе Тувы, за исключением Тоджинского, где переписью был отмечен лишь один верблюд (в переселившемся туда хозяйстве западных тувинцев). При этом наибольшее число верблюдов было в Центральной Туве (Улуг-Хем, Дзун-Хемчик), а также в ее южном районе (Тес-Хем).

Тувинцы содержали верблюдов, как и другой скот, круглый год на подножном корму. Их использовали главным образом как транспортное средство — для верховой езды, для перевозки грузов, чаще всего выюков, а в конце XIX — начале XX в. их впрягали в сани (о транспортном использовании верблюдов будет сказано в главе о средствах передвижения). Верблюды высоко ценились за сравнительно большую грузоподъемность (они поднимают до 250 кг груза) и способность легко переносить жару. В пищу шло мясо и молоко верблюдов; использовалась и шерсть. Содержали верблюдов главным образом в богатых хозяйствах.

Верблюды живут до 40 лет, а иногда даже больше, причем почти все это время их можно использовать для транспортных целей. Верхом ездят уже на трехлетних верблюдах, либо пользуясь при этом конским седлом, либо совсем без седла. Приучать к командам верблюдов начинали с четырех лет.

Кастрировали верблюдов в трехлетнем возрасте весной (обычно в апреле) кровавым способом — так же, как и лошадей: животное клали на спину, связывали попарно ноги и острым ножом надрезали мошонку, выдавливая яички. На стадо оставляли обычно одного производителя.

Случку проводили в конце зимы (в феврале). Верблю-

дица рождает не чаще, чем раз в два года, и кормит верблюжонка полтора-два года. Маленького верблюжонка, как и ягнят, держали примерно десять дней в юрте, а потом (если было холодно, то укутав войлочным тряпьем) отпускали к матери. Пока верблюжонок находился в юрте, мать доили подсосным методом, причем занимались этим женщины, иногда — мужчины, которые во время дойки стояли. Вопреки распространенному мнению о необыкновенной привязанности верблюдицы к детенышу, нередко она в первое время отказывается кормить верблюжонка. Чтобы заставить ее кормить, один человек держит ее за повод, второй раздвигает ноги палкой, а третий подсовывает к вымени детеныша. Верблюдица дает жирное молоко, доили ее три раза в день, получая примерно столько же молока, сколько от кобылы; однако монголы, по сведениям Майского, надаивают за год 70 ведер [Майский, 1921, 112]. В специальной литературе также указывается на возможность получения от верблюдов большего количества молока [Лакоза, 1953, 112].

Стричь верблюдов начинали уже со второго года жизни; стригли их один, реже — два раза в год, обычно в мае, когда обстригали всю шерсть, которая особенно ценилась для изготовления шерстяных лент для обтягивания юрты.

Тувинцы оспаривают мнение о необыкновенной выносливости верблюда, который, по словам Майского, у монголов может обходиться до 15 суток без питья и пищи, «не теряя при этом заметно силы» [Майский, 1921, 112]. По утверждению тувинцев, верблюд требует сравнительно большой заботы. Он легко простуживается и часто погибает от сырости, что подтверждается наблюдениями в Монголии Г. Е. Грумм-Гржимайло [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 370] и К. В. Вяткиной [Вяткина, 1960, 164]. Что касается воды, то без нее, как не раз говорили мои информаторы, верблюд не выдерживает и шести-семи суток. Аналогичные данные приводит и Пржевальский [Пржевальский, 1946, 103]. К тому же верблюд почти не может добывать корм из-под снега.

До революции стоимость верблюда приравнивалась в Туве к стоимости четырех хороших коней. Богатые западные тувинцы с удовольствием приобретали у монголов-халха (тувинцы называли их «калга») верблюдов, которых те почти ежегодно пригоняли на продажу к Чаданскому хурэ.

В стаде верблюды ходили отдельно от других животных, без пастуха. На мясо их резали редко. Если все-таки требовалось забить верблюда, его сажали на землю, а потом наносили удар ножом в затылок.

Приведем возрастные названия верблюдов *теве*. Верблюжонок до года назывался *бобаган*; на втором году — *дорум*; верблюд двух лет — *хунан теве* или *тойлак*; трех лет — *дөнэн теве*; верблюд в возрасте четырех лет — *бештиг теве*, пяти —

чедишкен теве; далее исчисление велось по числу лет. Верблюдицу называли *ингин*, кастрированного верблюда — *адан*, верблюда-производителя — *буура*.

По рассказам моих информаторов, они слышали, что в прошлом возраст верблюда определяли по зубам, но конкретные названия привести не смогли.

По данным Пржевальского, описавшего способ исчисления возраста верблюдов у монголов, возраст этого животного определялся исключительно по состоянию его резцов, причем счет велся от одного до двадцати одного года [Пржевальский, 1888, 33]. Однако Вяткина приводит в опровержение этого утверждения названия животных, основанные на числе прожитых лет, не указывая, в какой этнографической группе сделаны эти записи [Вяткина, 1960, 165]. Судя по работе К. Урай-Кохальми [Uray-Köhalmi, 1959, 4, 5] об исчислении возраста животных у монголов, речь у Вяткиной идет о западных монголах. Наконец, С. Садыков [Садыков, 1966, 115] приводит еще один вариант исчисления возраста верблюдов у монголов, хотя, к сожалению, он не указывает источник своих сведений и к какой группе эти сведения относятся.

Общевидовое тувинское название верблюдов «теве» имеет, по мнению большинства лингвистов, несомненно тюркское происхождение [Щербак, 1961, 103—110] и встречается в близких фонетических вариантах во многих языках (сравни монг. *тэмэн*, маньчж. *тэмэн*, тунг. *тэмэн*, *тэмэгэн*); в тюркских: *дава* (азерб.), *тöö* (алт., кирг.), *тэвё* (чув.), *тора* (уйг.) и др. Близкая тувинской фонетическая форма отмечена у тюрок Махмудом Кашгарским [МК, т. III, 225].

Название кастрированного верблюда *адан* также имеет параллели не только в монгольском *ат[ан]*, но и в тюркских языках (казах. *атан*). Щербак считает возможным связывать это название с обозначением мерина «аът», что представляется весьма вероятным.

Названия «ингин» (верблюдица) и «дорум» (верблюжонок на втором году) также имеют ближайшие параллели как в тюркских, так и монгольском языке, восходя, вероятно, к последнему. Несомненно, тюркским по происхождению является и название поводка *бурундук* (вероятно, происходит от *бурун* — «нос» в некоторых тюркских языках); любопытно, что последнее название известно у малоазийских турок как приспособление для лошадей [Радлов, 1911, т. IV, стлб. 1824].

Яки (сарлыки)

В некоторых горных районах Тувы (Бай-Тайга, Монгун-Тайга, Тере-Холь) разводят домашних яков — прямых потомков дикого тибетского яка. По всей вероятности, як

(*сарлык*) был одомашнен в Тибете, а оттуда через Монголию еще в древности проник в Туву и на Алтай.

О том, когда домашний як проник в район Саяно-Алтая, нет достаточно точных данных. Можно полагать, что гуннам, район расселения которых включал по крайней мере прилегающие к Туве территории, домашний як был известен, хотя в письменных источниках на это нет прямых указаний; косвенным свидетельством могут служить находки костей этого животного в Иволгинском городище и реалистические изображения яков на изделиях, найденных в гуннских погребениях [Руденко, 1962, табл. XXXVI, рис. 3]. Непосредственно к тувинцам як проник, по всей вероятности, из Монголии, о чем, в частности, свидетельствует его тувинское название, происходящее от монгольского *сарлаг*; в языках других тюркских народов, исключая алтайский и сагайский, где як также называется «сарлык» [Радлов, 1911, т. IV, стлб. 335], он именуется *котас*, а в маньчжурском *имэрхэн* [Щербак, 1961, 161].

В Центральной Азии и Южной Сибири помимо тувинцев яков разводят алтайцы, монголы северной части Халхи и в Алашаньских горах тибетцы, причем для последних характерен хозяйственно-культурный тип высокогорных скотоводов-кочевников.

По переписи 1931 г., в западных районах Тувы насчитывалось 566 яков, на юго-востоке — 151 як. Всего же в республике было 747 яков [ТСДП, 70].

В Туве сарлыки встречаются преимущественно темной масти⁹.

Сарлыки легко скрещиваются с крупным рогатым скотом. Смешанные формы называются *хайнак*, так же как у монголов и тибетцев [Пржевальский, 1946, 225]. Так как сарлычихи значительно меньше коров, проводить гибридизацию сарлычих с быками избегают, ибо крупный плод в таких случаях ведет обычно к гибели матери. Тувинцы в связи с этим предпочитают скрещивать сарлыков с хайнаками. Потомство гибридных форм называют *хайнак бараа*; оно значительно уступает как сарлыкам, так и хайнакам во всех отношениях.

Сарлыки используются не только для получения мяса и молока, но и в транспортных целях — под вьюк и в меньшей мере для верховой езды. Кроме того, весной сарлыков в некоторых хозяйствах стригут, причем их шерсть и шкура ценятся местным населением гораздо выше овечьих.

Пасутся сарлыки обычно отдельно, поднимаясь в недоступные для других пород скота места. В подкормке они не нуждаются и легко добывают корм из-под снега даже в период джута. Никаких сооружений для содержания сарлыков тувинцы не строили, так же как монголы, тибетцы, алтайцы.

После отела теленка привязывают около юрты. Сарлычиха в это время круглые сутки находится рядом. Первые три-четыре дня после отела, пока теленок находится на привязи, сарлычиху доят три раза в день. Затем теленка начинают пасти отдельно от матери в стаде телят; на ночь телят пригоняют в аал. В это время сарлычиху доят два раза — утром и вечером. Лактационный период длится шесть месяцев. Молоко сарлыков очень жирное (от 7 до 12%) и густое.

Возраст яков исчисляется так же, как и возраст быков и коров, но добавляется название «сарлык». В качестве примера можно привести названия яков-самцов. Новорожденный — *чаш бызаа*; до одного года — *бызаа* (в этом возрасте название «сарлык» обычно не добавляется); на втором году — *молдурга сарлык*; на третьем году — *хунан сарлык бугазы*; на четвертом году — *дөнөн сарлык бугазы*; на пятом году — *сес диштиг сарлык бугазы*, т. е. восьмизубый; на шестом году — *чедишкен сарлык бугазы*.

По мере дальнейшего увеличения возраста название дается по числу лет.

Яловую сарлычиху после первого отела называли *сувай сарлык инээ*; яловую второй год — *ийи чыл төрүвээн сарлык инээ*; на третьем году — *йиш чылын төрүвээн сарлык инээ* (сарлычих, яловых на третьем году, обязательно забивали). Кастрировали сарлыков на втором году жизни. Кастрированного яка называли *сарлык шарызы* или просто *шары*.

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С НАЗВАНИЯМИ И ИСЧИСЛЕНИЕМ ВОЗРАСТА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Названия домашних животных в связи с исчислением их возраста у тюркских и монгольских народов представляют большой интерес. Венгерская исследовательница Урай-Кохальми в своей работе [Uray-Kóhalmi, 1959] пришла к выводу, что у монголов в этом отношении приняты две системы: западные монголы исчисляют возраст животных по числу фактически прожитых лет («система числительных»), восточные — по развитию и состоянию зубов. Сопоставив эти данные с системами исчисления возраста различных видов скота у других народов, Урай-Кохальми пришла к выводу, что у всех тюркских народов, за исключением якутов, распространена «система числительных», заимствованная, по ее мнению, у западных монголов. Этот же способ исчисления возраста применяется самодийскими и в какой-то мере угорскими народами. Непротив, у народов, говорящих на тунгусо-маньчжурских языках, нашла отражение восточномонгольская система исчисления возраста животных по зубам.

Статья Урай-Кохальми привлекла внимание Л. П. Потапова, который, соглашаясь с ценностью работы венгерской исследовательницы, возражал лишь против того вывода, что «систему числительных» тюрки заимствовали у западных монголов, считая более вероятным обратное заимствование [Потапов, 1966, 44—45]. Впрочем, в недавно вышедшей книге Л. П. Потапова [Потапов, 1969] отмеченное выше заключение было пересмотрено, и ряд выводов, касающихся исчисления возраста у домашних животных, в определенной мере согласуются с нашими, которые были к этому времени кратко опубликованы [Вайнштейн, 1969в, 16—17]. Полностью исследование данного вопроса было приведено в нашей диссертации, обсужденной в Институте этнографии АН СССР в 1966 г. и защищенной в апреле 1969 г. [см. Вайнштейн, 1969б, 271—284].

Изучение этого вопроса привело нас к признанию ошибочности того основного положения Урай-Кохальми (и тех, кто ее взгляды разделяет), что у тюркских народов система исчисления возраста не зависит от развития зубов у домашних животных и может быть отнесена к «системе числительных». Если же Урай-Кохальми неправа, то и вытекающие из выдвинутого ею положения важные этногенетические выводы также не могут быть приняты.

Прежде всего нужно сказать, что у тувинцев, как и у других тюркских народов, система исчисления возраста отнюдь не игнорирует состояние и рост зубов. Достаточно указать на тот факт, что у тувинцев овца на четвертом году носит название *алды диштиг хой*, т. е. «шестизубая», лошадь на пятом году — *сес диштиг бе* («восьмизубая»), корова на пятом году — *сес диштиг инек* («восьмизубая»). Совершенно очевидно, что в указанных возрастах исчисление ведется по зубам животных (табл. 2).

Вместе с тем возникает вопрос: почему овец на четвертом году называли шестизубыми, хотя число зубов у них в это время достигает нескольких десятков [Доброхотов, 1959]? При выяснении причины столь парадоксального явления мне удалось установить, что хотя в тувинском языке, как и в других тюркских языках, слово *диш* переводится как «зуб» [Радлов, 1905, т. III, стлб. 1420], однако при исчислении возраста речь идет не о зубах вообще, а лишь о постоянных резцах. Действительно, у овец к трем годам в процессе смены молочных зубов постоянными появляются зацепы, средние резцы и наружные средние резцы, т. е. шесть постоянных резцов, которые имеются у овец только на нижней челюсти. У лошадей к четырем годам также часть молочных резцов сменяется постоянными; к этому времени появляются зацепы и средние резцы, т. е. по четыре постоянных резца на каждой челюсти, а всего восемь постоянных резцов. Для коров характерна та-

кая картина: к четырем годам у них на смену молочным резцам приходят все восемь постоянных резцов, расположенных, как и у овец, только на нижней челюсти [Доброхотов, 1959, 67, 347, 665—666].

Таблица 2

Возрастные названия лошадей, крупного и мелкого рогатого скота у западных тувинцев

Возраст	Лошади (жеребцы)	Крупный рогатый скот (коровы)	Мелкий рогатый скот (овцы)
До года	кулун	бызаа	хураган
На втором году	богба	молдурга	хунан хой
На третьем году	хунан аскыр (с 2 до 2,5 лет) хоочун хунан (с 2,5 до 3 лет)	хунан инек	дөнён хой
На четвертом году	дёнён аскыр (с 3 до 3,5 лет) хоочун дёнён (с 3,5 до 4 лет)	дёнён инек	алды диштиг хой
На пятом году	сес диштиг аскыр	сес диштиг инек	чедишкен хой
На шестом году	чедишкен аскыр	чедишкен инек	улуг хой

Название «чедишкен» — «созревший, созревшая» — характеризует полное развитие постоянных резцов и поэтому дается животным в зависимости от сроков развития таковых: лошадям на шестом году (12 постоянных резцов, по 6 на каждой челюсти), коровам на шестом году (8 постоянных резцов, только на нижней челюсти), овцам на пятом году (8 постоянных резцов, только на нижней челюсти).

Исчисление возраста животных по зубам известно не только тувинцам и якутам, но и другим тюркским народам. Так, например, у киргизов для овец существует название *эки тиштйй кой* и *тёрт тиштйй кой*, которые Юдахин переводит соответственно как «двухлетняя» и «четырёхлетняя» [КРС, 739]. Этот перевод, по-видимому, основан на недоразумении, так как в приведенных Юдахиним киргизских названиях речь идет не о годах, а о зубах — в первом случае о двух, во втором о четырех. Развитие последних, характерное для всех пород овец, не позволяет принять предложенное Юдахиним толкование, являющееся в данном случае, вероятно, следствием случайной ошибки. Исходя из правильного перевода этих двух названий («двухзубая» и «четырёхзубая»), следует считать, что первое у них означает овцу на втором году, второе — овцу на третьем году жизни.

Киргизы имели также определявшиеся по зубам возраст-

ные названия для верблюдов, в связи с чем Юдахин пишет: «О верблюде при определении возраста по зубам: бир кырккан четырехлетний, эки кырккан пятилетний, уч кырккан шестилетний и т. д.» [КРС, 495]. Верблюдов-жеребцов называли *эки кйрек* — «пятилетний», *тёрт кйрек* — «шестилетний», *алты кйрек* — «семилетний»; лишь после этого, по данным Юдахина, верблюд получал название *буура* [КРС, 470]. Особенно примечательно, что слово «*кйр*» в южном диалекте киргизского языка означает «зуб-резец» [КРС, 470]. У монголов, по сведениям Пржевальского [Пржевальский, 1888, 33], возрастные названия верблюдам также давались по количеству резцов, достигающих своего развития к семи годам [Лакоза, 1953].

Наступление зрелости животного (*асый*) определялось у киргизов так же, как у тувинцев, не по способности приносить потомство, а по завершению развития зубов. При исчислении возраста зрелых животных отсчет идет от времени наступления зрелости. Так, если *асый* у овец наступает на пятом году, то *уч асый кой* означает «овца на седьмом году».

Значительный интерес вызывают возрастные наименования животных «хунан» и «дёнён», известные не только тувинцам, но и почти всем тюркским и западномонгольским народам.

По данным А. М. Щербака, в тюркских языках в группу хунан входит молодежь в возрасте двух-трех лет, т. е. на третьем и четвертом году жизни. При этом автор высказывает предположение, что указанное слово включает корень монгольского числительного «три» и первоначально означало «трехлетнее». Словом «дёнён» у тюркских народов, по данным А. М. Щербака, именуется молодежь трех-четырёх лет, причем это слово, по мнению Щербака, первоначально означало «четырёхлетнее». Он исходит из предположения, что в это слово входит корень монгольского числительного «четыре» [Щербак, 1961, 92—94]. Однако материалы, которыми мы располагаем, показывают, что у тюркских народов называли «хунан» не столько трехлетних животных, сколько молодежь в возрасте двух лет, а у тувинцев двухлетний и даже однолетний (овцы и козы на втором году). Щербак указывает, в частности, что этот термин употребляется как название лошади двух-трех лет в киргизском, казахском, башкирском и тувинском языках. Однако в киргизском, по Юдахину, словом *кунан* называют жеребенка двух лет (на третьем году); выражение *кунан кунажын* употребляют для названия телки на третьем году [КРС, 445]. То же мы видим в казахском [Руденко, 1930, 15], башкирском языках [Руденко, 1955, 106—108]. Этим же словом у казахов называют (по Радлову и Руденко) двухлетних овец и коз [Radloff, 1893, т. I, 422, 434; Руденко, 1930, 15].

В западномонгольских языках (следовательно, и в калмыцком), по данным Урай-Кохальми, термин «хунан» употребляется для названия молодняка в три года (на четвертом) [Uray-Kohalmi, 1959, 3]. Однако знаток калмыцкой этнографии Эрдниев указывает, что название *гунан* употребляется калмыками в отношении верблюдов, крупного рогатого скота и мелкого рогатого скота только до двух лет, причем лишь в отношении самцов [Эрдниев, 1965б, 28, 31, 35]. Вяткина также пишет, что монголы (какие именно группы монголов — не отмечено) употребляют слово «хунан» как название молодняка двух лет — кастрированных жеребцов, бычков, верблюдов, баранов, т. е. только двухлетних самцов животных [Вяткина, 1960, 164—165]. Здесь же Вяткина разъясняет, что монголы эту группу обычно ошибочно называют трехлетними, так как по традиции исчисляют возраст со времени не рождения, а зачатия, прибавляя к фактическому возрасту год. Аналогичные сведения собраны мною у дэрбэтов. Впрочем, нужно заметить, что и тувинцы нередко употребляют название «хунан» для двухлетних, а «дөнён» для трехлетних овец, в чем, вероятно, находит отражение стремление к унификации названий возрастов домашних животных; при этом первоначальное значение этих терминов как названий животных с двумя и четырьмя резцами утрачивается. Однако наши старейшие информаторы утверждали, что такое применение названий неверно.

Особенно любопытен тот факт, что название «хунан» для мелкого рогатого скота на втором году жизни сохранилось лишь у тувинцев, в то время как у других тюркских народов и западных монголов этот термин в конце XIX — начале XX в. утратил уже свое первоначальное значение и служил для обозначения животных на третьем году. Это указывает на значительную древность тюрко-монгольских контактов, а также на определенную архаичность названий животных у тувинцев, сохранившуюся в условиях относительной изоляции.

Обращает на себя внимание то, что у большинства тюркских народов, в том числе и у тувинцев, термин «кунан» употребляется не только в отношении самцов, как это имеет место у монголов. А. М. Щербаку удалось показать, что в ряде тюркских языков образование производных от «кунан» идет преимущественно по линии выражения половых различий животных и приобретения категорий субъективной оценки, причем морфологические особенности образования таких производных нетипичны для тюркских языков и указывают на их генетическую связь с монгольским [Щербак, 1961, 93—94].

Название «дөнён», по имеющимся в литературе данным, применяется почти исключительно к животным трехлетнего

возраста. В киргизском языке *дөнөн кой* — трехлетняя овца [КРС, 199], то же в казахском [Radloff, 1893, т. I, 434]. В башкирском языке словом «дёнён» называют также и трехлетнего жеребенка и бычка [Руденко, 1955, 106—107]. В тувинском языке, как указывалось выше, данным термином обозначаются молодые животные в возрасте двух и трех лет.

Что касается монгольских языков, то, по данным Урай-Кохальми, в их западных диалектах термин «денен» употребляют для образования четырехлетнего возраста (пятого года) любого домашнего животного [Uray-Kohalmi, 1959, 3]. Однако у калмыков этим словом, как свидетельствует Эрдниев, называют только трехлетних животных-самцов [Эрдниев, 1965б, 28, 31, 35]. У монголов, по данным Вяткиной, денен служит также для названия трехлетних самцов (коней, бычков, верблюдов, баранов) [Вяткина, 1960, 164—165]. Аналогичные данные получены мною у дэрбэтов.

Для того чтобы решить вопрос о происхождении и значении терминов «кунан» и «дөнён», необходимо вновь обратиться к тувинскому материалу. Наиболее разработана система названий животных по возрасту применительно к лошадям. Как уже отмечалось, словом «хунан» («кунан») называют лошадей на третьем году жизни, причем четко различают коней хунан аскыр и хоочун хунан. Первое название, как разъяснили мои информаторы, означает начало развития двух резцов-зацепов у коня на каждой челюсти и соответствует возрасту от двух до двух с половиной лет, а второе — коня с развитыми зацепами, рост которых завершается в начале второй половины третьего года жизни и которые после этого начинают стираться («хоочун» означает «старый»). Мои информаторы вкладывали в слово «кунан» значение «двухрезцовый». Если иначе понимать значение данного слова, получится бессмыслица: молодой конь, в сущности жеребенок, во второй половине третьего года жизни именуется старым.

Столь же необъяснимо, если исходить из предположения, что хунан означает трехлетнее животное, почему лошади называются так на третьем году, а овцы и козы на втором. Это парадоксальное положение также разъясняется, если переводить хунан как «двухрезцовое»: ведь у овцы два постоянных резца-зацепа появляются на втором году, а у лошади на третьем. Подобным же образом может быть разъяснен и тот факт, что термином «хунан» крупный рогатый скот именуют на третьем году, так как у коров пара постоянных резцов-зацепов появляется также к двум годам [Доброхотов, 1959, 347, 665—666].

Аналогичную картину мы наблюдаем и в отношении слова «дөнён», которым тувинцы называют овец на третьем

году жизни, а лошадей и крупный рогатый скот — на четвертом. Однако лошади имеют в этом возрасте два названия: до трех с половиной лет жеребца называют «дөнен аскыр», а с трех с половиной до четырех лет «хоочун дөнен». Эти особенности в возрастных названиях также связаны с развитием резцов: в первой половине четвертого года к постоянным зацепам прибавляются средние резцы, и таким образом на каждой челюсти имеется по четыре резца; к четырем годам средние резцы завершают свое развитие и начинают стираться. Таким образом, название лошади с четырьмя старыми резцами здесь также вполне оправдано.

Слово «дөнен», вероятно, включает корень монгольского числительного «дөрөв» (четыре) и первоначально означало не «четырёхлетний», а «четырёхзубый». Этимологизация слова «хунан», видимо, требует дополнительных исследований, причем хотелось бы выяснить, насколько вероятно предположение о его возможном первоначальном значении «двухзубый». Заметим, что у якутов название животных (лошадей и рогатого скота) на третьем году, соответствующее хунан, звучит как *тисаха*, что разъясняется Пекарским из «тис» — зуб [Пекарский, т. III, 1959] (ср. «диш» в тувинском и других тюркских языках).

Существование у монголов способа определять возраст животного, прибавляя год к фактически прожитому им времени, о котором, очевидно, не знала венгерская исследовательница, и привело к ошибке, которая проникла в ее работу.

Нужно сказать, что у тувинцев исчисление возраста животных по зубам в последние пятнадцать-двадцать лет выходит из употребления и получает распространение унифицированная в колхозах и совхозах система названий по числу лет, т. е. «по числительным»; однако старики еще в начале 50-х годов хорошо помнили названия животных, которые давались до пяти лет исключительно в зависимости от развития зубов.

Все вышесказанное позволяет нам сделать вывод, что тувинцы начинали применять систему исчисления возраста животных «по числительным», т. е. по числу прожитых лет, только после завершения развития у животных зубов. Помимо тувинцев и якутов названия животных по развитию их зубов употребляются киргизами. Если же исходить из того, что хунан и дөнен также выражают наименования животных по зубам, то следует признать, что известная ныне тувинцам система была в употреблении почти у всех тюркских народов, а также западных монголов. Все это и заставило нас отказаться от категоричного вывода Урай-Кохальми, что система исчисления возраста животных по зубам была свойственна только восточным монголам и тунгусо-маньчжурам и не известна никому из тюркских народов (кроме якутов).

Вместе с тем несомненно, что возрастные наименования «хунан» и «дөнен», известные как западномонгольским, так и тюркским народам, указывают на древние и тесные хозяйственно-культурные связи между ними, восходящие, вероятно, к периоду их контактов в Центральной Азии. Есть все основания считать хунан и дөнен словами монгольского происхождения; поэтому вряд ли верен взгляд на одностороннее заимствование монголами названий домашних животных у тюркских народов (А. М. Щербак), как было бы неверно и обратное утверждение, вытекающее из работы Урай-Кохальми. Система исчисления возраста животных по зубам является, вероятно, достаточно древней и могла самостоятельно развиваться у различных народов. Существование же определенных восточномонгольских и западномонгольских лексических различий в возрастных названиях животных требует специальных исследований, которые, возможно, прольют дополнительный свет на историю культурного и хозяйственного развития тюрко-монгольских народов.

ЗАГОТОВКА КОРМОВ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСТРОЙКИ

Прежде чем перейти к вопросу о заготовке кормов и подкормке скота, необходимо отметить определенное пространство той точки зрения, что тувинцы вплоть до первой половины XIX в. совершенно не заготавливали сена. При этом обычно ссылаются на местного краеведа Сафьянова, который писал, что тувинцы сена вовсе не запасают и смеются над русскими, кормящими свой скот «мертвой травой» [см.: Катанов, 1903].

Однако эти утверждения неверны. Правда, роль подкормки для сохранения поголовья скота была крайне невелика. Тем не менее тувинцы запасали сено, хотя и не во всех хозяйствах, в очень небольших количествах и только в местах, расположенных поблизости от зимних стоянок. Почти не запасали сена лишь в южных районах Тувы, где обильные снегом зимы были крайне редки.

Траву рвали руками или срезали ножами. Срезанную или вырванную траву скручивали затем в длинные и толстые жгуты, которые сушили на деревьях. В конце XIX в. Катанов писал (в своем неопубликованном дневнике о поездке в Туву), что тувинцы по традиции заготавливают немного сена, и при этом указывал: «Сено не косят косами... но все это делается посредством рвания с корнями руками или резания ножом» [АИЭЛ, ф. V, оп. 1, № 526, л. 7]. Таким способом заготавливали очень мало сена: даже у богатых скотоводов было не более 100 кг, реже до 150—200 кг.

Сходный способ заготовки сена существовал также у алтайцев и других саяно-алтайских кочевых скотоводов до того, как у них распространились русские косы. Так, например, в начале XIX в. Спасский писал, что алтайцы «запасают сено, подрывая траву ножом и развешивая оную для просушки на деревьях» [Спасский, 1819а, 6].

В некоторых хозяйствах, сочетавших кочевое скотоводство с земледелием, иногда подкармливали голодающий молодняк зерном; однако к весне, когда скоту угрожала гибель от бескормицы, запасы зерна обычно иссякали. По данным переписи 1931 г., считавшей минимумом подкормки 8 кг сена или полчашки зерна (5—6 кг) на одно животное за весь зимне-весенний период, свыше половины хозяйств не давали скоту даже этого мизерного количества корма: из 15648 переписанных хозяйств не подкармливали скот 8296 [ТСДП, 11, 70]. Как отмечал участник переписи П. Маслов, даже в 1931 г., когда распространялись уже более прогрессивные формы ведения хозяйства и, в частности, сенокосение, этот ничтожный подкорм производился лишь во время сильных снегопадов и весной во время окота. При этом он подчеркивал, что «даже при очень толстом снежном насте подкармливают далеко не все группы» [ТСДП, 11].

В редкие годы не было массового падежа скота от бескормицы. Если же на Туву обрушивались суровые и снежные зимы, во время которых скоту, особенно козам и овцам, было трудно добывать себе пищу, то к весне наступало тяжелое истощение, приводившее к гибели тысяч животных. Ранние весенние оттепели, которые вскоре прекращались, вели к еще более тяжелым последствиям, так как истощенные животные не могли пробить копытами толстый наст и погибали на пастбищах. В отдельные годы от джута погибало до 15—17% всего скота. В 1933—1934 гг., например, за несколько дней от джута в Туве пало свыше 100 тыс. голов скота [Михайловский, 1937, 56], т. е. примерно 15% всего поголовья. Следует отметить, что у других скотоводческих кочевых народов потери во время джута были такими же, и даже выше: так, калмыки теряли до четверти всего скота [Небольсин, 1852, 165—167; Попов, 1839, 29].

Огромный урон тувинскому скотоводству приносили эпизоотии. Д. В. Мурзаев в связи с этим отмечал в 1905 г., что от эпизоотий, охватывающих значительную часть или отдельные районы Тувы, гибнет каждый год большое количество скота [Мурзаев, 1905, 14]. Особенно большой вред животноводческому хозяйству Тувы приносили ящур (*чара-алаар аарыг*), сап (*ямы*), сибирская язва (*кодур*), различные кожные заболевания, образующие язвы (*аарыг*), оспа (*быжар-думаа*), чума (*онза халдавырыг аарыг*) и другие болезни. В отдельные годы от них погибало скота больше,

чем от бескормицы. Крупные потери нес скот и от нападений хищников.

Огромный процент погибающих животных от различных причин был страшным бичом тувинских скотоводов, терявших в отдельные годы, по свидетельству моих информаторов, до половины всего поголовья за счет главным образом молодняка. Аналогичные потери были характерны также для алтайцев [Токарев, 1936, 12] и других кочевых скотоводческих народов.

В Туве первые ветеринарные пункты были созданы лишь незадолго до революции на средства, отпущенные правительством России, но и они не могли оказать сколько-нибудь существенной помощи в условиях кочевого хозяйства.

Тувинцы в конце XIX — начале XX в. строили для содержания скота открытые и закрытые загоны и кошары (летние и зимние), рубленые сооружения (коровники, телятники), а также крытые ямы.

Летние кошары *кажаа* сооружали в виде пяти-, шести- и семиугольных загонков. Обычно их строили из жердей. Для сооружения летней кошары-загона вначале забивали в землю деревянные столбы, определявшие вход в кошару; затем горизонтально укладывали жерди *эзилер*, между которыми у входа вкладывали короткие палочки *дооралар*. По углам кошары жерди скреплялись вбитыми в землю парными столбами. При этом каждая жердь одной стороны кошары проходила между двумя жердями соседних сторон. По данным Ермолаева, кошары делали также и плетеными из хвороста. «Кажая из жердей,— пишет Ермолаев,— иногда плетенные из хвороста» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 25].

Летние кошары использовались в течение ряда лет, причем каждое лето их переносили на более чистое место. Однако нередко, меняя маршрут кочевков, к старым кошарам не возвращались и строили новые. А. П. Ермолаев пишет, что некоторые хозяйства перевозили жерди кошар с собой при перекочевках [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 25]. Вероятно, это наблюдение было сделано в пустынной зоне южных районов Тувы. Следует отметить, что если у детей, выделившихся из семьи, скота было сравнительно немного и общее количество овец и коз вместе со скотом родителей не превышало 150—200 голов, то летняя кошара была общей.

Зимние кошары для крупного рогатого скота (инек кажаазы) в конце XIX — начале XX в. делали обычно в виде открытых загонков с рублеными стенами и крышей. Их строили четырех-, пяти- и шестиугольными в плане. Стены кошары сооружали из положенных горизонтально и плотно пригнанных одно к другому бревен, не очищенных от коры и соединенных в чашку. Одна сторона кошары обычно не

имела стены и служила входом: загнав скот в кошару, вход закрывали горизонтально уложенными жердями. Скот держали в такой кошаре только в ночное время. Строились также крытые кошары в виде частично углубленных в землю срубов с крышами из жердей, присыпанных землей.

Иногда в литературе можно встретить сообщения о том, что загоны для скота никогда не чистились [Яковлев, 1900, 38]. Подобные утверждения неверны. Тувинцы очищали загоны для скота один-два раза в год, пользуясь специальным скребком *хайбырышкын* (в МАЭ хранится экземпляр такого скребка: колл. № 391/20). Если же выпадал дождь, то кошары очищались от жидкого навоза лопатами *иняи хййрек*.

На весенних, осенних и зимних стоянках, а иногда и на летних стоянках (после того как их покидали) сухой навоз выгребали из кошар и собирали в кучи для того, чтобы зимой его можно было вывезти к зимним коровникам, где его использовали для подстилки крупному рогатому скоту.

Зимой каждое утро коровники чистились: верхний слой отсыревшего и замерзшего навоза снимался, а при необходимости вырубался, после чего рассыпали слой сухого навоза, привезенного с других стоянок.

Теплыми зимними помещениями для молодняка служили прикрывавшиеся жердями, ветками и землей ямы, в которые вел узкий лаз. «Зимой,— писал Ермолаев в 1916 г.,— овец и коз запирают во дворах открытых или с крышей. Ягнята и яманята... держатся в врытых в землю хлевах, совсем маленькие сидят в них круглые сутки, тех, кто побольше, в теплое время дня выгоняют на солнышко» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 25].

Такие сооружения на зимниках тувинцев сохранялись вплоть до начала социалистической реконструкции хозяйства. Ныне они полностью вышли из употребления, но в 1962 г. мне еще удалось отыскать один из последних хлевов такой конструкции в Эрзине. Его называли *чер пунзе*; он представлял собой четырехугольную яму размером 2,8 м × 2,8 м, в которую вел наклонный лаз длиной около 1,8 м; глубина помещения была около 1 м. Кровля из плоско положенных жердей была присыпана землей.

В конце XIX—начале XX в. начали строить примитивные рубленые теплые помещения для мелкого рогатого скота. Это были небольшие, частично заглубленные срубы в пять-десять венцов, пяти-восьмиугольные в плане, высотой до 1,5 м, с крышей из жердей, опиравшихся на столбы внутри кошары, соединенные поперечными жердями, уложенными поверх них в пазы.

В начале XX в. строились и более совершенные помещения для мелкого рогатого скота: невысокие четырехугольные сооружения высотой около 1,5 м из бревен лиственницы, не

очищенной от коры. Сруб делали в чашку *кертир* и обмазывали с внешней стороны свежим навозом. Крышу делали из плотно уложенных в ряд жердей и сверху присыпали землей. Высота двери была обычно около 1 м, ширина 60—70 см. Дверь *эжик* закрывали, закладывая ее досками *калбак чарты*.

В конце XIX—начале XX в. получили распространение небольшие и довольно примитивные срубные крытые коровники. Один из таких коровников, виденный мной в Бай-Тайге в 1951 г., имел в длину 4,05 м, в ширину 3 м, в высоту 2,2 м. В начале XX в. перед такими срубами делали небольшие загоны из жердей с навесом, на которые клали сено; назывались эти загоны *серилиг кажая*.

В начале XX в. начинают строить также срубные телятники. Приведу данные об одном из них по записям, сделанным в 1953 г. в Тере-Холе. Виденный мной телятник был рублен в чашку из бревен лиственницы, не очищенных от коры; с внешней стороны стены были обмазаны навозом; кровля была сделана из горизонтально уложенных жердей, присыпанных землей, дверь—из плах. Высота строения была 1,5 м, длина 2,5 м, ширина 2 м. Бревна стен носили название *эзги*, кровля называлась *сайга*.

Следует заметить, что различные постройки для содержания скота обычно образовывали целый комплекс зимника. Так, в 1915 г. Турчанинов писал, что зимники бывают большей частью в определенных местах и снабжаются примитивными хозяйственными постройками, в числе которых он отметил: столб для лошади, навесы для хранения мяса, загон для скота, овчарни для маток с детенышами, теплушки для ягнящихся овец и маленьких телят [РФ ТНИИЯЛИ, № 8, л. 67—68].

Зимники восточных тувинцев-скотоводов были обследованы в 1926 г. экспедицией под руководством В. Бунака. В это время на всех зимниках для коров, а в некоторых местах и для овец имелись закрытые срубные сооружения, которые носили название *чылыг кажая*, т. е. теплые кошары. В материалах М. Г. Левина сохранилось описание одного из таких зимников охотников-скотоводов в Восточной Туве, принадлежавших Лопсану из Ак-Сумо в поселке Ий. На зимнике имелась теплая срубная кошара, к которой сзади примыкал четырехугольный загон. Кошара представляла собой четырехугольное сооружение из бревен диаметром 0,1—0,12 м, рубленых в чашку с крышей из тонких жердей, прикрытых корой. Длина сруба была 2,65 м, ширина 2,2 м, высота 1,2 м. Вход был обращен на юг. К срубам примыкал загон, сделанный из жердей и имевший в длину 3,4 м, в ширину 2,8 м, в высоту 1,2 м. Стены сруба называли *толазы*, настил крыши *сайга*, вход *халга* [АИЭМ, ф. 41, оп. 2, № 116, л. 10].

В другом зимнике (бывшего нойена Чогдура) М. Г. Левин отметил следующие сооружения (помимо жилища): 1) теплый сруб для рогатого скота; 2) теплый сруб для телят; 3) открытый загон для лошадей; 4) небольшой сруб для хранения продуктов.

Переписью 1931 г. у тувинцев было зарегистрировано более 22 тыс. закрытых, утепленных хлевов, которые характеризуются в переписи как «ямы в земле, крытые хворостом (помещения для телят и ягнят)» [ТСДП, 9, 61]. Однако поскольку в переписи совершенно не отмечены срубные постройки для скота, которые несомненно были в то время, о чем свидетельствуют не только сообщения моих информаторов, но и этнографические материалы М. Г. Левина [АИЭМ, ф. 41, оп. 2], можно полагать, что указанное количество хлевов включало также срубные постройки, а не только ямы, покрытые хворостом.

Хотелось бы заметить, что встречающееся в литературе утверждение о том, что подкормка скота сеном и использование закрытых помещений для скота начались лишь после победы народной революции в Туве [Народы Сибири, 1956, 43], не может быть принято. Выше мы уже приводили материалы, свидетельствующие о том, что тувинцы в небольших размерах заготавливали сено и подкармливали скот по крайней мере уже в конце XIX в., причем такая подкормка была в то время отнюдь не привилегией богатых скотоводов; наоборот, к ней чаще прибегали рядовые араты, стремившиеся сохранить то мизерное количество скота, которым они располагали.

Что же касается помещений для молодняка в виде крытых ям, то, надо полагать, они были известны тувинцам и ранее конца XIX в., когда, по данным моих старейших информаторов, они имели уже достаточное распространение. При этом можно отметить, что сооружение на зимниках постоянных закрытых построек для скота известно не только тувинцам, но и другим кочевым народам. Так, примитивные, углубленные в землю постройки с каркасом из жердей, обмазанных навозом, были известны киргизам и казахам [Леваневский, 1894—1895; Шнз, 1894, 1—12].

Тувинские открытые сооружения для скота в виде городьбы сходны с подобными сооружениями у других кочевых скотоводческих народов Центральной и Северной Азии, о чем упоминается в литературе [Харузин, 1896, 80—86]; однако отсутствие детальных описаний их конструкции в этнографической литературе затрудняет сравнительно-этнографическое изучение тувинских загонов. Укажем лишь, что ближайшие аналоги конструкциям тувинских открытых сооружений для скота отмечены у якутов, у которых подобные тувинским загоны носят название *тоюсо-кюре* [Приклонский,

1891, 19—23]. При установке последних якуты, как и тувинцы, вбивали парные колья, между которыми укладывали горизонтальные жерди. Сходные сооружения мне приходилось видеть у хакасов. Название загонов для скота «кажаа» распространено в тюркских и монгольских языках: *кажа* (двор для скота) — у шорцев, *каса* (сарай при юрте) — у сагайцев [Радлов, 1899, т. II, стлб. 363], *кашаа* (загон для рогатого скота или овец, обнесенный частоколом или плетнем) — у киргизов [КРС, 362], *казаа* — у хакасов (загон, «огорожа, плетень из тополевых и тальниковых веток для скота») [Яковлев, 1900, 16]. Это же слово имеется и в других тюркских языках в значении «частокол», «ограда» (в казахском, каракалпакском, уйгурском) [Садыков, 1966, 130]. У монголов *хашаа*[н] также означает «забор», «изгородь» [МРС, 522].

ФОРМЫ КОЧЕВАНИЯ И ВОПРОСЫ ИХ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Формы кочевания и их зависимость от природных и социально-экономических условий не привлекали достаточного внимания исследователей, хотя эти вопросы и затрагивались в ряде работ, посвященных скотоводам Азии. Тувинские материалы в указанном аспекте также специально не разрабатывались.

В XIX — начале XX в., как отмечалось выше, кочевой образ жизни вело абсолютное большинство тувинского населения. По переписи 1931 г. еще сохраняло кочевой образ жизни 88,2% всех тувинских хозяйств [ТСДП, 162].

Кочевки совершались обычно группой юрт — аалами, причем каждый аал, как правило, имел определенные пути кочевки и установившиеся по традиции места летних, осенних, зимних и весенних стоянок. Нередко, однако, эти традиционные маршруты по разным причинам нарушались. Наиболее постоянными были зимники (*кыштаг*). К выбору зимника предъявлялись наиболее высокие требования: он должен был находиться по возможности недалеко от леса и близ малозаснеженных пастбищ в гористых местах.

Зимники, в особенности те из них, которые находились в достаточно благоприятных условиях, как правило, были во владении отдельных хозяйств; при этом лучшие зимники обычно попадали в руки верхушки тувинского общества. Владение зимниками в конце XIX — начале XX в. приобрело характер закрепленной обычным правом традиции, хотя и нередко нарушавшейся. По свидетельству большинства моих информаторов, зимние пастбища были обычно во владении отдельных хозяйств аалов, т. е. ближайших родственников (родители и их дети), и даже наследовались женатыми

сыновьями. Однако не все тувинцы имели постоянные зимники. А. П. Ермолаев отмечает, что «выгоны считаются общими всегда, но зимние пастбища, особенно в бескормные годы, находятся в пользовании индивидуальном: „Это моя гора, это твоя“ хотя это и не очень строго соблюдается» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 30].

В неблагоприятные годы хозяйства Западной Тувы, не имевшие достаточно хороших зимников, нередко были вынуждены совершать длительные перекочевки, уходя в менее заселенные районы, так как в окружающих местах все удобные зимники оказывались занятыми. По данным того же Ермолаева, тувинцы, жившие по Бора-Холю в Западной Туве, зимой «идут туда, где слышно о хороших кормах, причем уходят и на Чадану и за хребет Танну... Куда именно за хребет — безразлично, где слышно о кормах, туда и идут» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 30].

В менее населенных местах, где хватало зимних пастбищ поблизости от летних стоянок, положение менялось. Так, например, даже в Западной Туве, «выше Петр-арыха, — отмечает Ермолаев, — начинаются места не так густо населенные». Тувинцы, пишет он, имели здесь «достаточно пространства, чтобы... не уходя из района, менять места своих стоянок — лето и осень вверх по Чадану, на весну идут вниз по Чадану... зимой в горы тут же. По Баян-Тугаю юрты стоят все время, кроме зимы, когда уходят в окрестные возвышенности» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 40].

Обычно у тувинских скотоводов маршруты кочевков отдельных аалов были более или менее традиционными и повторялись из года в год. Зная это, тувинцы-скотоводы, особенно в густонаселенном западном районе, избегали выпасать скот на путях кочевков «чужих» аалов. Аналогичная картина была характерна и для других кочевых народов. Так, у казахов, по сведениям Кадомцева, «у каждого аула при летних перекочевках для пастбищного содержания скота есть свой известный путь следования, который никто уже другой не имеет права использовать и потравить» [Кадомцев, 1877, 34]. Аналогичные свидетельства содержатся в материалах Мак-Гахана [Мак-Гахан, 1875, 42] и некоторых других авторов.

Для тувинцев был характерен режим кочевания, при котором зимой большинство скотоводов находилось в горах. Это отмечалось в конце XIX — начале XX в. многими наблюдателями тувинского быта. Так, Черневич писал в начале XX в., что тувинцы «укрываются зимой от холода и ветра в ущельях — узлах гор (зимники)» [ЛОААН, ф. 78, оп. 1, № 104, 1—32 об.]. То же отмечал и Ермолаев [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 49]. Мои информаторы также указывали на это, подчеркивая, что в горах, где ветер на склонах сдувает

снег, можно было найти достаточно пригодные пастбища для содержания скота на вольном выпасе¹⁰.

При выборе зимника стремились к тому, чтобы он находился ниже пастбища, расположенного на склоне горы. Юрта ставилась на ровных местах недалеко от склона. Тем самым жилище оказывалось укрытым от ветров, а первые солнечные лучи утром освещали его. Кроме того, со стороны юрты открывался широкий обзор склонов гор, на которых пасся скот.

Вблизи зимников у тувинцев находился крупный и мелкий рогатый скот, а табуны лошадей отгонялись в предгорные равнины, где по ночам их пасли табунышники, которые присматривали за табунами время от времени и днем.

Источников воды поблизости от зимников, как правило, не было, воду для людей получали, растапливая снег либо лед, привезенный с реки, а животным снег заменял воду. Хотелось бы в связи с этим отметить, что еще Рубрук писал о татарах: «В местах удобных для пастбищ, но лишенных воды, они пасут стада зимою, когда там бывает снег, так как снег служит им вместо воды» [Рубрук, 1957, 91].

Весной (в апреле — начале мая), когда на северных склонах гор и в лощинах лежал еще снег, а на южных склонах, согретых солнцем, появлялись первые ростки зеленой травы, тувинцы начинали перекочевку на места весенних стоянок *чазаг*. Твердых календарных сроков перекочевки с зимних на весенние пастбища не существовало. Многое зависело от погоды, от того, сколько снега выпадало зимой, от времени наступления теплых весенних дней, от количества молодняка. Животные, родившиеся зимой, прежде чем переходить на новые стоянки, должны были окрепнуть. Богатые хозяйства с большим количеством скота стремились как можно быстрее перебраться на весенние пастбища, так как возможности содержания большого количества скота на зимних пастбищах в горах ограничены. Некоторые же, в особенности бедные хозяйства затягивали иногда пребывание на зимниках до конца мая и даже до начала июня.

В тех хозяйствах, весенние и осенние стоянки которых располагались вблизи пашен, сроки перекочевки были более твердыми.

С наступлением теплых дней, в мае, когда аал находился на весенней стоянке, мужчины в течение 7—15 дней занимались посевными работами на пашне. Если пашня находилась вдали от весенней стоянки, то мужчины в это время не возвращались в аал. В начале июня, после завершения посева и возвращения мужчин, аал перекочевывал на летнее пастбище, так как больше нельзя было оставаться на весеннем пастбище, где травы становилось мало и она выгорала. На летних пастбищах *чайлаг* в речных долинах травы в это

время было особенно много, были и хорошие места для водопоев. Некоторые хозяйства, имеющие такую возможность, переселялись в июне на чайлаги с сочной высокой травой в долины крупных рек. Однако большинство хозяйств вновь уходило летом в горы, в верховья рек, в тенистые ущелья, где росли небольшие рощи, имелась хорошая вода, а занесенный сюда зимой снег, обильно смочив почву влагой, создавал благоприятные условия для развития травяного покрова в течение всего лета.

А. П. Ермолаев, обследовавший тувинцев в долине Чадана в 1916 г., писал, что с наступлением жарких летних дней скотопастбища вновь поднимались в горы, в верховья рек, где находились до начала августовских холодов. В августе по степным и горным тропинкам «вновь идут быки, завьюченные домашним имуществом, так что только торчат одни рога, направляются они на пашни. На пашнях или около них обыкновенно стоят до снега, а как только горы покрываются ими, юрты свертываются и (хозяйства.— С. В.) одно за другим уходят на зимовки, где в узких ущельях, на солнцепечном склоне и за ветром юрты прижмутся до новой весны» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 60].

Большинство хозяйств степных тувинцев совершали три-четыре перекочевки в год. Но были и такие хозяйства, которые делали меньше (две-три) или больше (пять-шесть) перекочевок.

В конце XIX — начале XX в. отдельные (очень немногие) тувинские хозяйства переходили к оседлости. Это были, как уже отмечалось, хозяйства бедняков, владевшие незначительным количеством скота и засевавшие небольшие участки пашни. Такое явление было особенно характерно для Западной Тувы, в первую очередь для района Чадана, где остро чувствовалась нехватка пастбищ — главного условия скотоводства, в особенности кочевого.

«На Чадане,— писал Ермолаев,— по сравнению с другими (районами.— С. В.) Кемчикского бассейна чувствуется земельная теснота». Здесь, отмечает он же, «много есть юрт, имеющих зимники и стоянку общую для всего теплого периода года, есть и хозяйства, стоящие круглый год на одном месте» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, лл. 46—47].

Но и те хозяйства, которые кочевали, подчеркивал Ермолаев, в большинстве своем обитали в Чаданской долине круглый год, «уходя и то не на всю зимовку в окрестные горы; расстояния между пунктами кочевания обыкновенно незначительные» [там же, л. 47].

В переписи 1931 г., дающей достаточно четкую характеристику кочующих хозяйств, приведены следующие сведения о распределении хозяйств по расстоянию и числу кочевков [ТСДП, 108—109]:

До 5 км	1 677
Свыше 5 км	12 124
В том числе:	
с 2 кочевками . . .	2 666
с 3 кочевками . . .	1 269
с 4 кочевками . . .	8 432
с 5 кочевками . . .	1 374
с 6 кочевками . . .	40
Всего	13 801

Из этого следует, что большинство кочевков совершались на расстояния свыше 5 км, причем более половины всех хозяйств совершали четыре перекочевки. Средние расстояния перекочевков колебались от 6 км (в Каа-Хемском р-не) до 30 км (Тоджа); в зависимости от района и времени года средние расстояния кочевков были следующими (по материалам переписи 1931 г. (в км):

Хошун	С весенних пастбищ на летние	С летних пастбищ на осенние	С осенних пастбищ на зимние	С зимних пастбищ на весенние
Барун-Хемчик . . .	11,5	10,7	7,4	7,2
Дзун-Хемчик . . .	7,9	6,7	7,4	6,3
Улуг-Хем	12,9	11,5	10,2	9,6
Каа-Хем	7,9	6,2	5,4	4,8
Тес-Хем	16,9	15,8	7,8	7,6
Тоджа	28,3	27,6	32,8	31,1

Из приведенных данных видно, что тувинцам степных районов наибольшие расстояния приходилось преодолевать при перегоне скота с весенних стоянок на летние, наименьшие — при перегоне с зимних на весенние стоянки. У оленеводов Тоджи, маршруты кочевков которых были наиболее длинными, максимальную протяженность имели перекочевки с осенних на зимние стоянки.

Протяженность маршрута кочевков зависела также от количества животных в стаде, от его видового состава. Как правило, чем больше скота было в хозяйстве, тем дальше были кочевки. Бедные хозяйства, в особенности без волов, были вынуждены кочевать на сравнительно небольшое расстояние. Совместно кочевали группы из трех-пяти хозяйств, входившие в один аал. Последние различались между собой по богатству, т. е. были аалы из бедных хозяйств, средние по обеспеченности и байские. На этом вопросе мы здесь не останавливаемся, так как рассмотрим его ниже. Отметим лишь, что нередко аалы включали как богатые, так и бедные хозяйства, находившиеся в зависимости от первых. В этих случаях, разумеется, протяженность маршрутов коче-

вок бедного хозяйства определялась кочевками бая, что было характерно, по свидетельству моих информаторов, как для кочевков тувинцев в конце XIX—начале XX в., так и в первые послереволюционные годы. Перепись 1931 г. также отразила это явление [ТСДП, 13, 106—109]. Если бедняцкие аалы кочевали в среднем на расстоянии около 25—30 км в год, то протяженность маршрутов кочевков богатых аалов достигала в среднем 50—60 км. Впрочем, богатые скотовладельцы нередко сокращали маршруты кочевков, так как значительную часть стада раздавали на выпас и не нуждались в связи с этим в больших перекочевках.

Некоторые бедные хозяйства, вынужденные устраивать весенне-осенние стоянки у далеко расположенных пашен, должны были удлинять маршруты кочевков. Хозяйства, которые сочетали скотоводство с охотничьим промыслом, также были вынуждены совершать более длинные перекочевки, чтобы зимовать ближе к промысловым угодьям. Так, например, мой информатор Монгуш Токтуг-оол кочевал осенью из долины Чадана в верховья р. Хөндергей в тайгу, где у него был зимник, а поблизости можно было «белковать».

Количество кочевков также зависело от ряда причин: обеспеченности скотом, его видового состава, качества и расположения пастбищ и др. Так, например, большинство бедных хозяйств делало от двух до четырех перекочевков, в то время как большинство богатых — четыре-пять. Однако были и бедные аалы, совершавшие пять перекочевков, и достаточно богатые, ограничивавшиеся двумя-тремя перекочевками.

Некоторые богатые хозяйства имели два зимника и делали поэтому пять основных перекочевков. Необходимость иметь два зимника была вызвана большим количеством скота и нехваткой удобных зимников с большими пастбищами, которые могли бы обеспечить содержание скота в течение всей зимы.

По утверждению моих информаторов, большинство богатых скотоводов имели два зимника. На летних же обычно жили в одном и том же месте в течение всего времени пребывания на чайлаге. В 1931 г. по два стойбища на одном летнике имели только шесть хозяйств, причем, как отмечалось в переписных листах, «перемещение летника было вызвано у всех совершенно случайными причинами» [ТСДП, 13].

В тех случаях, когда хозяйства сочетали скотоводство с земледелием, поездка на пашню для сева у большинства аалов совпадала с кочевкой с зимних на весенние стоянки, а период уборки урожая — с перекочевкой с летников на осенние пастбища. Однако некоторые хозяйства кочевали

к своим полям специально для производства полевых работ, так как удобных пастбищ рядом с пашнями не было. В таких случаях аалы совершали две кочевки весной и две осенью, и у них получалось шесть перекочевков в год. Впрочем, по переписи 1931 г., хозяйств с шестью кочевками было менее 0,5%. Не имея возле пашен удобных пастбищ, большинство хозяйств все же делало лишь четыре перекочевки, причем на пашню выезжали только мужчины.

В таблице 3 приводятся данные о количестве кочевков и их общей протяженности у кочевых хозяйств, учтенных переписью 1931 г. и сгруппированных в зависимости от их обеспеченности скотом (сюда не включены хозяйства, отпускавшие работников на заработки либо нанимавшие их).

Обычно, если хватало транспортных животных, все хозяйства одного аала перекочевывали одновременно. Срок начала кочевки намечался за несколько дней; готовиться к ней начинали заранее. Как известно, в скотоводческом хозяйстве все основные работы, связанные с выпасом животных, их содержанием и заготовкой кормов, выполнялись мужчинами, а женщины следили только за скотом, который пасся вблизи аала, а также молодняком, доили молочный скот; при перекочевках же главные заботы лежали на женских плечах.

Таблица 3
Количество и протяженность кочевков скотоводческих хозяйств Тувы*

Количество голов скота в хозяйстве (в переводе в крупный)	Число учтенных кочующих хозяйств	Распределение хозяйств по числу кочевков					Общая протяженность кочевков, км
		2	3	4	5	6	
До 5	1378	451	141	683	102	1	40 615
От 5,01 до 10	3260	839	346	1763	306	6	112 172
От 10,01 до 20	4322	754	387	2734	433	14	119 187
От 20,01 до 30	1914	203	161	1305	235	10	94 988
От 30,01 до 50	1070	80	73	778	136	3	57 712
50,01 и более	317	20	14	236	46	1	15 509

* [ТСДП, 108—109].

В день перекочевки с самого раннего утра все жители аала были на ногах. Женщины доили скот, сами паковали почти все имущество, утварь; мужчины ограничивались в это время обычно тем, что седлали лошадей, надевали на волов вьючные седла и приступали к разборке юрт. Проходило менее часа, и все было готово к перевозке. Ехали отдельными хозяйствами: впереди навьюченные волы, которых

гнал обычно глава семьи верхом на лошади, немного поодаль женщины с детьми верхом на лошадях. Если в хозяйстве были верблюды, их использовали при перекочевках (только под выюк). Впереди каравана гнали скот. В пути трудности вызывала только необходимость переправляться через реки. Для переправы искали броды, но в случае необходимости скот переправляли вплавь.

Если за один день не удавалось дойти до новой стоянки, то на ночь юрты обычно не устанавливали и спали под открытым небом, за исключением тех случаев, когда было очень холодно или шел дождь.

Наконец, караван достигал места стойбища. Быстро разгружали скот; несколько женщин, которым помогали дети и мужчины, доили скот. Проходило несколько часов, и ничто уже не напоминало о том, что этот аал только что разместился в новом месте.

Приведем сообщенную мне одним из информаторов типичную для сравнительно богатых скотоводов картину перекочевки аала. В начале XX в. Х. Монгуш (1885 г. рождения) имел довольно большое количество скота: 30—35 лошадей с молодым, свыше 30 голов крупного рогатого скота с приплодом, в том числе несколько волов, и около полутора сотен овец. Большую часть года аал состоял из трех юрт, в которых жили он с семьей, родители и семья брата. Каждая из этих семей имела примерно равное количество скота.

Зимник находился в горах Хана-Даг близ р. Улатай. Леса поблизости не было, и основным топливом был *кёр-женг* — сушеный навоз. Собирали для топлива и сухие ветки с берегов Улатая, где росла небольшая роща.

Жили на зимнике с октября до середины апреля. Рядом с зимником были хорошие пастбища на склонах гор и в межгорных котловинах. В октябре — начале декабря, когда скот был еще жирным, а снегу было мало, пасли отары на дальних пастбищах — до 5—6 км от аала. На близлежащие пастбища скот старались не пускать до середины зимы, когда обильный снег не позволял осваивать дальние пастбища; ранней весной с появлением молодняка освоение дальних пастбищ было еще более затруднено.

Хозяин в зимнее время обеспечивал жилище топливом, следил за скотом, охотился с самострелом (он имел более десяти самострелов). Его жена вела домашнее хозяйство, следила за детьми, ухаживала за молодым.

С наступлением теплых дней перекочевывали на весенние пастбища в урочище Сёбскенниг Ёдек, расположенное в 15 км от зимника вниз по р. Улатай. Урочище находилось в долине реки. Здесь было много свежей весенней зелени и травы, лес. Недалеко от аала, в 4—5 км вниз по течению реки, находились посевы. Сеяли только ячмень. Участок оро-

шали, отводя воду из реки с помощью канав, как перед пахотой, так и в летнее время, когда аал находился уже на летнем пастбище в местности Хёрлети в верховьях р. Улатай. В некоторые годы (если лето было прохладным) летник был расположен в долине р. Мугур, находившейся в 25—30 км от места весенней стоянки.

Летом основным занятием членов семьи был уход за скотом, орошение посевов и заготовка небольшого количества сена для молодняка в местах весенней стоянки, куда хозяин выезжал один или с детьми (жгуты сена развешивали на деревьях). Хозяин ездил также на несколько дней и на место зимника для того, чтобы отремонтировать кошары (которых у него было три) и разбросать навоз для сушки.

В конце августа — начале сентября перекочевывали на осеннее пастбище в долину той же р. Улатай. Определенного места для осенней стоянки не было, так как осенью почти любое место в долине р. Улатай было пригодно для пастбища.

В том случае если мужчинам приходилось выезжать на пашни (для посева, уборки урожая или ремонта арыков), на пастбищах оставались женщины, которые ухаживали за скотом, мужчины же возвращались только через семь-десять дней. Некоторые старики информаторы говорили, что это было древней традицией. Хотелось бы в связи с этим отметить как любопытную параллель, что в условиях яйлажного хозяйства у некоторых народов, например у таджиков [Кисляков, 1962, 557—558], в горы на летники сначала уходили женщины, а мужчины в течение первых семи дней вообще не должны были там появляться.

Можно привести пример перекочевки тувинского аала в условиях такой формы ведения хозяйства.

Как рассказывал Девек Данчинович Карасал (1900 г. рожд.), в годы его молодости зимник их аала был расположен в урочище Хана-Даг в горах Танну-Ола. Место это, по словам информатора, было очень хорошее: со склонов сдувало снег, трава была густая, высокая. И хотя до ближайшей реки Кыды-Халын было около 20 км, воды у них было достаточно — растапливали снег. Рядом находилась небольшая роща, так что и топлива хватало. Аал состоял из трех юрт. Сам Д. Д. Карасал жил в юрте, хозяином которой был его старший брат, имевший жену и сына. В другой юрте жила их сестра со взрослой дочерью, в третьей — их дядя по отцу с женой и двумя детьми. Скота было немного (у информатора его не было совсем, так как он жил в хозяйстве брата). У брата были три-четыре лошади, пять-семь коров с приплодом, около сорока овец и коз; у дяди примерно столько же; у сестры — одна лошадь, две-три коровы, около двадцати овец.

В апреле, когда на зимнике оставалось мало снега, из которого можно было вытапливать воду, аал переезжал ближе к Кыды-Халын, на весеннее пастбище, находившееся в 20—25 км от зимника в урочище Даг-Ужу.

В мае все мужчины уезжали сеять хлеб в расположенную в степи долину р. Чыргака. Ехать туда нужно было почти два дня. Там мужчины находились семь-десять дней: очищали арыки, пускали воду. Летом они еще несколько раз приезжали пускать воду на поля. Женщины и дети, оставшиеся в аале, ухаживали за скотом.

В июне аал откочевывал на летник вверх по Кыды-Халын в урочище Улуг-Чайлаг, расположенное недалеко от тайги. В этом месте было много пастбищ с высоким травостоем. Осенью, с наступлением холодов, аал спускался вниз по Кыды-Халын в местность Мунгаш-Күзег, в 15 км от Улуг-Чайлаг. Поставив здесь юрты, мужчины вновь уезжали, на этот раз на уборку, которая длилась примерно полмесяца. Половину обмолоченного зерна оставляли рядом с пашней в ямах; другую половину, засыпав в кожаные перекидные сумы *барба*, привозили в аал. Зимой по мере необходимости приезжали и брали из ям зерно, за исключением того, которое оставляли для посева. Когда выпадал снег, аал перекочевывал на зимник.

У большинства тувинцев, таким образом, господствовал цикл кочевания, при котором зимники располагались в горах, весенние и осенние стоянки — в предгорных долинах рек, а летние — в верховьях горных рек, реже — в долинах крупных рек.

В литературе такой тип кочевания принято называть вертикальным или горным в отличие от меридионального, для которого характерно циклическое движение скотоводов по равнинным пастбищам с юга (зимники) на север (летники) и обратно.

Однако общепринятый термин «вертикальный», или «горный», тип кочевания недостаточно полно отражает специфику различных режимов кочевания скотоводов в горно-степных и горно-таежных условиях. Этнографические материалы, рисующие кочевое скотоводство тюрко-монгольских народов, живших в степях и предгорьях и использовавших горные пастбища, свидетельствуют, что для этих народов был характерен не один, а несколько типов кочевания.

К *первому типу* можно отнести кочевание с зимних пастбищ, расположенных на равнинах, на летние, находящиеся в горах, вблизи горных речек, а затем к зиме — вновь на равнины. Такой тип кочевания был характерен по крайней мере для части монголов в XIII в. Мы основываем это на свидетельстве Марко Поло, который (по тексту Рустичано) отмечал: «Зимой татары живут в равнинах, в теплых местах,

где есть трава, пастбища для скота, а летом в местах прохладных, в горах да равнинах, где вода, рощи и есть пастбища [Марко Поло, 1956, 88] (курсив мой.— С. В.)». Это место дополнено, по всей вероятности, самим путешественником (текст Л. Ф. Бенедетто): «В течение двух или трех месяцев (летом.— С. В.) они поднимаются все выше и выше и все время пасут свой скот» [там же, 275]. Указанный тип кочевания был характерен в XIX в. главным образом для части казахов [Жданко, 1968, 277], для западных туркмен [Оразов, 1964, 2] и части калмыков [Житецкий, 1892, 15; Эрдниев, 1965б, 38—39]. Этот способ кочевания был характерен и для части арабов [Першиц, 1961, 31].

Значительная часть монголов-халха еще в начале XIX в. откочевывала летом в горы (указаний на использование ими горных пастбищ в зимнее время мне не приходилось встречать). По свидетельству Б. Я. Владимирцова, западные монголы-дэрбэты также использовали горные пастбища главным образом для летников [Владимирцов, 1910, 336], хотя Грумм-Гржимайло со ссылкой на устное сообщение Владимирцова отмечает, что не все дэрбэты делают зимники на равнине и что часть из них размещает свои зимние пастбища на склонах гор [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 210]. Это подтверждается и сообщениями моих монгольских информаторов.

Часть киргизов в середине XIX в. зимой располагали свои стоянки на предгорных равнинах по берегам рек, а летом, по свидетельству Радлова, поднимались «все выше и выше в горы» [Radloff, 1893, т. I, 527]. Приалтайские казахи также зимовали со скотом в долинах рек и у подножий гор, а летом поднимались в горы. Казахи бассейна Бухтармы и Нарыма, по данным С. И. Руденко, делились на две части: большая кочевала в горы на север, меньшая — в горы на юг [Руденко, 1930, 3]. Якуты, находясь зимой в равнинных местностях, стремились располагать летники в горных падах [Серовский, 1896, 270].

Таким образом, указанный режим кочевания сочетал использование равнинных и горных пастбищ. Для него была характерна схема «равнины — горы — равнины», причем пребывание в горах приходилось на лето. Такую форму кочевания мы условно называем «равнинно-горной». К ней близка яйлажная форма скотоводческого хозяйства горных таджиков и некоторых народов Кавказа, для которых, однако, характерно не кочевое, а полуседлое и пастушеское скотоводство.

Вторым типом можно считать кочевание с зимних пастбищ, расположенных в горах, к летним пастбищам на равнины, а с наступлением холодов — вновь в горы на зимники.

Указанный режим кочевания в XIX — начале XX в. был характерен для значительной части восточных казахов. Ка-

саясь, например, кочевков тортугольских казахов, Чокан Валиханов подчеркивал, что Баянаульские горы имели для них значение оазисов и служили зимовками для всех тортугольских волостей [Валиханов, 1961, 534; его же, 1963, 340—348]. Чтобы достигнуть зимних пастбищ в горах, восточные казахи проходили по степям (преимущественно в меридиональном направлении) огромные расстояния, достигавшие 450 верст [Валиханов, 1963, 348]. Сходный тип кочевания известен у дархатов, о которых С. Бадамхатан пишет: «Кочевка дархатов к лету спускается с гор в долину рек и озер, а к зиме поднимается на южные склоны гор». Причем расстояние, которое проходила значительная часть дархатов при перекочевке к зимникам, достигало почти 270 км [Бадамхатан, 1967, 7]. Характерно, что, как и у казахов, маршруты равнинной части кочевков у дархатов шли преимущественно в меридиональном направлении.

Для указанного режима кочевания была характерна схема «горы — равнины — горы», но в отличие от предыдущего типа, в горах располагались не летники, а зимники. Этот тип можно назвать «горно-равнинный» с преимущественным использованием горных пастбищ в зимнее время.

Третий тип кочевания господствовал у тувинских скотоводов, у части монголов и алтайцев, у большинства киргизов. Алтай-кижи в значительной части летом пасли скот в горах, спускаясь к зиме в долины; однако, судя по материалам Радлова, те из них, кто имел овец, пас их зимой в горах там, где ветер сдувал с пастбищ снег [Radloff, 1893, т. I, 286]. Заметим, впрочем, что кочующие алтайцы, по данным Радлова, имели сравнительно мало овец, предпочитая лошадей и крупный рогатый скот из-за недостатка подходящих пастбищ в местах кочевков [Radloff, 1893, т. I, 283].

У большинства киргизов в конце XIX — начале XX в. кочевание совершалось с зимников, расположенных в защищенных от ветра лощинах и ущельях, на близлежащих, но находившихся в предгорьях весенние пастбища, а с наступлением жары кочевые скотоводы поднимались на высокогорные летние пастбища. Осенние пастбища располагались рядом с весенними [ИК, 206—208].

Схема господствовавшего здесь кочевого цикла «горы — предгорья — горы» с преимущественным расположением в горах летников и зимников. Следовательно, данный тип в его наиболее характерных особенностях может рассматриваться и именоваться как «горно-предгорный» тип, для которого характерно использование горных пастбищ в зимнее и летнее время и предгорных в весенне-осенний периоды.

Наконец, к *четвертому типу* можно отнести характерный для восточных тувинцев-оленьеводов режим кочевания, цикл которого был целиком замкнут в горах. Летники у них рас-

полагались вблизи горных вершин («в гольцах»), а зимники — ниже, в горных таежных долинах. Аналогичный режим кочевания был характерен для тофаларов и части камасинцев. Этот тип кочевания может рассматриваться и именоваться как «горный» или «горно-оленьеводческий».

Тип кочевания зависел от ряда причин, в числе которых определяющими были рельеф и характер пастбищ на осваиваемых территориях, состав стада и в определенной мере традиции. Так, у сравнительно небольшой части тувинцев применялся «равнинно-горный» тип кочевания: зимние пастбища располагались в долинах степных рек, а летние в горах; но такой тип кочевания был характерен преимущественно для хозяйств, у которых преобладал крупный рогатый скот и лошади. В этом отношении мы видим у них определенное сходство с режимом кочевания тех алтайцев, которые разводили крупный рогатый скот и лошадей и не имели больших овечьих отар, на что обратил внимание Радлов. Для киргизов в середине XIX в. также было характерно значительное преобладание крупного рогатого скота над мелким: Радлов особо подчеркивал, сопоставляя киргизское скотоводство с казахским, что по сравнению с последним «киргизы держат относительно больше лошадей и крупный рогатый скот и меньше овец, коз и верблюдов» [Radloff, 1893, т. I, 527]. Р. Карутц писал: «Предмет киргизского (казахского. — С. В.) скотоводства составляют овцы, козы, лошади, верблюды. Рогатого скота здесь не держат» [Карутц, 1910, 47].

Наличие в стадах овец в условиях горно-степного ландшафта требовало расположения зимовья в горах, где благодаря ветрам обнажались значительные участки пастбищ. Именно поэтому в тех степных районах, где освоение горных пастбищ было затруднено либо горы покрывались достаточно глубоким снегом, содержание большого числа овец требовало огромных по протяженности сезонных перекочевков к зиме на юг, где снеговой покров был меньше. В этой связи хотелось бы отметить, что отсутствие крупного рогатого скота в стадах у части казахов и некоторых других групп скотоводов, совершавших длинные периодические перекочевки, объяснялось не только тем, что крупный рогатый скот меньше приспособлен к добыванию пищи из-под снега, чем, например, овцы, как полагают некоторые исследователи, но и трудностью его перегона на большие расстояния в сравнительно короткое время.

Остановимся также на недостаточно разработанном вопросе о соотношении полукочевых и кочевых форм хозяйства. Не так давно Руденко следующим образом сформулировал три варианта кочевого и полукочевого скотоводства «применительно к населению степей, полупустынь и предго-

рий»: 1) часть семей племени, рода или его подразделений имеет постоянную оседлость, но часть семей более или менее продолжительное время года со своими стадами переходит с места на место для их прокорма; 2) все племя или род с весны до поздней осени, оставляя свои постоянные зимние жилища, кочует со стадами, переходя через весенние пастбища к летнему, а от него к осеннему и возвращаясь на зимник к постоянному жилищу; 3) все племя или род в течение круглого года переходит с места на место для прокорма стад, нигде не имея постоянных жилищ. Первые два варианта исследователь относит к полукочевым, третий — к кочевым формам скотоводства [Руденко, 1961, 2—3].

Указанная точка зрения получила известное распространение [Федоров-Давыдов, 1966, 198—199]. Однако конкретные материалы по тувинскому скотоводству XIX—начала XX в. не позволяют охарактеризовать его форму по какому-либо из этих трех вариантов.

От первого варианта приходится отказаться, так как у тувинцев не было таких племен, родов или семей, кочевое хозяйство которых было бы связано с оседлым бытом другой их части. В Туве были очень немногие семьи, которые по различным причинам переходили к оседлости еще до коллективизации, однако хозяйства, сохранявшие кочевой быт, фактически не были связаны с оседлыми и не зависели от них.

Что касается второго варианта, предполагающего существование на зимниках постоянных жилищ, то они начали, по-видимому, появляться лишь в самом конце XIX в. Несмотря на быстрое распространение таких жилищ, даже в 1931 г. их имело менее 10% не перешедших на оседлость хозяйств [ТСДП, 60—61]. Таким образом, данная форма также не характеризует традиционное скотоводство тувинцев по крайней мере до конца XIX в.

Казалось бы, тувинское скотоводство можно отнести к третьему варианту, не предусматривающему постоянных жилищ на зимниках; однако «таборное» кочевание, о котором пишет Руденко, не соответствует скотоводческому хозяйству тувинцев в XIX—начале XX в., так как абсолютное большинство хозяйств кочевало по определенным замкнутым маршрутам и имело более или менее постоянные зимники с постройками для скота, не говоря уже о том, что тувинцы не кочевали всем племенем или родом.

Нельзя не согласиться с мнением С. И. Руденко [Руденко, 1961, 4], что появление постоянных жилищ на зимниках, к которым неизменно возвращались скотоводы после окончания весенне-осеннего цикла кочевки, характеризует полукочевую форму скотоводства, на что указывал еще Харузин [Харузин, 1896]. Однако Руденко совершенно обошел вопрос

о том, к какому из трех сформулированных им вариантов отнести скотоводческие хозяйства, для которых типичен замкнутый цикл кочевания с более или менее постоянными зимниками, но без постоянных жилищ.

Такая форма кочевое скотоводства характерна не только для жителей предгорий, обычно кочующих также в горах, но известна и многим народам равнинных степей. В качестве примера укажем хотя бы на современных халха-монголов [Грум-Гржимайло, 1926, т. III, 338], дархатов [Бадамхатан, 1967, 7], казахов [Валиханов, 1961, 534]. Рубрук писал о средневековых монголах, кочевавших, вероятно, в степях нашей страны: «Всякий начальник знает... границы своих пастбищ, а также, где он должен пасти стада зимою, летом, весною и осенью» [Рубрук, 1957, 91]. Замкнутый, устойчивый цикл кочевания с сезонностью перекочевки и определенных зимниками был распространен у значительной части степных и горно-степных кочевников еще в древности, о чем свидетельствуют археологические материалы. Существование «родовых» могильников у скотоводческих народов связано с их полукочевым бытом либо с замкнутым циклом кочевания и длительными стоянками в определенных местах. Те скотоводы, которые большую часть года совершали перекочевки и не имели длительных остановок, не имели и «родовых» кладбищ, как, например, большинство бедуинов [Першиц, 1961, 71; Musil, 1928, 418—419].

Расположение могильников в Туве позволяет предполагать, что циклическое кочевание с устойчивыми маршрутами и более или менее постоянными зимниками было характерно для населения ее горно-степных районов, начиная со скифского времени. Однако следует отметить, что в степях Тувы не встречаются большие родовые могильники, относящиеся к древнетюркскому времени, что является одним из указаний на большую подвижность населения.

К сожалению, несмотря на важность выработки критериев для различения кочевых, полукочевых и полuosедлых форм скотоводческого хозяйства, до сих пор общепринятой точки зрения нет, и в этом смысле опыт, предпринятый Руденко, представляется полезным. Однако указанные недостатки предложенной им классификации побуждают нас вновь обратиться к данному вопросу.

К кочевым формам скотоводческого хозяйства следует отнести его различные варианты от «таборного» кочевания с незамкнутым циклом (такие формы чрезвычайно редки) до замкнутых, циклических кочеваний по определенным маршрутам и с более или менее постоянными зимниками, но без постоянных жилищ на них. При этом нельзя не согласиться с выводом Г. Е. Маркова, что амплитуда кочевания мало существенна при определении хозяйства как кочевое

и может колебаться от нескольких тысяч до нескольких километров [Марков, 1967, 3].

В пределах кочевого скотоводства известны две основные формы кочевания — непрерывное и с более или менее продолжительными сезонными стоянками. Некоторые исследователи считают, что существование этих различных форм кочевого скотоводства обусловлено географическим фактором: так, С. С. Сорокин, ссылаясь на этнографические и археологические источники, приходит к выводу, что «для кочевников открытых степей характерно скотоводческое хозяйство, основанное на непрерывном кочевании», а для степных районов, «прирученных к горам или плавням крупных рек», характерно скотоводство с сезонными перекочевками и длительными остановками [Сорокин, 1961, 163]. Однако ни этнографические, ни исторические факты не позволяют полностью поддержать указанную концепцию.

Прежде всего следует отметить, что непрерывное кочевание без каких-либо сезонных стоянок — явление в истории кочевничества весьма редкое, вызываемое не столько географической средой, сколько необходимостью кочевать большими, но вместе с тем компактными группами в сотни и даже тысячи хозяйств скотоводов. Такие группы, как будет показано ниже, возникали обычно в условиях, когда существовала постоянная угроза военных нападений. Потребности в пастбищах для больших стад и определяли режим «непрерывного» кочевания. При этом было бы неверно полагать, как это делает Сорокин, что кочевники открытых степей с их жилищами на повозках находились в непрерывном кочевании, не зная цикличности и длительных стоянок. Сорокин, как, впрочем, и некоторые другие авторы, ссылается, в частности, на описания быта монголов XII—XIII вв. [Сорокин, 1961, 163]. Между тем анализ источников свидетельствует о том, что у монголов была определенная цикличность кочевания, причем нередко стоянки были, по-видимому, довольно длительными. Укажем хотя бы на свидетельство такого знатока монгольского быта, как Пэн Да-я, который побывал в монгольских степях в 1233 г. Он писал, что у монголов с их жилищами на повозках в процессе кочевки бывают более или менее длительные стоянки, причем переселение производится «то через месяц, то через квартал» [КСОТ, 140]. Этнографические материалы, рисующие быт кочевых скотоводов в открытых степных пространствах в XIX в., позволяют сделать вывод, что «непрерывное» кочевание не было характерно и в это время. Так, у казахов в XIX в. сезонные стоянки были как в открытых степях, так и в предгорных и горных районах [Зиманов, 1958, 27—29].

Типичный пример сохранения «кочевничества в чистой форме» приводит С. А. Токарев у алтайцев Кош-Агачского

аймака. Здесь теленгиты кочевали несколько раз в течение лета, весны и осени, а иногда и зимой в зависимости от наличия корма, состояния снега и т. п. Кочевали они на расстоянии от 1 до 10 км, причем твердого порядка в выборе мест кочевки и в сроках пребывания на них не было [Токарев, 1936, 12].

К полукочевым мы относим такие скотоводческие хозяйства, которые, совершая сезонные перекочевки, каждую зиму возвращаются на одно и то же место, туда, где у них находится постоянное жилище. Кочует вся семья со всем скотом и имуществом; постоянных жилищ у таких скотоводов нет нигде, кроме зимника.

Эта форма полукочевого быта была характерна для многих скотоводческих народов в XIX—начале XX в. Типичными представителями такого режима кочевания в Южной Сибири были многие алтайские и хакаские скотоводческие хозяйства, а также небольшая часть тувинских хозяйств.

Наконец, к полuosедлым целесообразно отнести те хозяйства скотоводов, которые совершают сезонные переселения (обычно только два — с зимы на лето и обратно), имея на каждом месте, где они живут, постоянные жилища.

Полuosедлая форма ведения скотоводческого хозяйства была характерна в XVIII—XIX вв. для якутов [Серошевский, 1896]. В конце XIX—начале XX в. такая форма хозяйства была широко распространена у народов Южной Сибири, в особенности у скотоводов Алтая и Хакасии. С. А. Токарев писал о большинстве скотоводов Ойротии и о хакасах, что у них «обычно перекочевывают только с зимников на летники, причем и в том и в другом месте остается постоянное переносное жилище» [Токарев, 1936, 12].

Этнография дает многочисленные примеры всех перечисленных форм скотоводства, а изучение конкретных материалов говорит о существовании у одного и того же народа в один и тот же исторический период как кочевых и полукочевых, так и полuosедлых и оседлых хозяйств. Нам кажется, что именно с этой точки зрения следует рассматривать вопрос о формах тувинского скотоводства конца XIX—начала XX в.

Подавляющее большинство тувинских скотоводческих хозяйств были кочевыми; в эту категорию мы включаем как хозяйства, которые совершали длительные перекочевки, не имея постоянных зимников (таких хозяйств было сравнительно немного и их существование, как отмечалось выше, было зафиксировано лишь в Западной Туве), так и хозяйства, которые делали перекочевки по определенным маршрутам, но не имели постоянных жилищ на стоянках.

Некоторые хозяйства (менее 0,5% в 1931 г.) [ТСДП, 108] были полукочевыми, имея зимники из года в год в одном

месте с постоянными жилищами на них. В начале XX в. существовали и полуседлые хозяйства, которые, совершая две перекочевки в год, имели постоянные жилища как на зимнике, так и на летнике. Их было очень немного — мне известно всего несколько таких хозяйств в Западной Туве. Для них была в сущности характерна форма скотоводства, довольно распространенная в ряде горных районов Евразии, получившая название яйлажной.

Как известно, в горных районах переходной формой от пастушеского к кочевому скотоводству было яйлажное скотоводство, когда жители долин перегоняли скот на лето в горы, причем скот сопровождали уже не только пастухи, но и часть семей (подобная форма поныне сохранилась в некоторых горных районах Кавказа и Таджикистана). Следует отметить, что через много веков возвращение к оседлому быту у части хозяйств горно-степных кочевников (до коллективизации) вновь в той или иной мере проходило через яйлажную форму.

Наконец, в Туве были оседлые хозяйства, жившие круглый год в одном месте. Большую часть 1847 оседлых тувинских хозяйств, отмеченных переписью 1931 г., составляли бывшие скотоводы, заготавливавшие корм для скота на зиму и работавшие на государственных предприятиях и в учреждениях [ТСДП, 108].

В заключение рассмотрим вопрос о числе совместно кочевывших хозяйств скотоводов, входивших в объединение, которое, как уже отмечалось, тувинцы называли аалом. В XIX—начале XX в. аальная (или айльная, как ее называют обычно в литературе) форма кочевания была характерна для тувинцев.

Тувинские аалы состояли из нескольких хозяйств, число которых летом увеличивалось, а к зиме уменьшалось. В летнее время были характерны аалы, включавшие от двух-трех до пятнадцати-двадцати юрт, о чем имеются свидетельства ряда путешественников и местных краеведов — А. П. Ермолаева [ККМ, ф. № 46, л. 135—136], Б. К. Шишкина [Шишкин, 1914, 97], Н. Ф. Катанова [АИЭЛ, ф. V, оп. I, № 526, л. 104]. Вопрос о тувинских аалах подробнее рассматривается нами ниже, здесь же отметим, что форма кочевания аалами, включавшими небольшое число хозяйств, была характерна в конце XIX—начале XX в. не только для тувинцев, но и для других тюрко-монгольских кочевых скотоводческих народов евразийских степей. Так, Б. Я. Владимирцов отмечал, что у монголов Халхи и Кобдоского округа редко можно встретить в аиле более двух-трех юрт [Владимирцов, 1934, 37]. Несколько большим было число юрт в монгольских аилах, по данным Певцова, который писал: «На всем длинном пути по Монголии (около 5000 верст) мы нигде не встречали

больших улусов: величина их колеблется от 5 до 8 юрт и редко от 8 до 12» [Певцов, 1951, 109—110].

Теленгиты, по свидетельству С. А. Токарева [Токарев, 1936, 12], кочевали небольшими группами от 5 до 20 юрт. Казахи Алтая, как указывал А. Н. Самойлович [Самойлович, 1930, 210], образовывали аулы из трех-пяти кибиток. В результате изучения переписных данных, полученных в конце 30-х годов XIX в. и описывающих более двух тысяч аулов, разбросанных на огромной территории Казахстана, оказалось, что число юрт, входивших в кочевые аулы, колебалось от трех до пяти [Зиманов, 1958, 71]. Такие размеры кочевых поселений определялись не какими-либо этническими традициями, а хозяйственной необходимостью. Сходную картину можно наблюдать и у кочевников-арабов, племена которых в зимнее время при обилии травы и воды разбивались, и поселения состояли из трех-четырех палаток [Цветков, 1912, 21].

Вопрос о времени возникновения аальной формы кочевания у тувинцев и других кочевых скотоводческих народов евразийских степей представляет значительный интерес.

Известное распространение имеет точка зрения, согласно которой аал (аул) как кочевое поселение из нескольких семей скотоводов является сравнительно поздним явлением. Сторонники этой точки зрения считают, что до появления аалов существовали огромные кочевые поселения целых родов и племен и лишь по мере разложения рода и сложения у кочевников феодального общества выделились отдельные семьи, образовавшие небольшие кочевые поселения — аалы. Л. В. Гребнев, например, утверждает, что переход к аальной форме кочевания произошел лишь в условиях классового расслоения и складывания феодальных отношений [Гребнев, 1960, 107].

Действительно, в эпоху, предшествовавшую сложению кочевой империи монголов, и в первые годы ее существования у монголов господствовали известные под названием *курун* (курень) [Рашид-ад-дин, 1952, т. I, кн. 2, 18] временные поселения из поставленных в круг кибиток и юрт, насчитывавшие иногда до нескольких тысяч жилищ. Чанчунь указывает на ставку кочевников на р. Халхе из нескольких тысяч телег и кибиток [Чанчунь, т. I, 5а, 66]. В «Сокровенном сказании» говорится о тринадцати куренях, включавших тринадцать племен и три тысячи войска (С. ск., § 129). Однако преобладание у монголов в XI—XII вв. куренного способа кочевания отнюдь не исключало поселений типа аала (аила), и источники позволяют сделать вывод, что уже в это время монголам был известен как куренной, так и айльный способ кочевания.

Куренные объединения были необходимы кочевникам в

периоды напряженного и неустойчивого положения в степях. В то же время при куренном способе кочевков было трудно содержать большое количество скота, нуждавшегося в пастбищах; с наибольшими трудностями сталкивались при этом богатые скотоводы, которые были вынуждены, как полагает Б. Я. Владимирцов, сами жить куренями, а стада держать аилами [Владимирцов, 1934, 37]. Совершенно очевидно, что при стабилизации положения на смену куреням приходили аилы, состоявшие из небольшого числа хозяйств.

Когда положение в степях опять становилось угрожающим, крупные объединения совместно кочующих хозяйств возникли снова. Так, в послеоаинское время, когда ослабла власть степных правителей и разорительные набеги в степях Центральной Азии стали будничным явлением, кочевые группы в сотни и тысячи хозяйств вновь стали типичны для Монголии.

Нередко указывают на очень большие размеры киргизского аила вплоть до середины XIX в. [Абрамзон, 1963, 174]. При этом обычно даются ссылки на Г. С. Загряжского, который писал, что «киргизы стояли всегда большими аулами, кибиток до 200 и более» [Загряжский, 1874, 3], и на В. В. Радлова, отмечавшего, что киргизы в период его пребывания в Киргизии (1862 г.) селились не аилами, а родовыми объединениями, причем юрты входивших в них семей в летнее время простирались непрерывным рядом вдоль берега реки на двадцать и более верст, а зимой охватывали поселением определенный горный район [Radloff, 1893, т. I, 527].

Однако эти и подобные им факты вовсе не доказывают ни первичности крупных стойбищ, ни позднего появления аальной формы кочевания как результата развития частно-собственнических отношений. Приведенные свидетельства в отношении киргизов разъясняются самим Радловым, который писал, что такие крупные поселения кочевых киргизов были вызваны прежде всего необходимостью защиты от частых в то время военных нападений. В. В. Радлов отметил также, что позднее, когда для киргизов, вошедших в состав России, угроза военных столкновений миновала, их крупные поселения начали делиться на отдельные аилы [Radloff, 1893, т. I, 527—528]. Изучение таблиц, приведенных в работе Погорельского и Батракова, позволяет сделать вывод, что в начале XX в. такие аилы были небольшими и включали всего несколько семей [Погорельский и Батраков, 1930, 254]¹¹.

Косвенным указанием на весьма древнее существование аального способа кочевания может служить свидетельство Сыма Цяня, который писал, что хотя гуны «не имеют ни городов, ни оседлости, ни земледелия, но у каждого есть отделенный участок земли» [Бичурин, 1950, т. I, 40].

Таким образом, необходимость защиты от военных нападений была той основной причиной, которая заставляла небольшие, фактически беззащитные аалы объединяться, создавая кочевые группы типа куреней, включавшие сотни и тысячи хозяйств. Куренной способ кочевания был известен на определенных этапах, по-видимому, всем кочевникам, в том числе предкам тувинцев; такой вывод позволяют, в частности, сделать материалы тувинского эпоса [Гребнев, 1960, 107—108]. Можно также полагать, что аалы из нескольких юрт возникли у предков современных тувинцев еще в раннюю эпоху развития кочевого скотоводства, поскольку именно аальная организация с небольшими поселениями из нескольких совместно кочующих семей была наиболее целесообразной формой первичного хозяйственного объединения в условиях кочевого быта, когда необходимость в свободных пастбищах для скота заставляла ограничивать число хозяйств в одном стойбище.

О НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ И ОТНОШЕНИЯХ СОБСТВЕННОСТИ В ТУВИНСКОМ КОЧЕВОМ СКОТОВОДСТВЕ

Различные стороны общественных отношений у тувинцев в XIX—начале XX в. были предметом специального изучения в трудах ряда ученых [Кабо, 1934; Дулов, 1956; Аранчин, 1956; Иезуитов, 1956; Вайнштейн, 1959; его же, 1969а; Потапов, 1969; Сердобов, 1971 и др.]. Здесь мы коротко остановимся на этой проблеме лишь в связи с формами ведения кочевого скотоводческого хозяйства тувинцев, ограничившись рассмотрением тех вопросов, которые, на наш взгляд, менее освещены в предшествующих исследованиях.

Как уже отмечалось, у тувинцев-скотоводов в XIX—начале XX в. скот находился в частной, точнее, частной семейной собственности. Имеющиеся источники позволяют с достаточным основанием полагать, что частная семейная собственность на домашних животных возникла в древности вместе с развитием скотоводства как формы хозяйства, и это привело еще в условиях первобытно-общинного строя к важнейшим социально-историческим изменениям — формированию у скотоводческих народов имущественного неравенства и патриархальных отношений. Возможно, что первоначально скот и принадлежал родовой общине, однако нет сколько-нибудь убедительных доводов в пользу этого. Что же касается этнографических материалов, характеризующих скотоводство у различных народов мира, то, как было справедливо отмечено С. П. Толстым, «во всех без исключения этнографических примерах скот, состоя под коллектив-

ной защитой рода или племени, находился в частном владении отдельной семьи» [Толстов, 1948б, 95].

Обычно тувинская семья приобретала собственный скот сразу же после свадьбы. Наделение молодой семьи скотом составляло существенный элемент свадебного обряда, чем обеспечивалась экономическая возможность существования семьи. Важную роль в этом играли не только родители, но и родственники как со стороны невесты, так и со стороны жениха. Нередко в состоятельных семьях сыновья еще до свадьбы имели свой скот, полученный в дар от родителей или родственников (в праздник первой стрижки волос и др.).

Древние традиции защиты скота со стороны рода и племени сохранялись у тувинцев в обычае нанесения на скот родовых тамг и меток. На лошадях, а изредка также на волах, используемых для верховой езды, железными клеймами выжигали тамги (*тамга*), которые служили указанием принадлежности животного семьям, входящим в тот или иной род. Н. Ф. Катанов отметил в своем дневнике в конце XIX в., что «по словам сегодняшних сойотов, можно сказать, что тамга не принадлежит одной какой-либо фамилии, а есть большей частью общий родовой знак» [АИЭЛ, ф. V, оп. 1, № 526, л. 175]. Отдельные родо-племенные группы — осколки древних племен и народов, вошедших в состав тувинцев, такие, как кыргызы, тулюш, монгуш и некоторые другие, имели по нескольку тамг, что было связано с их сложным родовым составом в прошлом. В конце XIX — начале XX в. тувинские тамги указывали на принадлежность определенному административному подразделению — сумону. Если в сумон входило несколько родов, то тамги наиболее крупного родового подразделения, входившего в сумон, по которому он обычно получал свое название, становились тамгами всех родовых групп, входивших в данный сумон.

Коллективные родо-племенные тамги были издавна известны почти всем кочевым скотоводческим народам. Источники отмечают их существование и у предков тувинцев. Так, в енисейских надписях конца I тысячелетия они фигурируют как клейма для скота у древних тюрков [Малов, 1952, 49, 73—74]. О тамгах огузских племен в XI в. писал Махмуд Кашгарский, отмечавший, что они служат для клеймения скота и лошадей и по ним «каждый род узнает свою скотину и лошадей» [МИТ, т. I, 310]. Тувинские тамги конца XIX — начала XX в. в основном, по-видимому, сохраняли традиционные начертания, сложившиеся у местных племен еще в древности. Так, у тувинской группы кыргызы в конце XIX — начале XX в. были наиболее распространены две тамги. Одна из них, в виде полуовала, к нижней части которого примыкала вертикальная линия, ограниченная короткой горизонтальной полосой, была совершенно аналогична тамге,

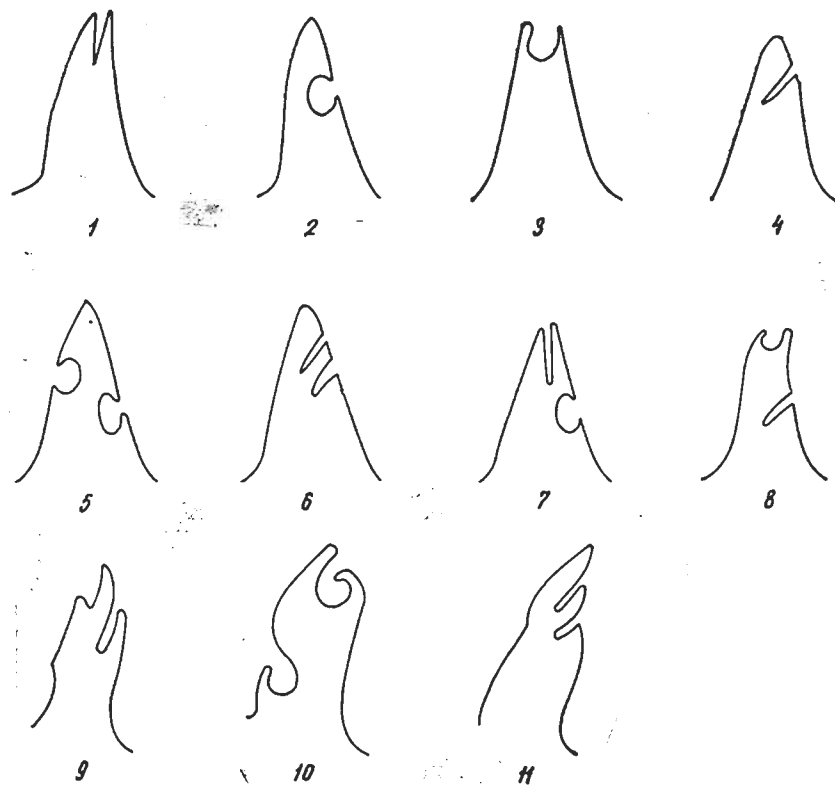


Рис. 6. Меты — надрезы на ушах домашних животных:

1—8 — употреблявшиеся тувинцами в XIX — начале XX в.; 9—11 — употреблявшиеся древними алтайцами в скифское время надрезы на ушах коней (из Пазырыкских курганов Алтая, по С. И. Руденко)

выбитой на одном енисейском памятнике Тувы, принадлежавшем, по мнению ряда исследователей, енисейским кыргызам [Щербак, 1970, табл. I, рис. 41]. Другая тамга тувинской группы кыргызы, в виде трезубца, сходна с тамгой, отмеченной А. В. Адриановым среди древних наскальных изображений Минусинской котловины, также вероятно принадлежавших енисейским кыргызам (рис. 7).

Каждая тамга имела обычно свое общепринятое название. Начертания тамг некоторых родов различались между собой лишь небольшими деталями, добавочными черточками, что, возможно, указывает на этногенетические связи таких родов в прошлом. Так, например, свастика (*кас*) была тамгой ойнарлов, а свастика, дополненная внизу изломанной черточкой, использовалась как тамга в группе сат.

Помимо тамг коллективными знаками собственности были *им* — надрезы на ушах животных. В группе ак-монгуш надрез шел вертикально от верхней части уха вниз и назывался *чарык кулак*. Кара-монгуши делали округлый вырез в передней средней части уха — *оюк кулак*; ондары вырезали полукруг в верхней части уха — *кес кулак*. Были также наклонные надрезы, различные сочетания круглых и прямых и т. д.

Надрезы на ушах делали главным образом овцам, иногда лошадям. Существование подобного обычая отмечено из современных скотоводов у казахов [Руденко, 1930, 16], но, несомненно, он был известен и другим народам. Крайне любопытно, что такой обычай существовал уже у раннекочевнических племен скифского времени на Алтае, где в Пазырыкских курганах найдены кони с метками, нанесенными теми же приемами (вертикальные и круглые надрезы, а также их сочетания).

Наряду с коллективными родо-племенными тамгами богатые тувинцы в XIX — начале XX в. иногда клеймили животных либо собственными знаками, отличавшимися от родовых тамг, либо видоизмененными родовыми тамгами (перевернутыми и т. п.). На это, в частности, обратил внимание в конце XIX в. Н. Ф. Катанов. Он писал: «Нередко случается, что богатый хозяин изобретает свою тамгу» [АИЭЛ, ф. V, оп. 1, № 526, л. 176]. При этом лошадей клеймили обычно только коллективными тамгами, а для крупного рогатого скота употребляли индивидуальные знаки собственности. К сожалению, вопрос о соотношении индивидуальных и коллективных знаков таврения скота у тюрко-монгольских народов почти совершенно не разработан в литературе. Что же касается кочевников-арабов, то, судя по

имеющимся работам, у них также существовали традиционные коллективные и индивидуальные знаки, причем верблюдов клеймили только коллективными знаками [Першиц, 1961, 74]. В литературе высказывалось предположение, что родо-племенной характер тамг у скотоводческих народов указывает на коллективную родовую собственность на скот в прошлом [Потапов, 1954, 76]. Однако эта традиция скорее отражала широко известный и упомянутый выше факт коллективной защиты скота родом при семейной собственности на него.

В скотоводстве тувинцев в XIX — начале XX в., как и в предыдущие столетия, существовало резко выраженное имущественное неравенство. Большинство кочевых ту-

винцев составляли владельцы сравнительно небольших стад. Наряду с ними существовала значительно меньшая группа хозяйств, в стадах которых были сотни и даже тысячи голов скота. Многие хозяйства имели мало и даже совсем не имели скота.

Крыжин отмечал еще в середине XIX в., что среди тувинских скотоводов есть «несколько очень богатых людей, владеющих более чем 1000 штуками скота; но огромное большинство народа бедно» [Шварц, 1864, 50]. Позднее (накануне революции) А. П. Ермолаев писал после экономического обследования Западной Тувы, что «действительное распределение скота среди населения далеко от равномерности. Есть богатые люди, владеющие табунами лошадей в одну-две тысячи голов, до тысячи голов рогатого скота и до трех-пяти тысяч овец, есть и такие, у которых нет буквально ни одной яманки» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 30]. Мои информаторы также называли баев, владевших в конце XIX — начале XX в. несколькими тысячами голов скота, указывая, в частности, на амбынь-нойона Ользей-очира и др. Это согласуется и со свидетельством купца Н. Ф. Веселкова, который писал, что Ользей-очир имел около 6 тыс. голов скота [Веселков, 1871а, 35].

Хозяйств, которые бы владели многими сотнями и тысячами голов скота, было, конечно, немного, и среди них Ользей-очир был наиболее богатым. Его сын Комбу-даржи, по сведениям В. Попова, имел в начале XX в. около 3 тыс. голов скота [Попов, 1905, 128]. Информаторы называли мне и другие весьма богатые хозяйства, в каждом из которых было более тысячи голов скота. Интересные сведения о различных по количеству скота крупных байских хозяйствах приводит В. И. Дулов [Дулов, 1956, 191—194].

Такая картина была характерна не только для скотоводов Западной Тувы, но и для оленеводов Тоджи. У них также было несколько весьма богатых хозяйств, в собственности которых насчитывались сотни оленей. Так, у некоего Кызыл-чанги, например, было в начале XX в. около 500 оленей и 20 лошадей, а у бая Диленчи около 200 оленей и 10 лошадей.

На другом имущественном полюсе находились многие малоскотные и даже совершенно лишенные скота хозяйства. Так, Ермолаев писал об аалах в устье Чыргакы, что там во время его поездки «стояли 11 юрт, все это беднота бескотная или малоскотная» [ККМ, ф. 338, № 46, л. 33]. О бедственном положении таких аратских хозяйств имеются свидетельства многих наблюдателей тувинского быта.

По вопросу о критериях выделения в среде кочевников бедных, середняцких и богатых хозяйств у исследователей нет единого мнения. К бедным хозяйствам, очевидно, сле-



1



2

Рис. 7. Тамги тувинской родо-племенной группы кыргызы

дует относить те, которые не могли за счет своего хозяйства удовлетворить минимальные потребности в пище, одежде, обеспечить своими транспортными средствами перекочевку, ведение промысла, пахоту. По данным В. В. Осиповой, с которыми можно в основном согласиться, в условиях кочевого скотоводческого хозяйства семье из четырех человек требовалось до 260 кг мяса в год, а также ежедневно 8—10 л молока и молочных продуктов и 2—3 кг зерна или продуктов, его заменяющих. Это значит, что ежегодно необходимо было забивать на мясо 15—17 баранов (или 20—25 коз, или 2—3 бычков-торбаков) и иметь 4—5 дойных коров или не менее полутора десятков коз [Осипова, 1961, 104]. К указанному количеству скота нужно добавить нескольких лошадей или волов для перекочевки и пахоты, о чем уже шла речь выше.

Исходя из этого, можно считать, что хозяйства, имевшие до 10 бодо скота, были бедняцкими. К байским хозяйствам следует, очевидно, отнести те хозяйства, которые для воспроизводства стада и переработки всех продуктов животноводства нуждались в дополнительных рабочих руках, т. е. такие, в которых при наличии 2—3 работоспособных человека было свыше 50 бодо скота. На основе таких оценок и анализа имеющихся источников, в том числе опроса информаторов, можно полагать, что до революции бедняков было ориентировочно немногим более 40%, баев около 5%, остальные были середняками.

Следует заметить, что среди кочевых тувинских скотоводов значительное имущественное неравенство сохранялось и в первые годы после революции. Перепись 1931 г. позволяет получить достаточно точное представление об имущественном расслоении среди скотоводов в то время, давая следующие цифры [ТСДП, 158]:

Количество голов скота в хозяйстве (в переводе в крупный)	Процент хозяйств
До 5	16,0
От 5,1 до 10	27,1
От 10,1 до 20	31,6
От 20,1 до 30	13,7
От 30,1 до 40	5,3
От 40,1 до 50	2,7
От 50,1 до 80	2,5
От 80,1 и более	1,1

Из приведенных данных видно, что до 10 бодо скота имело примерно 43% хозяйств, от 10 до 50 бодо — свыше 53%, а более 50 бодо — около 4% хозяйств, причем наиболее богатые с количеством скота свыше 80 бодо составляли лишь 1,1%.

В условиях резко выраженного имущественного неравенства возникали своеобразные формы эксплуатации богатыми скотоводами своих бедных сородичей. Одной из наиболее распространенных была сдача скота на выпас за право доения (*саап ишкен*). Эту форму отношений отмечали многие наблюдатели тувинского быта в конце XIX — начале XX в. Так, например, Ермолаев писал, что у тувинцев «бедности много везде, хотя на первый взгляд это быть может не видно. Не видно потому, что зажиточные люди отдают свой скот в пастьбу и в надой бедняку, кому 1—2 лошади да 20—30 овечек и яманов (коз.— С. В.), кому корову и т. д. За уход человек пользуется молоком животных, немного шерстью, а приплод весь остается собственнику» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 51].

Эта форма отношений в скотоводстве, получившая название саунных (название «саун» носит сдача скота на выпас у казахов), имеет широкое распространение. У тувинцев саунные отношения описаны В. И. Дуловым, который присоединяется к мнению исследователей, видящих в ней типично феодальную форму эксплуатации, аналогичную барщине в странах классического феодализма. С таким выводом трудно согласиться; для того чтобы выяснить подлинную социальную сущность этих отношений, остановимся на их характеристике подробнее.

Прежде всего следует отметить, что саунные отношения охватывали значительную часть тувинских скотоводов. Почти все богатые хозяйства сдавали большую или меньшую часть скота на пастьбу, а примерно половина всех бедняцких хозяйств брала скот на пастьбу и доение. По свидетельству моих информаторов, сдавать скот на выпас стремились те хозяйства богатых скотоводов, которые не имели в своем услужении пастухов. Таким было большинство байских хозяйств.

Заинтересованность бедняков в получении молочного скота на пастьбу с правом доения объяснялась важной ролью молочных продуктов у кочевников. Как уже отмечалось, для того чтобы обеспечить минимальные потребности семьи из четырех человек, требовалось не менее четырех-пяти дойных коров или соответствующее количество мелкого рогатого скота, чего многие бедняцкие хозяйства не имели. О заинтересованности бедняков в получении дойного скота свидетельствует тот факт, что в конце XIX — начале XX в. бедняцкие хозяйства, крайне нуждавшиеся в молочных продуктах, не только пасли чужой скот, но за право пастьбы с доением платили богатым хозяйствам хлебом с засевавшихся ими участков. Этот вид оплаты имел особое распространение в горных сумонах Бай-Тайги, откуда молочных коров направляли на выпас с доением в долину Хемчика,

где было много бедняцких хозяйств, занимавшихся земледелием, но не имевших достаточного количества дойного скота.

К сожалению, в литературе о Туве, в том числе в работах В. И. Дулова [Дулов, 1956], охарактеризованная выше сдача байскими хозяйствами скота на выпас с доением не отделяется от сдачи такими хозяйствами на выпас недойного скота — молодняка и др., хотя в нем бедняцкие хозяйства не были непосредственно заинтересованы. В этих случаях богатые хозяйства обычно отдавали, в зависимости от договоренности, взявшим скот хозяйствам шерсть и часть приплода. Конечно, очень бедные хозяйства, нуждавшиеся в шерсти, почти не имевшие скота и вследствие этого заинтересованные в получении приплода, обычно соглашались и на выпас недойного скота, а также скота в зимнее время, когда его нельзя было доить. Однако иногда отдельным хозяйствам бедняков и середняков приходилось брать скот на выпас почти без оплаты — в счет старых долгов, в результате которых возникали таким образом своеобразные кабальные отношения.

По свидетельству информаторов, некоторые богатые чиновники на Хемчике заставляли пастись свой скот соседние не только бедняцкие, но и середняцкие хозяйства. Опасаясь преследования со стороны чиновника, эти хозяйства фактически бесплатно пасли его скот. Подобные формы эксплуатации имеют черты сходства с феодальной барщиной, хотя последняя выполнялась в хозяйстве феодала, а в приводимом нами случае — в хозяйстве зависимых лиц. Объединяло их то, что эксплуатация основывалась на сословном неполноправии производителей. Однако случаи выпаса скота бедняцкими хозяйствами в результате внеэкономического принуждения и без той или иной формы оплаты были редки в Туве и в целом нехарактерны.

В конце XIX — начале XX в. имели место также случаи сдачи скота на выпас китайскими купцами, русскими купцами и кулаками, а также некоторыми тувинскими скотовладельцами, связанными с русским рынком, за натуральное и денежное вознаграждение. Такого рода отношения можно рассматривать как форму найма пастухов.

Вместе с тем довольно часто скот сдавали на выпас не только байские, но и середняцкие и бедняцкие хозяйства. Рассмотрим основные формы сдачи скота этими хозяйствами.

Прежде всего нужно отметить, что нередко испытывавшие острую нужду в молочных продуктах хозяйства, в которых было несколько маленьких детей, а скот погиб и т. п., получали на период доения одну-две коровы от своих ближайших сородичей, нередко также нуждавшихся в молочных продуктах. Эти случаи можно рассматривать как взаимную

помощь, восходящую к традициям родового общества. Чаще же середняцкие хозяйства отдавали скот на выпас в связи со стремлением к более целесообразному ведению скотоводческого хозяйства. Так, в ряде случаев хозяйству было выгоднее брать на определенные сезоны одни виды скота и в то же время давать на выпас другие виды. Хозяйства, направлявшиеся в степь или в долину реки, часто брали на выпас крупный рогатый скот и отдавали своих овец хозяйствам, остающимся в гористых местностях. Ермолаев писал накануне революции, что «крупный рогатый скот зимою стараются держать на болотистых речных долинах, поэтому богатые хозяйства сдают его пастухам, а сами с небольшим количеством нужных лошадей и быков и всеми овечками уходят в горы, где теплее; средние хозяйства на взаимных началах (курсив мой.— С. В.) со своим скотом также. Лишь бедноте выбирать нечего. Все, что есть, держат около себя, обычно в горах» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 23 об.].

В последнем Ермолаев был не совсем прав, ибо при определенных обстоятельствах беднякам не имело смысла вести самостоятельное скотоводческое хозяйство, т. е. выгонять двух-трех своих овец на пастбище и пригонять их обратно; поэтому, уезжая на охоту, сбор сараны или пахоту, они нередко присоединяли свой скот к более крупным стадам соседей. Эти отношения также нельзя рассматривать как эксплуататорские, так как они отражают общинные традиции.

Возвращаясь к тому, что мы говорили о формах эксплуатации в тувинском скотоводстве, отметим, что большинство богатых хозяйств раздавали скот на выпас и доение, некоторые наряду с раздачей скота использовали труд пастухов и лишь в немногих байских хозяйствах все стадо пасли пастухи из числа живших в аале бая бедняцких хозяйств.

В первые годы после революции у кочевых тувинцев сохранялись традиции сдачи скота на выпас и доение. В связи с тем, что сохранялось достаточно резко выраженное имущественное неравенство, сдача скота на выпас баями в бедняцкие хозяйства продолжала оставаться широко распространенной. Организаторы переписи 1931 г. разграничили сдачу скота на прокорм и сдачу скота на доение, что в целом было верно, хотя следует иметь в виду, что иногда одни и те же хозяйства одновременно сдавали скот и на пастьбу с прокормом и на пастьбу с доением и потому могли одновременно учитываться в двух графах. Перепись дает нам следующие данные о числе хозяйств, бравших и сдававших скот на прокорм и доение, в зависимости от имущественного положения (из общего числа исключены хозяйства, отпускавшие и нанимавшие рабочих на срок не менее одного месяца) [ТСДП, 102—103]:

Количество голов скота в хозяйстве (в переводе в крупный)	Всего хо- зяйств	Брали скот на прокорм	Сдавали скот на прокорм	Брали скот на доение	Сдавали скот на доение
До 5	2026	217	99	506	28
От 5,1 до 10	3808	522	225	877	110
От 10,1 до 20	4598	678	349	642	359
От 20,1 до 30	1977	276	198	120	365
От 30,1 до 50	1094	111	205	38	358
От 50,1 и более	328	17	125	2	205

Материалы переписи, зафиксировавшей степень распространности саунных отношений в первые годы после революции, могут служить и показателем их распространения в предреволюционное время (при этом следует отметить, что сдача скота на выпас в наиболее зажиточных середняцких и в байских хозяйствах в послереволюционное время несколько сократилась, так как они начали чаще нанимать пастухов). Эти материалы показывают вместе с тем ошибочность суждений отдельных исследователей, которые считают, что саунные отношения не имели сколько-нибудь существенного значения у кочевников и что их роль обычно преувеличивается [Залкинд, 1970, 364].

Нередко в литературе, посвященной кочевникам, все формы эксплуатации, основанные на имущественном неравенстве скотоводов, считаются признаком производственных отношений развитого классового общества, в лучшем случае имеющими лишь патриархально-родовую оболочку. Так, например, В. И. Дулов, характеризуя отношения, возникающие при сдаче скота на выпас и доение, рассматривает их как феодальные, которые возникают у скотоводов «в одинаковых условиях и на одинаковом уровне развития производства» [Дулов, 1956, 239]. Между тем этнографические материалы свидетельствуют о том, что формы эксплуатации, основанные на сдаче скота на выпас, имели место у скотоводческих (в том числе оленеводческих) народов, находящихся на весьма различных уровнях социально-экономического развития, в том числе в условиях отцовско-родового строя, как это было, например, отмечено у оленеводческих народов севера Сибири. Мы считаем возможным называть эту форму эксплуатации патриархальной, так как она появляется еще в недрах патриархально-родового строя, когда частно-семейная собственность на скот ведет к возникновению имущественного неравенства и к образованию как хозяйств с большим количеством скота, для содержания которого нужны дополнительные рабочие руки, так и малоскотных хозяйств, экономически заинтересованных в пастьбе скота более богатых сородичей ради пользования молоком и некоторыми другими продуктами животноводства. Несомненно, что уже на ранних этапах развития кочевого хозяйства в условиях

еще господствовавшего отцовско-родового строя возникали формы эксплуатации, позволявшие в рамках этого строя извлекать прибавочный продукт путем патриархальных форм эксплуатации. Застойный характер скотоводческого хозяйства кочевников консервировал патриархальные формы эксплуатации, которые вместе с пережитками общинных отношений составляли основу патриархального уклада у кочевых скотоводов.

Таким образом, формы и социальное содержание производственных отношений, существовавших в тувинском скотоводстве в конце XIX — начале XX в., были весьма многообразны. Наряду с отношениями, основанными на эксплуатации, существовала сдача скота на выпас и доение, вызванная соображениями более целесообразной организации труда двух близких по имущественному положению хозяйств, а в некоторых случаях являвшаяся выражением родственной взаимопомощи. Различалось и социальное содержание отношений и форм эксплуатации, основанных на сдаче богатыми хозяйствами скота на выпас и доение беднякам. Преобладающей формой таких отношений была эксплуатация сородичей, которую мы именуем патриархальной и которая была основана на раздаче на выпас и доение скота экономически заинтересованным в этом бедняцким хозяйствам, преимущественно связанным с хозяйством эксплуататора узами родства. Значительно меньшее распространение имели отношения, основанные на своеобразной кабальной зависимости; существовали в небольших размерах отношения феодального типа, в основе которых лежало внеэкономическое принуждение, а также отношения найма, которые можно считать первыми проявлениями в тувинском скотоводстве начатков капиталистических отношений.

САЯНСКОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО И ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОЛЕНЕВОДСТВА В ЕВРАЗИИ

ТУВИНСКОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОЛЕНЯ В ТРАНСПОРТНЫХ ЦЕЛЯХ

Древние наскальные изображения на знаменитых Боярских писаницах, обнаруженные А. В. Адриановым в Минусинской котловине в начале XX в. [Адрианов, 1904], многократно привлекали внимание различных исследователей. Среди ряда интереснейших композиций, характеризующих быт местных племен на рубеже нашей эры, можно встретить изображения оленьих стад в сопровождении человека верхом на олене [Грязнов, 1933; Дэвлет, 1965]. К рубежу нашей эры относится также изображение всадника на олене с уздой, обнаруженное мною в Центральной Туве среди петроглифов горы Сыын-Чюрек [Вайнштейн, 1971б]. Фигурки оленей с уздой были найдены в погребениях этого же времени в Минусинской котловине [Кызласов, 1960, рис. 49]. Это позволило предполагать, что некоторые народы Саяно-Алтая, в том числе жители Тувы, уже по крайней мере на рубеже нашей эры в той или иной форме знали оленеводство. Правда, следы оленеводства найдены в ныне остепненных местах, где, видимо, и несколько тысячелетий назад не было условий ни для жизни дикого, ни для содержания домашнего оленя. Тем не менее эти свидетельства могут рассматриваться как указания на существование оленеводства в сопредельных горных районах Саян и Алтая, с которыми население, оставившее указанные памятники, могло быть связано как этнически, так и культурно.

Конечно, сами по себе известные пока древние изображения на писаницах и археологические находки не могут служить доказательством существования конкретных форм оленеводства у народов, населявших в прошлом этот район, и требуют привлечения дополнительных источников.

Наиболее древние указания на использование оленя как выючного животного у таяжных жителей Саян относятся к

концу XIII — началу XIV в. Рашид ад-Дин, характеризуя быт лесных урянкатов, которых есть все основания считать жителями Саян [Вайнштейн, 1957], указывает, что «во время перекочевок они грузили поклажу на горных быков» [Рашид-ад-дин, 1952, 124]. Под «горными быками» следует, по всей вероятности, понимать оленей. У Рашид ад-Дина содержится указание и на доение этих животных [Рашид-ад-Дин, 1952, 123]. Бесспорным свидетельством существования выючного оленеводства у населения Саян служит также текст «Юань-ши»: «Все ханьхэна... поклажу грузят на белых оленях. Пьют оленьё молоко...» [Юань-ши, гл. 63].

Первое сообщение о существовании верхового оленеводства у предков современных тувинцев относится лишь к XVII в. и принадлежит русскому послу к Шолою Алтын-хану Василию Тюменцу, который писал, что жители Саянской земли «ездят на оленях и на конях...» [МИРМО, 61].

Изучение русских архивных документов позволяет прийти к выводу, что в XVII в. помимо предков современных тувинцев с оленеводством были знакомы камасинцы, предки тофаларов (карагасов) — койбалы и моторы, а также предки бельтиров — жители «Табынской земли». Последнее удалось впервые установить Б. О. Долгих и мне на основании сообщения Василия Тюменца и ряда этнографических свидетельств, не учитывавшихся ранее [Вайнштейн, Долгих, 1963]. Из отождествления «Табынской земли» Василия Тюменца начала XVII в. с табанскими людьми второй половины XVII в. и с табон-бельтирами XIX в. нами был сделан вывод, что в начале XVII в. бельтиры или по крайней мере часть их имели домашних оленей и, вероятно, использовали их для верховой езды.

Не исключено, что и само название «Табынская земля» было непосредственно связано с оленеводством ее жителей (ср. якутское название оленя *таба*).

Помимо свидетельства Василия Тюменца об оленеводстве в «Табынской земле» имеются и другие основания для предположения, что оленеводство в Алтае-Саянском нагорье было некогда распространено и на запад от Енисея.

Во второй половине XIX — начале XX в. оленеводство таежного типа помимо восточных тувинцев было зафиксировано у тофаларов [Петри, 1929], камасинцев [Тугаринов, 1926], небольшой группы окинских сойотов [Кропоткин, 1867]¹, части дархатов [Бадамхатан, 1965]. Для всех этих групп был характерен выючно-верховой тип оленеводства, получивший название саянского. Типичными его представителями были восточные тувинцы — тоджинцы, система оленеводства которых была охарактеризована мною в специальной работе [Вайнштейн, 1961]. Ниже оленеводство восточных тувинцев рассматривается более полно с учетом материалов, соб-

ранных мною в последние годы как у тувинцев, так и у тофаларов.

Ряд видных ученых высказывали мнение, что тувинское оленеводство является древнейшим в Евразии. Эту точку зрения разделяли Б. Лауфер [Laufer, 1917], В. Леймбах [Leimbach, 1936], В. Менхен-Хелфен и некоторые другие. Менхен-Хелфен, в частности, писал, что «в маленьком хошуне Тоджа в Туве еще сегодня живет народ древнейших оленеводов, а возможно и вообще древнейших скотоводов» [Mänchen-Helfen, 1931, 47].

Все это делает особенно необходимым тщательное исследование саянского оленеводства в его традиционных формах не только с целью изучения исторической этнографии тувинцев, но и с тем, чтобы, привлекая сравнительно-этнографический и археологический материал, рассмотреть проблему происхождения оленеводства — одну из крупных проблем всемирной истории, по выражению С. П. Толстова [Толстов, 1961, 112].

Тувинцы разводят оленей так называемой карагасской породы, принадлежащей к виду северных оленей (*Rangifer tarandus Sibiricus*). Карагасский олень более одомашнен, чем другие породы северных оленей [Карцелли, 1925, 89], и очень неприхотлив в пище. Этих же оленей разводили камасинцы.

Роль оленеводства в жизни таежного населения Восточной Тувы была весьма большой. Транспортное (вьючно-верховое) использование оленей позволяло осваивать большие промысловые угодья: в зимних условиях олени могли проходить под седлом около 60 км в день и нести до 40 кг груза и более. Доеение оленей обеспечивало семью охотника часть года молоком и некоторыми молочными продуктами.

Тоджинцы, тофалары и камасинцы практиковали вольный выпас оленей, без присмотра пастуха (за исключением весны — периода отела). Эта древняя и, пожалуй, самая примитивная форма выпаса оленей описана также у ряда самодийских и тунгусских народов [Харузин, 1890; Каргер, 1930; Васильев, 1962]. Такое оленеводство, основанное на экстенсивном использовании пастбищных угодий, требовало постоянных перекочевок.

Как и все саянские оленеводы, тувинцы-тоджинцы ездили верхом и перевозили грузы в основном на быках (производителях или кастрированных), причем особенно ценились крупные и послушные животные.

Количество оленей у тоджинцев вплоть до переписи 1931 г. точно не учитывалось. Данные, относящиеся к дореволюционному времени, очень противоречивы и колеблются от 2,5 до 78 тыс. оленей. По сведениям А. Беннигсена, у тоджинцев в 1912 г. было 2,5 тыс. оленей [Беннигсен, 1913, 36]. Другие авторы называют (для 1915 г.) гораздо большие цифры: Ер-

молаев [Ермолаев, 1919, 19] говорит о 20 тыс. оленей, а Турчанинов — о 78 тыс. [Кабо, 1934, 66]. Эти цифры бесспорно завышены.

Более точными, на наш взгляд, являются сведения учителя Венкеля, обследовавшего часть Тоджи в 1916 г.; он встретил 97 хозяйств (около трети общего количества), у которых было 4300 оленей [ГА ТАССР, ф. Р-123, оп. 2, № 131, лл. 3—15]. Более полные данные переписи 1931 г., приводимые в таблице 4, указывают, что в Туве было 10 415 оленей.

Таблица 4

Количество оленей в Туве*

Хошун	Число хозяйств с оленями	Количество оленей			
		Телята	Молодняк	Взрослые	Всего
Дзун-Хемчик	1	—	—	5	5
Улуг-Хем	1	—	—	1	1
Каа-Хем	36	140	88	287	515
Тес-Хем	4	12	8	31	51
Тоджа	350	3318	631	5894	9 843
Всего	392	3470	727	6218	10 415

* [ТСДП, 71].

Учитывая данные Венкеля и достаточно точные цифры переписи 1931 г., можно считать, что в начале XX в. в Восточной Туве было около 10 тыс. оленей, а на одно хозяйство в среднем приходилось от 20 до 30 оленей. Семьи, имевшие менее 10 оленей, считались беднячками; были и байские хозяйства, которые имели до 400 голов.

Примерно такое же количество оленей было в конце XIX — начале XX в. и в тофаларских хозяйствах [Петри, 1927]. У камасинцев-олeneводо в конце XIX в., по сообщению А. Я. Тугаринова, каждая семья имела «2—3 десятка животных» [Тугаринов, 1926, 77].

Тувинцы-тоджинцы имеют довольно разветвленную систему названий оленей по полу и возрасту. Общее название для оленей — *иви*; яловая важенка — *кызыр мынды*; стельная важенка — *колчангы*; важенка после отела — *мынды*; бык — *эдер чары*; теленок до шести месяцев — *анай*; теленок до одного года — *куу анай*; теленок-самец старше года — *донгур*; молодняк до двух лет — *даспан*; самка до первой стельности, до двухлетнего возраста — *мындычак* или *мундучак*; самец до двух лет — *дүктүг мыйыс*, бык старше трех лет — *эдер дүктүг мыйыс*, ездовой бык — *мунар чары*; кастрированный

олень, которого применяют для перевозки вьюка и верховой езды, — *куддай*; олень в возрасте старше четырех лет — *дöнгүр*.

Половозрастные названия оленей у тоджинцев весьма близки к названиям оленей у тофаларов. Однако наряду со сходством в названиях имеются некоторые лексические различия. Так, важенька у тоджинцев носит название «мынды», тофалары же называют ее *инген*, что аналогично тувинскому и монгольскому названию верблюда. Нетель обозначается одним и тем же словом «мындычак» («чак» — уменьшительный суффикс) и у тоджинцев и у тофаларов.

Этимология половозрастных названий оленей представляет большой интерес. Мне уже приходилось отмечать, что слово «куудай», обозначающее у тувинцев и тофаларов кастрированного ездового быка, может быть этимологизировано как «серый конь» («куу» — серый, «дай» — конь). При этом «дай» или «тай» как название коня встречается не только в тувинском, но и в древнетюркском, алтайском, киргизском, туркменском и ряде других современных тюркских языков.

Название оленей «иби» или «нби», по мнению А. М. Щербака, может быть сопоставлено со словом *ibik*, зафиксированном в словаре Махмуда Кашгарского, где оно означает «дикий зверь, живущий в степях»; это же слово в словаре Ибн-Муханны переводится как «олень, лань» [Щербак, 1961, 134; Рассадин, 1967].

В Тодже встречаются дикие северные олени, но к стадам домашних оленей, за очень редким исключением, они не присоединяются. Утверждение норвежского путешественника Е. Ольсена, что тоджинцы специально ловят диких северных оленей и приручают их [Olsen, 1915, 51—54], ничем не подтверждено. Многократные сообщения информаторов позволили установить, что присоединение диких оленей к домашним было чрезвычайно редким, зато нередкими были случаи одичания домашних оленей. Дикого оленя называют *ак анг*, т. е. «белый зверь», а одичавшего домашнего — *анг иви* («анг» — «дикий зверь»). Аналогичные названия существуют у тофаларов.

Важеньки изредка приносят оленят от диких оленей. Такие оленята обычно сравнительно медленнее, чем другие, но все же приручаются; их считают сильнее и выносливее оленят, родившихся от домашних оленей. На это же обратил внимание В. Серошевский, который писал, что тунгусы и якуты специально выгоняют самок, чтобы получить потомство от диких быков [Серошевский, 1896, 149]. Однако в тундровой зоне Севера, как отмечают путешественники, теленок от дикого быка и домашней важеньки не приручается. Так, А. А. Попов пишет, что у нганаса «теленок от быка дикого оленя остается диким, бросается на людей, а когда подрастает, не остается при стаде, а убегает к диким» [Попов, 1948, 58]. Воз-

можно, эти факты говорят о большем родстве таежных пород домашнего и дикого саянского оленя, чем домашних и диких оленей в тундре, хотя не исключено, что здесь играют роль просто различные условия содержания оленей в тайге и тундре.

Как тувинцы, так и тофалары и камасинцы проводили случку оленей с середины сентября до конца октября. Отел важенок происходил в конце апреля — начале мая. К этому времени оленеводы откочевывали в места весенних стоянок, для которых выбирали открытые большие поляны поблизости от тайги. Во время отела помощи важенькам не оказывали, их обычно даже не отделяли от стада, что вело к большому падежу молодняка. Затем переходили на летние стоянки, расположенные высоко в горах, туда, где больше ягеля, значительно прохладнее и меньше мошек.

Через несколько дней после отела важенок начинали доить, делая это обычно один-два раза в день. Чтобы начать дойку, к важеньке подводили олененка и давали ему немного пососать передние маленькие соски, прикрыв задние рукой. Затем олененка оттаскивали и привязывали, а важеньку доили. В период дойки олененок имел возможность получать молоко всего один раз. После дневной дойки важенок отпускали на пастбу; с наступлением сумерек, когда они возвращались в стойбище к телятам, их доили вторично и вместе с телятами отпускали пастись на ночь. От одной важеньки в июне — июле надаивали за день от 150 до 400 г молока с высоким содержанием жира (16—25%). В августе — сентябре надой значительно уменьшался. Дойка прекращалась в конце сентября — начале октября. За лактационный период от одной важеньки выдаивали от 25 до 65 кг молока.

Сообщение Е. Ольсена о существовании у тоджинцев загонов для важенок [Olsen, 1915, 63] не подтвердилось. Важеньки в стойбище находились около телят, которых уже с первых дней после рождения привязывали к стволу поваленного дерева или к длинной жерди с помощью особого недоуздка, или, точнее, намордника *мунгуй*. Он состоял из деревянной втулки *согунак*, вращающейся в костяном или деревянном полукруглом вертлюге, по обоим концам которого был прикреплен кожаный ремешок *хээрлик*, охватывающий морду оленя сверху, и двух вязок, соединяемых на шее у затылка. Недоуздок такого же устройства применялся тофаларами и дархатами. Очевидно, у камасинцев также были подобные недоуздки-намордники, хотя в литературе и музейных собраниях нет никаких указаний на это. Однако мои информаторы — старики тофалары из рода сары-хаш, знавшие оленеводов-камасинцев, утверждали, что камасинцы применяли аналогичное приспособление².

Хотелось бы отметить, что недоуздок оленят отличается от

узды вьючных оленей не только наличием вертлюга под мордой, но и характером размещения недоуздка на голове оленя. Если узда надевается на морду взрослого оленя до рогов, то мунгуй олененка охватывает морду лишь до носовой части, сближаясь в этом отношении с конским недоуздкой (в этом, вероятно, можно видеть одно из проявлений связи оленеводства с коневодством).

Паслись олени обычно недалеко от стойбища. Лишь в период отела, когда за оленями надо было наблюдать, их с наступлением темноты пригоняли к стойбищу и держали на привязи до утра, так как иначе они могли бы уйти за многие километры от аала. Впрочем, в солнечную, жаркую погоду олени, спасаясь от обильной мошки, рано утром сами приходили в стойбище и собирались возле затененных дымокуров *ыштаар*. Применение подобных дымокуров широко практикуется всеми оленеводами лесной зоны. Если же погода была холодной и дождливой, олени сами обычно не возвращались и их приходилось созывать криком, объезжая места, где они паслись. Сделать это было трудно, и в плохую погоду редко удавалось собрать в стойбище даже половину оленей. Отсутствие пастушеского надзора за оленями вело к большим потерям от нападений волков и медведей.

Чтобы олени не уходили далеко от стойбища, их спутывали, пропуская повод между передними ногами и привязывая его к одной из задних ног. Иногда повод привязывался к тонкой жерди длиной до 3 м, которая волочилась за оленем, или к толстому и короткому обрубу дерева длиной до 50 см. Аналогичный способ известен эвенкам. Реже пользовались особыми «башмаками», применение которых известно почти по всей таежной зоне Сибири и которые описаны у тунгусов [Миддендорф, 1878] и энцев [Васильев, 1962]. Тувинцы делали «башмак» *тахан* из березы в виде плахи длиной около 50 см, имевшей раздвижной конец, скреплявшийся веревкой или кожаным ремешком. Подобный «башмак» использовали также тофалары. Одевали «башмак» главным образом важенкам перед отелом, чтобы они далеко не уходили; укрепляли его обычно на передних ногах оленя. У энцев «башмак» назывался *бакан*, у ненцев — *тоболе*.

По данным Бела Гунды, любезно сообщенным мне, у ненцев для «башмака» имеется и другое название — *вака* или *сата*. В связи с этим нельзя не обратить внимание на определенные параллели одного из элементов саянского оленеводства и оленеводства самодийских народов: тувинское и тофаларское *тахан* и камасинское *бахан* можно сравнить с энецким *бакан* и ненецким *вака*.

Домашние олени, как известно, нуждаются в солевой подкормке. Если стойбище было расположено вдали от естественных солончаков, оленей, как правило, подкармливали.

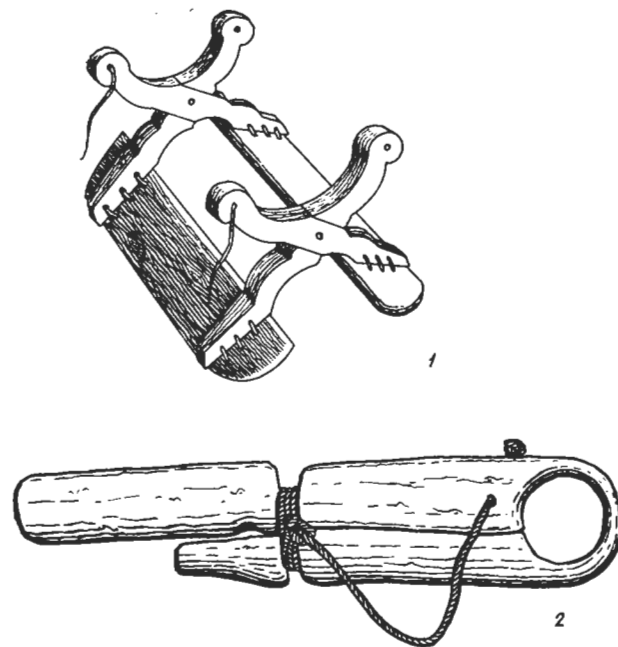


Рис. 8.
1 — детское седло (эримээш) для оленя; 2 — олений «башмак» (тахан)

солью возле чумов. Сено, вопреки утверждению Г. Е. Грумм-Гржимайло, на зиму не заготавливали; вероятно, Грумм-Гржимайло ошибочно перенес на оленеводов сведения о заготовках сена скотоводами Тоджи [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 48].

Чтобы отличить оленей, их хозяева иногда делали семейные тамги на теле и надрезы на ушах. Тамги наследовались по отцовской линии. Способ метить животных тамгами и надрезами был распространен кроме тувинцев у тофаларов и других оленеводов Сибири. На Севере он практикуется нганасанами.

На мясо оленей резали очень редко, да и то только старых и больных животных. Д. Каррутерс отмечает, что «оленье мясо составляет для них (тоджинцев. — С. В.) редкое лакомое блюдо» [Каррутерс, 1914, 233]. При забое оленя вначале обухом топора ударяли по голове, затем упавшего оленя кололи заостренной палкой (*иши*), стараясь попасть в сердце. Этот способ забоя был отмечен также у тофаларов [Петри, 1929, 13.]

Отпиливать оленям рога начинали в середине августа. Вначале рога отпиливали у быков-производителей, оставляя

лишь нижнюю часть рога длиною не более 15—20 см; в конце августа рога спиливали у кастрированных оленей; в середине сентября спиливали края роговых отростков у важенков.

Кастрацию оленей (*чазаар*) производили осенью, в середине сентября. Кастрировали обычно всех самцов в возрасте 16 месяцев, за исключением немногих производителей (даже в стаде одного богатого аала было обычно не более четырех оленей-производителей). При этом применяли кровавый способ, аналогичный тому, которым скотоводы кастрируют лошадей. Такой способ кастрации является одной из отличительных особенностей саянского типа оленеводства, так как у всех других оленеводческих народов практикуется бескровное кастрирование путем раздавливания семенников, и только нганасанам известны оба способа кастрации. В способе кастрации и других особенностях саянского оленеводства прослеживается его древняя связь со скотоводством.

Примерно в возрасте двух—двух с половиной лет рабочего оленя начинали приучать к вьюку. Для этого оленя привязывали и надевали на него вьючное седло и вьюк в 20—30 кг. После того как олень постепенно привыкал к вьюку, его начинали водить в караване, привязывая между двумя обученными оленями. Дрессировку, как правило, начинали осенью с началом охотничьего сезона. Когда олень привыкал ходить с вьюком (а это происходило, по мнению тоджинцев и тофаларов, лишь через год после начала обучения), на него начинали садиться верхом. Дрессировкой оленей занимались не только взрослые, но и дети. Как писал М. Г. Левин, тоджинцы «ездить начинают на оленях-трехлетках, но у кого оленей мало, у того ребятнишки начинают ездить и на двухлетках» [АИЭМ, ф. 41, оп. 2, № 116, тетр. 7, л. 15]. Участие детей в дрессировке оленей отмечалось и у других оленеводческих народов, в частности у нганасан, на что обратил внимание А. А. Попов [Попов, 1948, 59].

Применялись три типа седла: верховое *эзер*, вьючное *ынгыржак* и детское *эримээш*. Верховое оленье седло было аналогично описанному ниже конскому седлу, применявшемуся скотоводами, и имело то же название. Подобные седла использовали все саянские оленеводы, в том числе камасинцы, которые, как пишет А. Тугаринов, называли седло *конзан* [Тугаринов, 1926, 77].

Верховые седла умели делать только немногие оленеводы-тоджинцы. Такие седла считались плохими, и их употребляли лишь бедняки. Стремена на этих седлах зачастую были из дерева или даже из прутьев. Чаше же оленеводы приобретали конское седло и, сняв с него две подпруги, переделывали их на подшейные и подхвостные ремни. Баи, как правило, пользовались богато украшенными бурятскими седлами.

Вьючное деревянное седло *ынгыржак* состояло из двух уз-

ких досок, скрепленных деревянными луками при помощи ремешков. Передняя лука *башкы бажы* была обычно покрыта резным геометрическим орнаментом. В верхней части передней луки имелось небольшое возвышение *токша* в виде ромба. Все части седла скрепляли тонкими кожаными ремешками *кожк*, для продевания которых имелись отверстия *ут*. Вьючное седло укреплялось при помощи нагрудного ремня *хондуруг*, подхвостного ремня *кудурга* и подпруги *тыртыг*.

Вьючные седла располагали на спине ближе к середине. Подобные тувинским вьючные седла были распространены у тофаларов и дархатов; сходное седло было известно и селькупам [МАЭ, колл. № 3871—9]. Если на промысле не было вьючного седла, при необходимости его заменяли верховым либо несколькими ветками, укрепленными на потнике.

Грузы перевозили в парных вьючных сумках *барба*, и лишь в случае необходимости небольшую часть груза клали поверх вьючного седла. Особенно тщательно следили за тем, чтобы груз по обоим сторонам был уравновешен. Обычно на оленя грузили не более 40—45 кг.

Имелось специальное детское седло *эримээш*, состоявшее из двух деревянных досок *чаагы* (у тофаларов *чапы*), скрепленных крестообразными луками. Передняя лука называлась *башкы бажы* («передняя голова»), задняя—*сонгу бажы* («задняя голова»). Такие седла применяли для перевозки маленьких детей в колыбели во время перекочевов. На детском седле устраивали колыбель и прочно закрепляли ее кожаными арками. Часто к лукам седла прикрепляли дугобразно выгнутые прутья, за которые держались дети, сидевшие в седле. Чтобы ребенку было теплее, поверх дужек во время перекочевов клали шкуры. Подобные детские оленьи седла были известны тофаларам [ИМ, колл. № 73—13] и дархатам [Бадамхатан, 1965, рис. на стр. 246].

Под любое седло обязательно подкладывали потник (*аямдыт*), которым служил прямой кусок войлока или шкуры, а под него шкурку косули или оленя мехом вниз, причем следили, чтобы направление волос оленя и подстилки совпадало. Так же седлали оленей и тофалары и, вероятно, камасинцы, о которых имеется сообщение, что потником у них служила шкурка косули [Тугаринов, 1926, 77]. Седло клали таким образом, чтобы только передняя его часть лежала на лопатках животного. Такой способ седлания, когда основная тяжесть ложилась почти на середину спины, нередко приводил к гибели оленей (позвоночник не выдерживал груза и ломался).

Тоджинцы, тофалары и камасинцы садились на оленя так же, как и на коня, слева, в отличие от тунгусских оленеводов, которые садились справа. При посадке на оленя использовали различные возвышения — кочки, пни, поваленные деревья, де-

ревянные кольца (стременами при посадке не пользовались); иногда опирались на деревянный посох *даянгыш* — им пользовались обычно женщины и пожилые мужчины. В отличие от других оленеводческих народов посадка при помощи прыжка тувинцами не практиковалась.

Управляли оленем при помощи узды *баг*, состоявшей из ременной обороти *баш баа*, охватывавшей морду оленя; и черзатыльника из двух ремешков-вязок *ускун*, охватывавших голову оленя. От нижней части обороти отходил ременный повод *узун баа*, пропускаемый при езде всегда с левой стороны шеи оленя. Заметим, что у остальных оленеводческих народов, кроме саянских, поводок всегда проходит справа. Узду каждый оленевод делал обычно сам из кожи лося. В период приучения оленя к верховой езде к баш баа привязывали два повода; через несколько дней правый повод снимали и оставляли только левый.

Погоняя оленей, их обычно не били, а покрикивали «уш-уш-уш!» Если приходилось везти груз на нескольких оленях, составляли караван *кожуглуг мал*, включавший обычно не больше 15 голов. Если олени шли без вьюка, их связывали елочкой. Краткие остановки делали через каждые 3—4 км, чтобы олени могли немного отдохнуть. После прибытия прежде всего снимали вьюк, а через час-полтора отпускали оленей пастись.

Как мы уже отмечали, значительная часть оленеводческих хозяйств имела лошадей. При этом 40% хозяйств имели по одной-две лошади, и лишь у немногих баев было свыше десятка лошадей. По данным Венкеля, число лошадей в обследованных им хозяйствах составляло всего 5,2% к числу оленей. М. Г. Левин в 1926 г. отметил, что «почти у каждого оленевода имеется одна-две лошади, а у богатых больше десятка» [АИЭМ, ф. 41, № 7, л. 23].

В период летнего откочевывания в горы лошадей обычно оставляли в долинах рек небольшими табунами, принадлежавшими всем хозяйствам одного аала. Их не пасли, однако каждые 10—15 дней кто-нибудь из оленеводов спускался в долину проверить табун. Ранней весной, осенью и зимой лошади находились поблизости от аалов. На лошадях оленеводы ездили в степные районы Тувы.

Конская сбруя оленеводов была аналогична сбруе степных скотоводов, у которых ее и приобретали. Кобылиц не доили. Лошадей использовали для верховой езды, под вьюк, и в особенности как транспортное средство на охоте осенью и весной.

Оленеводы совершали значительно большее количество перекочевок и на большие расстояния, чем скотоводы. Маршруты и количество кочевков зависели не только от необходимости обеспечения оленей пригодными пастбищами, но и от

требований промысла, стремления создать наиболее благоприятные условия для охоты и охватить ею как можно большую территорию.

Всего в течение года тоджинцы совершали до 20 перекочевок. М. Г. Левин отмечал в 1926 г., что оленеводы «в течение весенних и осенних кочевков меняют стоянки по 10—15 раз» [АИЭМ, ф. 41, № 7, л. 12]. Подобный характер перекочевков, обусловленный промыслово-олeneводческим хозяйством, был характерен для тофаларов, а также, насколько можно судить по отрывочным сведениям в литературе, для камасинцев и оленеводов-дархатов.

Расстояния между кочевками у тувинцев-олeneводов были различны — от 8—10 км и более. Расстояние между летними и зимними пастбищами в среднем составляло 60 км, а максимальное — 100—120 км.

Зимой оленеводы жили в долинах рек; осенью они поднимались выше, в таежные массивы; летом стойбища оленеводов находились еще выше в горах, на гольцах. Здесь мы не останавливаемся подробно на характере перекочевков оленеводов и их годовом хозяйственном цикле, так как эти вопросы подробно рассмотрены в нашей работе, посвященной тувинцам-тоджинцам [Вайнштейн, 1961].

ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОЛЕНЕВОДСТВА В ЕВРАЗИИ

Рассмотренные выше материалы, характеризующие саянское оленеводство, представляют большой интерес для разработки вопросов генезиса оленеводства у народов Сибири.

Проблема происхождения скотоводства, одной из форм которого является оленеводство, относится к числу крупнейших проблем, стоящих перед исследователями культурной истории человечества. Если в освоенных людьми и сравнительно благоприятных для жизни степных районах Азии развитие скотоводства привело к превращению его в главную отрасль труда пастушеских племен и выделению их «из остальной массы варваров», что явилось, по словам Ф. Энгельса, первым крупным общественным разделением труда [К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 21, 160], то приручение оленя и развитие оленеводства у народов Севера помогло им обжить исключительно суровые районы, обеспечить себя столь необходимыми здесь транспортными средствами, мясом, шкурами и другими продуктами оленеводства — единственной производящей отрасли хозяйства охотников тайги и тундры. Важную роль сыграло оленеводство и в развитии общественных отношений у народов Севера.

Происхождению оленеводства посвящена обширная литература, причем по вопросу о времени и центрах возникнове-

ния оленеводства, путях и формах его распространения существуют различные точки зрения. Некоторые исследователи видели в оленеводстве древнейшую форму скотоводства, восходящую чуть ли не к палеолитическим традициям. Эту точку зрения развивали У. Сирелиус, В. Шмидт, В. Копперс, В. Г. Богораз, Н. Я. Марр, Ф. Флор, С. В. Киселев и другие, опиравшиеся на различные виды источников. Так, Сирелиус полагал, что в Финляндии оленеводство было известно уже в каменном веке, так как каменным веком датируются открытые там полозья нарт, а они столь широки, что, по мнению исследователя, не могли принадлежать собачьей упряжке [Sirelius, 1916]. Шмидт и Копперс считали, что оленеводство развивалось непосредственно из охоты на дикого северного оленя в каменном веке [Schmidt, Koppers, 1924]. В. Г. Богораз связывал приручение оленя с охотой первобытного человека на северного оленя еще в мадленское время [Богораз-Тан, 1928]. Н. Я. Марр, основываясь на анализе лингвистического материала, считал, что первым верховым животным был олень, которого значительное время спустя сменила лошадь [Марр, 1926].

На таких же позициях стоял Ф. Флор; его точка зрения заключалась в том, что разведение оленей было древнейшей формой скотоводства, предшествовавшей разведению лошадей и крупного рогатого скота [Flor, 1930]. К этой теории склонялся также С. В. Киселев, пытавшийся обосновать ее на археологическом материале. Он полагал, что найденная в Пазырыкских курганах маска оленя на коне позволяет считать, что олень предшествовал лошади как верховое животное [Киселев, 1951].

Большую древность оленеводства, впрочем с определенными оговорками, допускает и С. А. Токарев [Токарев, 1958].

В послевоенные годы из зарубежных исследователей концепцию возникновения оленеводства в палеолите поддержал Х. Пульхаузен, следующий в этом вопросе за Флором [Pohlhausen, 1953]. Пульхаузен обосновывает свою точку зрения материалами эпох палеолита и мезолита из стоянок гамбургской и аренбургской культур. Он находит возможным заключить, что первая была культурой охотников на оленя, а вторая — культурой спутников оленя. Эта мысль близка к точке зрения К. Викалунда, выдвигавшего гипотезу о переходе древних охотников от постоянной охоты на отдельное стадо, за которым они двигались, к осознанию этого стада своим и постепенному его приручению [Wiklund, 1913].

Иную концепцию происхождения оленеводства развивал Э. Ган, разрабатывавший общую теорию происхождения скотоводства из Двуречья. Он считал, что оленеводство возникло под влиянием коневодства и разведения крупного рогатого скота [Hahn, 1896]. Этой же точки зрения придерживался и

ряд других ученых, в том числе Б. Лауфер [Laufer, 1917], Г. Хатт [Hatt, 1921], А. Н. Максимов [Максимов, 1928], Г. М. Василевич и М. Г. Левин [Василевич и Левин, 1951]. Мнение о позднем развитии оленеводства разделяет и Н. Н. Чебоксаров [Левин и Чебоксаров, 1955, 6].

С. П. Толстов, рассматривая проблемы всемирной истории в свете данных современной исторической этнографии, решительно отверг вывод о большой древности оленеводства и подчеркнул, основываясь на современных археологических и этнографических материалах, что оленеводство — это очень позднее историческое явление, возникшее не ранее железного века [Толстов, 1961, 112].

Хатт, обосновывая свой вывод о сравнительно позднем времени развития оленеводства, исходил из того, что оно не достигло Северной Америки, так же как и лыжи; этот вывод являлся частью общей концепции Хатта о береговой и материковой культурах в Северной Азии, которые в Арктике, по его мнению, были более ранними, чем культура оленеводов [Hatt, 1921, 97—103]. Подобную точку зрения развивал и К. Биркет-Смит [Birket-Smith, 1929].

Что же касается других исследователей, то они старались найти связи между оленеводством народов Сибири и коневодством (животноводством) народов Центральной и Восточной Азии. Наиболее полно эти взгляды выразил М. Г. Левин в ряде работ, написанных им совместно с Г. М. Василевич [Василевич и Левин, 1951; их же, 1961, 24].

По вопросу о том, имеет ли оленеводство один или несколько центров возникновения, мнения исследователей расходятся. Так, Ю. Липперт выводил оленеводов из Скандинавии [Lippert, 1886—1887]; Э. Ган полагал, что первоначальный ареал оленеводства находился в Сибири [Hahn, 1896]; Б. Лауфер придерживался мнения, что оленеводство возникло в Саяно-Алтайской области [Laufer, 1917], но не связывал этот процесс с каким-нибудь одним народом. К точке зрения Б. Лауфера в этом вопросе был близок Г. Хатт [Hatt, 1919]. А. Н. Максимов, принимая теорию саяно-алтайского очага, допускал, что лопарско-скандинавское оленеводство возникло независимо от саяно-алтайского под влиянием норманнов [Максимов, 1928]. Мнение А. Н. Максимова о едином (саяно-алтайском) центре сибирского оленеводства поддерживали Ф. Флор [Flor, 1930] и В. Г. Богораз [Тан-Богораз, 1933, 224]. К. Доннер склонялся к мысли, что первыми оленеводами были самодийцы Западной Сибири [Donner, 1933]. В отличие от сторонников теории единого центра К. Викалунд считал, что все основные типы оленеводства возникли конвергентно [Wiklund, 1919]. Теорию нескольких центров поддерживал А. М. Золотарев [Золотарев, Левин, 1940]. Наконец, Г. М. Василевич и М. Г. Левин выдвинули гипотезу о существовании двух са-

мостоятельных очагов одомашнивания оленя — саянского и забайкальского. Первый был связан с самодийскими, второй — с тунгусскими народами; саянский тип возник под влиянием коневодов-тюрок, забайкальский (сибирский) — под влиянием коневодов-монголов [Василевич и Левин, 1951].

Этнографической наукой установлено, что формы оленеводства, известные у народов Северной Евразии от Скандинавии на западе до Чукотки на востоке и от Таймыра на севере до Саян на юге, имеют ряд существенных различий в характере использования оленей (вьючное, вьючно-верховое, упряжное), в способе выпаса (с пастушеской собакой, без нее и т. п.), в доении или недоении оленей и т. д. В настоящее время принято выделять пять типов оленеводства: 1) лопарский (саамский) тип (использование оленя под выюк и в упряжи, доение³, пастыба с собакой, знакомство с оленем-маншиком); 2) западносибирский, или самодийский, тип (упряжное оленеводство, олень-маншик, есть пастушеская собака, доения нет); 3) тунгусский (сибирский) тип (вьючно-верховое оленеводство с верховым седлом без стремян, частично упряжное, маншик, доение, нет пастушеской собаки); 4) северо-восточный тип (упряжное оленеводство, использование маншика, нет пастушеской собаки); 5) саянский тип (вьючно-верховое оленеводство с верховым седлом и стремянами, доение, нет пастушеской собаки, не используется маншик).

Статья Левина и Василевич, посвященная типам оленеводства, явилась по существу первой работой, где была предпринята попытка решить проблему происхождения оленеводства, привлекая всю совокупность данных, характеризующих отдельные его типы. Факты, приведенные в обоснование указанной гипотезы Левина — Василевич, исключительно ценны. Однако, констатируя различия саянского и забайкальского (тунгусского или сибирского) типов оленеводства и ставя вопрос о генезисе оленеводства в целом, гипотеза Левина — Василевич не разъясняет происхождения различий саянского и забайкальского типов оленеводства, хотя эти различия весьма существенны. Так, если саянские оленеводы, как отмечалось выше, садятся на оленя слева, пользуются жестким верховым седлом, аналогичным конскому, применяют стремяна, то народы с тунгусским (забайкальским или сибирским) типом оленеводства (эвены, эвенки, орочи, оленные якуты, долганы и др.) садятся на оленя справа, не знают стремян, как правило, пользуются седлом с примитивным деревянным остовом и мягкими кожаными подушками и ездят с посохом.

Если бы в способах посадки, седлания и т. п. различия существовали не только между оленеводами, но и между коневодами-тюрьками и коневодами-монголами, то происхождение подобных различий саянского и забайкальского типов оленеводства могло бы найти объяснение в рамках рассматриваем-

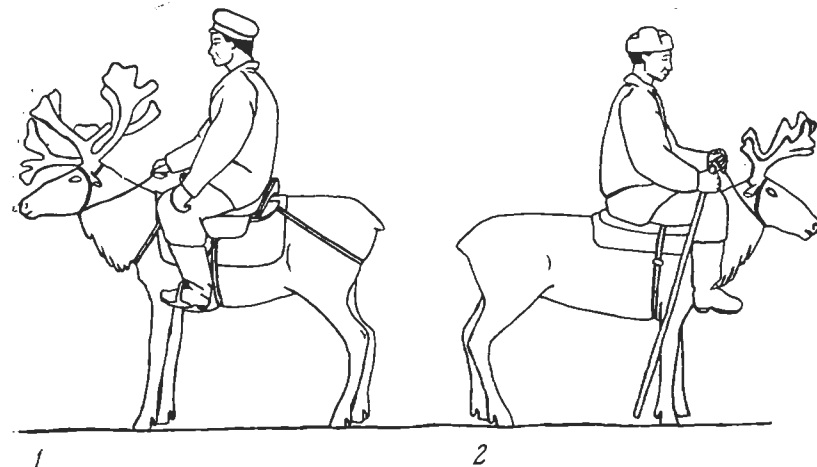


Рис. 9. Верховая езда на оленях:

1 — саянский способ; 2 — тунгусский способ

мой гипотезы. Между тем именно у коневодческих народов евразийских степей способы посадки на коня, формы упряжи и т. п. существенно не отличались. Например, все коневоды издавна садились на коня только слева, а основные нововведения в конской упряжи распространялись среди этих народов с поразительной быстротой. Изменения в упряжи происходили главным образом в процессе ее развития от более ранних форм к более поздним [Вайнштейн, 1966в].

Для разработки интересующей нас проблемы очень важно установление хронологических рамок развития тех или иных форм оленеводства.

Василевич и Левин на основе материалов, которыми они располагали, пришли к заключению, что «первоначальное транспортное использование оленя было под выюк и седло» [Василевич и Левин, 1951, 87]. Соглашаясь с Левиным и Василевич в том, что упряжное оленеводство было весьма поздней формой, нельзя не указать на ошибочность их предположения (как и других исследователей данной проблемы), что вьючное и верховое оленеводство возникли одновременно.

В 1956 г. на основе изучения саянского типа оленеводства с привлечением материалов по тунгусскому оленеводству мной была выдвинута концепция о первичности вьючного оленеводства [Вайнштейн, 1956в, 7; его же, 1960]. Эта гипотеза была поддержана позднее В. И. Васильевым, который показал, что когда энцы расселялись по Северу, они были знакомы только с вьючным, но не знали верхового оленеводства [Васильев, 1962, 73—74]. К аналогичной точке зрения на осно-

вании материалов тунгусского оленеводства фактически пришла и Г. М. Василевич [Василевич, 1964, 7].

Прежде чем остановиться на проблеме происхождения саянского типа оленеводства, следует указать на необходимость различать два вопроса, один из которых касается происхождения оленеводства в Саянах, а другой — происхождения саянского типа оленеводства, характеризующегося целым рядом указанных выше специфических особенностей. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют сделать вывод, что если оленеводство в Саянах возникло еще в древности, то его саянский тип сложился сравнительно недавно, не ранее XIV в.

Может показаться, что против этого утверждения свидетельствуют находки деревянных изображений оленей в изгребениях таштыкской культуры, однако заметим, что на этих фигурках оленей нет изображений верховых седел, в то время как узда, напоминающая конскую, но несколько усложненная (на этом мы остановимся ниже), показана очень тщательно. Эти фигуры оленей могут рассматриваться лишь как одно из доказательств существования оленеводства на рубеже нашей эры, но отнюдь не обязательно верхового, так как вьючные олени также имеют узду (что, конечно, не исключало возможности кратковременных поездок на олене верхом без специального верхового седла).

Не могут противоречить выводу о позднем появлении саянского верхового оленеводства и те изображения человека, сидящего на олене, которые встречаются на сибирских петроглифах. Такое изображение имеется, например, на упомянутой выше Боярской писанице в Минусинской котловине, которую с известным основанием можно датировать рубежом нашей эры. Правда, М. П. Грязновым было высказано сомнение в реальности изображенного в упомянутом петроглифе явления. Он писал: «Только в изображениях религиозного назначения, каким несомненно является Боярская писаница, в силу пережитков тотемистических представлений реально существующие, хозяйственно осваиваемые животные могли условно претворяться в иные образы, в данном случае в оленей» [Грязнов, 1933, 44]. Для такого заключения есть определенные основания, однако мы склонны вместе с исследователем этой писаницы М. А. Дэвлет видеть в рассматриваемых петроглифах отражение реального быта населения, знакомого с оленеводством.

В то же время нельзя признать правомерным сделанный М. А. Дэвлет вывод, что показанное на писанице стадо оленей, сопровождаемых человеком верхом на олене, доказывает будто бы распространение в Саянах верхового оленеводства уже в то время, когда этот сюжет был выбит на скале [Дэвлет, 1965, 169, 170]. Делая такое заключение, М. А. Дэвлет, по

всей вероятности, была незнакома с тем, что пастух мог ехать верхом на олене и тогда, когда верхового оленеводства (главным признаком которого является специальное верховое седло) еще не существовало. Сибирская этнография дает нам много примеров езды верхом у тех групп оленеводов, у которых было лишь вьючное оленеводство, например у энцев, некоторых групп эвенков и др.

Самым ранним, не вызывающим сомнений свидетельством существования верхового оленеводства у предков тувинцев, как и у других саянских народов, является упомянутое выше сообщение русского посла Василия Тюменца, относящееся лишь к XVII в. Более ранние источники XIII в. говорят лишь о вьючном использовании оленей для транспортных целей таежным населением Саян. Так, Рашид ад-Дин, довольно подробно описывая быт лесных племен Саян и прилегающих к ним территорий, говорит о вьючном использовании оленей (горных быков), но ничего не сообщает о верховом оленеводстве [Рашид-ад-дин, 1952, 124]. Это подтверждается также в упомянутом выше свидетельстве «Юань-ши», где сообщается об использовании в XIII в. ханьхэна — таежными жителями Восточной Тувы — домашних оленей как вьючных животных, но ничего не говорится о верховом оленеводстве, хотя и приведены, казалось бы, второстепенные сведения о быте оленеводов (доение оленей, виды растений, употребляемых в пищу, и т. п.) [Юань-ши, гл. 63].

Обратимся к материалам по оленеводству тувинцев и их предков, которых, как уже отмечалось выше, ряд исследователей считал первыми оленеводами Евразии, не приводя, впрочем, в обоснование этого предположения достаточной аргументации.

Возникает вопрос, могли ли Саяны быть районом древнейшей domestikации оленя. Имеющиеся материалы позволяют ответить на этот вопрос утвердительно. В пользу такого вывода свидетельствует не только то, что здесь сохранилась реликтовая саянская форма дикого северного оленя, причем и в древности ареал его расселения включал этот район, но и то, что северные олени саянской (карагасской) породы являются самыми одомашненными и отличаются, по признанию специалистов, большей способностью к приручению, чем все другие породы северных оленей [Машковцев, 1940; Карцелли, 1925].

По свидетельству тувинцев и тофаларов, и сейчас, хотя и очень редко, бывают случаи одомашнивания диких саянских оленей, в то время как исследователи решительно отвергают возможность приручения даже маленьких оленят тунгусами [Маак, 1887, 154]. Указанные обстоятельства в сочетании с наиболее древними сведениями о существовании оленеводства именно в Саянах, а также рассматриваемые ниже факты, свидетельствующие о распространении оленеводства

из Саян в другие районы Северной Азии, представляются нам очень важными аргументами в пользу предположения о первоначальности domestikации оленя в Саяно-Алтайском районе, причем, разумеется, в его таежной зоне.

В литературе, посвященной проблеме происхождения оленеводства, господствует точка зрения о том, что в Саянах оленеводство возникло под влиянием тюрко-скотоводов. А. Н. Максимов, например, склонялся к мнению, что оленеводство возникло «в качестве временного суррогата у какого-нибудь тюркского или монгольского племени, потом опять отказавшегося от оленеводства в пользу разведения крупного рогатого скота и лошадей» [Максимов, 1928, 33]. Он же полагал, что самодийцы восприняли оленеводство в Саянах и затем распространили его на Север. Близки к этой точке зрения и Г. М. Василевич и М. Г. Левин, полагавшие, что самодийские группы саянской тайги развили оленеводство «под влиянием их тюркоязычных соседей-скотоводов» [Василевич и Левин, 1951, стр. 87].

Не исключая полностью такой возможности, мы все же считаем эту гипотезу маловероятной не только из-за отсутствия доказательств для ее обоснования, но, прежде всего, потому, что нет надобности искать традиции животноводства непременно в тюрко-монгольской среде, относя самодийцев к исконно таежным племенам охотников и рыболовов. Уместнее было бы предположить, опираясь на ряд имеющихся данных, что первоначально саянское оленеводство возникло именно в самодийской среде без непосредственной связи с тюрко-монголами. При этом необходимо заметить, что традиции скотоводства могли существовать и у самодийских народов, зона формирования которых, по-видимому, лежала к востоку от Иртыша до верховьев Енисея и включала не только таежные, но и степные районы. Жившие в степях самодийские группы во II тысячелетии до н. э. были знакомы со скотоводством в отличие от родственных им племен, населявших тайгу, главным занятием которых были охота и рыболовство [Чернецов, 1963].

Передвижение карасукских и тагарских племен в Южной Сибири, и в частности в Минусинской котловине, привело к вытеснению степных самодийцев вначале, по-видимому, в подтаежные районы, а затем и в тайгу. Можно полагать, что на границе таежных и степных районов имели место тесные контакты степных и лесных групп самодийцев; возможно, они даже жили в одних поселениях в условиях полуоседлого быта. Наиболее вероятно, что именно здесь имела место domestikация оленя и его заимствование племенами лесных самодийцев. Нельзя исключить, что первоначально олень использовался только на мясо. Впрочем, известное распространение имеет и другая точка зрения, разделяемая, в частности,

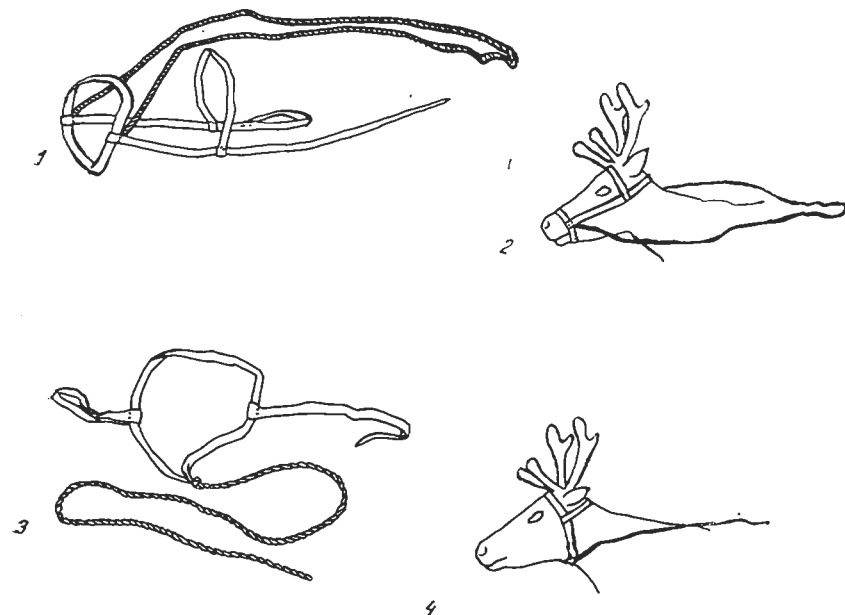


Рис. 10. Древние и современные олени недоуздки:
1 — древний олений недоуздок; 2 — способ его использования (реконструкция автора); 3 — современный олений недоуздок у тувинцев-тоджинцев и тофаларов; 4 — способ использования современных оленьих недоузтков

С. А. Токаревым [Токарев, 1958, 421], согласно которой первоначально олень использовался как транспортное животное. Эта гипотеза имеет определенные основания, так как таежные народы очень берегут транспортных оленей и почти не забивают их на мясо. Думается все же, что такое отношение к оленю у жителей тайги возникло лишь на сравнительно позднем этапе, когда развилось транспортное использование оленя и были оценены все связанные с этим преимущества. Наш взгляд подтверждают приводимые Г. М. Василевич материалы по оленеводству некоторых таежных тунгусских групп, у которых «олень — живое мясо» («кормленные» олени по терминологии XVII в.), причем важно отметить, что такое отношение к оленю Василевич наблюдала как раз там, где транспортное использование оленя не получило достаточного развития [Василевич, 1964, 4].

Можно полагать, что вместе с дальнейшим продвижением в тайгу самодийских групп, знакомых со скотоводством и domestikцировавших оленя, постепенно развивалось его транспортное использование под вьюк. Оленеводство не было четко отделено от скотоводства, и, вероятно, некоторое время оба хозяйственных типа сосуществовали. Этим, очевидно, можно объяснить загадочную на первый взгляд картину по-

селка на знаменитой Большой Боярской писанице [Дэвлет, 1965, рис. 3], где мы видим рядом крупный и мелкий рогатый скот, свойственный степнякам, и стада оленей — обитателей тайги.

На этом этапе еще не была известна современная оленья узда, точнее недоуздок, состоящий из петли (обороти) на морде и назатылочного ремня, к которым прикрепляется один конец ремня-повода. Такой недоуздок с небольшими вариантами характерен ныне для всех оленеводов Евразии. Оленья узда в то время еще подражала конской, несколько, впрочем, усложненной за счет перемещения подбородочного ремня и дополнения затылочного ремня, как это мы видим на оленях из Сырского чаатаса. При этом повод отходил не от лобной части обороти, как у современного оленьего недоуздки, а от места скрепления ремней переносья и подбородочного, т. е. в передней части морды, подобно конскому поводу. Такое «конское» расположение повода устанавливается по уникальному наскальному изображению всадника на олене, датируемому рубежом нашей эры и расположенному на Сыынчюрекской писанице в Туве [Вайнштейн, 1958, 226; его же, 1971а, рис. 5].

Конструкция специализированного оленьего выючного седла, известного нам по современным этнографическим материалам, также, очевидно, была изобретена далеко не сразу. Вероятно, вначале специального выючного седла еще не было и его заменяло примитивное приспособление из шкур и веток, укреплявшихся на спине оленя, быть может, в какой-то мере сходного с древним лопарским выючным седлом, описанным Шеффером [Scheffer, 1967, 217—218]. Нечто подобное иногда использовали и тувинцы-олeneводы, когда не было выючного седла. У некоторых групп подкаменно-тунгусских и верхнеленских эвенков и поныне выючное седло иногда заменяется куском сложенной шкуры [Василевич, 1969, 98].

Этот этап в развитии оленеводства хронологически может быть связан с I тысячелетием до н. э., т. е. с тем временем, когда происходили крупные перемещения населения в Южной Сибири и племена скотоводов степей продвигались в тайгу. У нас нет никаких оснований связывать фиксируемые здесь археологические культуры скотоводов эпохи бронзы и скифского времени с тюркской этнической средой, так как проникновение тюрков в Присаянье, по-видимому, имело место не ранее последних веков I тысячелетия до н. э.

В I тысячелетии н. э. продолжается освоение оленя для транспортных целей (под выюк). Вероятно, к тому времени уже было известно специальное выючное седло, появилась и упомянутая выше упрощенная форма оленьего недоуздки. Оленеводство становится специализированной формой скотоводства, связанной с развитием хозяйственно-культурного типа охотников-олeneводо-в тайги, и получает широкое распро-

странение в таежной зоне. Самодийское население Саян частично покидало этот район, переселяясь на север, вынуждаемое к этому давлением продвигавшихся сюда тюркских групп, которые вызвали также движение кетских племен в Саянах. Однако, как позволяют судить имеющиеся источники, заселявшие саянскую тайгу тюркские группы сохраняли еще в I тысячелетии н. э. коневодческие традиции и не были знакомы с оленеводством, известным в самодийской среде.

Эту точку зрения, как нам кажется, подтверждает ряд фактов. Так, например, этнически родственные уйгурам племена туба (дубо), жившие в саянской тайге, во второй половине I тысячелетия н. э. оленеводства не знали. «Тан-шу» рисует туба как таежных жителей-конево-дов [Бичурин, 1950, т. I, 349], и никаких упоминаний об их оленеводстве в «Тан-шу» нет (между тем известно, что многие факты из быта туба, приводимые в «Тан-шу», подтверждаются этнографическими материалами). Раскопанные нами в восточносаянской тайге (Тоджа) поминальные каменные курганы, по всей вероятности относящиеся к племенам туба, включают кости лошадей и совершенно не содержат костей оленей [Вайнштейн, 1956а, 33—41]. О правомерности вывода, что самодийцы развили оленеводство в собственной этнической среде, а не под влиянием тюрко-конево-дов, может свидетельствовать такой крайне важный факт, как полное отсутствие в самодийской оленеводческой терминологии тюркских заимствований, в то время как у позднейших тюрко-олeneводо-в мы находим самодийские параллели.

Другой наш вывод, что продвигавшиеся на Север самодийские племена были знакомы с выючным седлом, но не знали верхового, также находит свое подтверждение в ряде фактов. Так, сохранились ненецкие предания о том времени, когда человек ходил за оленями, но на них не ездил. Одно из таких преданий приводит В. Н. Чернецов [Чернецов, 1935, 126]. Г. Д. Вербов, побывавший у лесных ненцев в 30-е годы, пришел к выводу о существовании у них выючного оленеводства, но не отметил верхового. Селькупам также было известно выючное оленеводство. По данным Г. Н. Прокофьева, их оленеводство отличалось от тунгусского, они знали выючные седла *паксат*⁴ (ср. ненецкое название выючного седла *похосов*), но у них не было верховой езды [Прокофьев, 1928, 100].

Это, конечно, не исключает, как мы уже указывали, использования в отдельных случаях оленя с выючным седлом для кратковременной верховой езды. Вероятно, этим можно объяснить сообщение И. Георги о том, что «самоеда» ездят на оленях верхом [Георги, 1799, 8], а также сообщение Г. Д. Вербо-ва о том, что он застал у лесных ненцев, не знавших верховых седел, стариков, помнивших о езде верхом на оленях [Вербов, 1936, 64].

На рубеже I и II тысячелетий нашей эры начался третий этап в развитии саянского оленеводства — освоение его тюркскими народами под влиянием самодийцев, находившихся с ними в тесном контакте.

На большую древность оленеводства в среде самодийцев-оленоводов по сравнению с тюрками-оленоводами указывает, в частности, сопоставление их народных календарей. В календаре тувинцев-оленоводов, основанном на годовом хозяйственном цикле, нет никаких указаний на связь с оленеводством [Вайнштейн, 1961, 66—68], а в календарях самодийских народов, в том числе ненцев, такая связь определенно имеется, причем в названиях отдельных месяцев имеются даже прямые указания на домашнее оленеводство. Например, ненцы называют один из месяцев *ты ниць*, что значит «месяц отела домашних оленей» (*ты* — домашний олень) [Хомич, 1966, 39].

Тюркские племена коневодов, продвигаясь и осваивая саянскую тайгу, заимствовали у лесных племен вместе с оленеводством некоторые элементы их оленеводческой культуры, в особенности те части упряжи и способы пастьбы и содержания оленей, которые существенно отличались от известных в практике коневодства. К таким заимствованиям может быть отнесен, например, своеобразный «башмак», надевавшийся на ноги оленям и неизвестный коневодам. Как уже говорилось, его тюркское название у тоджинцев и тофаларов является, по-видимому, искаженной формой самодийского названия.

На этом этапе тюрки-коневоды внесли в заимствованное у самодийцев оленеводство ряд новых черт. Важенки начали доить³, а позднее перенесли на оленя навыки верховой езды и начали использовать для этих целей жесткое конское седло со стремянами. Заключение о том, что доение оленей началось лишь на тюркском этапе развития саянского типа оленеводства, можно сделать на основании известного факта отсутствия доения оленей у самодийских народов.

Процесс освоения тюркскими народами оленеводства отражен в ряде терминов, сохранившихся в языке саянских тюрко-оленоводо-в. Уже отмечалось, что тувинцы называют ездового оленя «куудай», т. е. «серый конь»; у тофаларов важенка называется «инген», что в ряде тюрко-монгольских языков означает «верблюдица». Число подобных примеров можно было бы увеличить. Все термины, связанные с седлом, у тюрко-оленоводо-в тюркские и, как указывалось, само верховое седло **аналогично конскому**; что же касается вьючного оленьего седла, то оно имеет специфические особенности, отличающие его от применяемого коневодами. Учитывая это, можно назвать тип вьючного седла саянских оленеводов самодийским, а верхового — тюрко-монгольским.

У саянских оленеводов, как известно, бытует еще один вид

седла — седло эримээш с крестообразными луками, предназначенное для перевозки детей в колыбели. Вопрос о происхождении этого седла у саянских оленеводов достоин особого внимания, поскольку оно распространено только у тувинцев-оленоводо-в, тофаларов и дархатов-оленоводо-в и в отличие от остальной упряжи, связанной с верховой ездой, не имеет параллелей у соседних скотоводческих тюрко-монгольских народов. Такого седла нет ни у степных тувинцев, ни у хакасов, бурят или монголов, ни у других оленеводческих народов Сибири. Более того, и у тувинцев-оленоводо-в и у тофаларов оно применялось только как оленье седло, но не использовалось для перевозки детей на лошадях, хотя у обоих народов есть наряду с оленями лошади, и верховые седла употребляются одновременно как оленьи и как конские.

Все это, казалось бы, позволяло считать эримээш реликтом древних форм оленеводства, не имеющим прямых связей с коневодством и возникшим независимо от него. Однако изучение форм седла у других народов Евразии позволило найти параллели эримээш, как это ни парадоксально, у скотоводов Средней Азии — киргизов, а также некоторых групп казахов. Детское верховое конское седло киргизов и казахов также состоит из двух плоских деревянных полок, перекрещивающихся составных деревянных луков с округлыми наверху и скрепляется кожаными ремешками. Оно и называется «айырмач» у киргизов, «арчак» у казахов.

Народы, населяющие пространства, которые отделяют саянских оленеводов от киргизов и казахов, — степные тувинцы, алтайцы, хакасы — не знают такого седла. Чем же можно объяснить столь любопытное этнографическое явление?

Конвергентное развитие в данном случае исключено, так как конструкция седла совпадает даже в отдельных, не несущих функциональной нагрузки деталях. Следовательно, остается предположить, что в прошлом, допуская заимствования, эти седла имели, был контакт, допускавший заимствования. В настоящее время саянских оленеводов и среднеазиатских киргизов и казахов разделяет огромное расстояние. Однако в прошлом, как свидетельствуют исторические источники, предки среднеазиатских киргизов жили на Енисее в непосредственном соседстве с племенами Саян. Енисейские киргизы (хягасы) имели контакты с таежным населением Саян, а следовательно, вполне возможно, что это седло также ведет свое происхождение от культуры коневодов-тюрков. То обстоятельство, что такое седло не известно ни одному из самодийских народов, наводит на мысль, что оно получило применение в оленеводческой среде лишь вместе с освоением оленеводства тюрками.

Рассмотренные нами источники позволяют прийти к выводу, что переход от вьючного к вьючно-верховому оленеводству,

ву произошел у таежного населения Саян в период между XIV и XVI вв. Вероятно, к XVI в. уже сложились все основные характерные для саянского типа оленеводства черты, известные нам по современным этнографическим материалам.

В литературе, как уже отмечалось, высказывалось предположение, что саянское и тунгусское оленеводство имеют общее происхождение. Этот взгляд поддерживал А. Н. Максимов, исходивший, как, впрочем, и другие авторы, лишь из факта территориальной близости юго-западных эвенков и саянских оленеводов [Максимов, 1928]. Точку зрения о едином саяно-алтайском очаге происхождения домашних оленей разделял и Н. И. Вавилов. Этот взгляд отражен на карте мировых центров одомашнивания животных, подготовленной Н. И. Вавиловым в связи с его докладом о центрах происхождения культурных растений и домашних животных на Совещании по вопросам происхождения домашних животных, организованном АН СССР в марте 1932 г.⁶

Противники этой моноцентрической гипотезы, не без оснований указывая на весьма существенные различия саянского и тунгусского оленеводства, отрицали какую-либо возможность их генетической связи. Действительно, различия между этими двумя типами очень велики. Саянские оленеводы садятся на оленя слева, тунгусские — справа; жители Саян кладут седло на середину спины оленя, тунгусы — на его лопатки; в Саянах используют сходное с конским верховое седло со стременами, тунгусские оленеводы пользуются совершенно иным по конструкции верховым седлом и не знают стремя; заметно отличаются у них и выючные седла. У саянских оленеводов ноги при езде опущены и носок ведет в стремя, у тунгусских бедро покоится на седле; первые сравнительно редко пользуются посохом, вторые — почти постоянно. Наконец, саянские оленеводы не знают нартенной упряжки, которая распространена у некоторых тунгусских групп. Есть и другие отличия.

Наиболее решительно против концепции единого центра происхождения оленеводства в Сибири выступили Г. М. Василевич и М. Г. Левин [Василевич и Левин, 1951]. Различия саянского и тунгусского типов оленеводства привели их к выводу, что оба типа возникли независимо один от другого, причем особенности первого развились под влиянием коневодов-тюрок, а второго — под влиянием коневодов-монголов. Взгляды Г. М. Василевич и М. Г. Левина получили широкое распространение и признание у современных этнографов.

Предпринятое нами сравнительное изучение саянского и тунгусского (сибирского)⁷ типов оленеводства показало недостаточную убедительность указанной концепции. Выше уже было отмечено, что различия между этими типами нельзя объяснить особенностями влияний коневодов-тюрок и конево-

дов-монголов, так как коневодство этих народов, судя по археологическим, письменным и этнографическим материалам, не различалось существенно ни в период возникновения оленеводства, ни позднее.

В нашем исследовании мы исходили из того, что если древнейшее саянское и тунгусское оленеводство были генетически связаны, а выючное использование оленя предшествовало верховому, то такая связь должна прежде всего обнаружиться в сходстве конструкций выючных седел как наиболее древних. И действительно, сравнительно-типологическое изучение седел показало, что между саянскими и тунгусскими верховыми седлами в конструктивном отношении имеются принципиальные отличия, а в устройстве выючных седел таких различий нет, несмотря на резкое несходство их внешнего вида. Оказалось, что ленчики выючных тунгусских седел (их остов) конструктивно почти идентичны ленчикам выючных седел саянского типа, что делает весьма вероятным их общее происхождение. Как в саянском, так и в тунгусском типах выючных седел ленчики состоят из двух изогнутых лук с отверстиями на концах, через которые пропускаются кожаные ремешки, служащие для скрепления лук с плоскими полками. Полки же имеют подпрямоугольную форму и делаются из тонких дощечек. Различие заключается лишь в том, что в седлах тунгусского типа полки ленчиков либо помещаются в мешок, либо плотно обшиваются, а в саянских такая обшивка отсутствует.

Это вторичное, с нашей точки зрения, различие может, казалось бы, отражать иное происхождение тунгусского выючного седла и указывать на его генетическую связь не с саянским выючным оленьим седлом, а с древним мягким верховым конским седлом, состоявшим из двух сшитых мешков-подушек, которое известно нам по древним изображениям и находкам в Пазырыкских курганах Алтая, датируемых скифским временем [Руденко, 1953, рис. 99]. Впервые на это сходство обратил внимание М. П. Грязнов, который писал, что современное седло долган (оно заимствовано у эвенков и относится к тунгусскому типу. — С. В.), употребляемое ими для езды на оленях, можно считать переходным типом от мягкого седла к конскому с жестким остовом. Седло долган также (как и у коневодов скифского времени. — С. В.) состоит из двух подушек, но внутри подушек имеется твердая основа в виде двух параллельных, прочно скрепленных друг с другом досок [Грязнов, 1950, 57]. Точка зрения Грязнова позволила предположить, что седла тунгусского типа были заимствованы предками эвенков у коневодов, которым такое «переходное» седло было известно в период от рубежа нашей эры (ранее применялось мягкое седло без какого-либо деревянного остова) до VI в., когда конское верховое седло

приобретает известные нам формы, существенно отличающиеся от указанного вьючного седла [Вайнштейн, 1966].

Данная гипотеза, которую одно время поддерживал автор настоящей работы, исходит из предположения, что верховое конское седло «переходного типа», существовавшее в первой половине I тысячелетия н. э., было сходно с рассматриваемым вьючным седлом. Детальный анализ убедил нас в ошибочности такого заключения, так как формы верхового конского седла с полками из подпрямоугольных дощечек, по нашим данным, появились лишь во II тысячелетии н. э. К тому же эти седла использовались со стременами и без какой-либо обшивки полок. Единственное известное по раскопкам седло из Ноин-Улы, относящееся к рубежу нашей эры, сохранилось лишь фрагментарно, тем не менее совершенно очевидно, что оно не имело полок: внутри его подушек проходило несколько квадратных в сечении палочек, концы которых укреплялись в отверстиях деревянных лук [Руденко, 1962, 49, 50, табл. XXIV, рис. 3]⁸. Следовательно, седло из Ноин-Улы имело иное устройство ленчика, чем рассматриваемые вьючные седла тунгусского типа. Конские седла «переходного» типа с полками из плоских дощечек, обшитых мешком, ни в одном археологическом комплексе обнаружены не были, и это заставляет нас отказаться от гипотезы М. П. Грязнова.

Можно было бы допустить, что вьючное седло с полками в мешках, как и оленеводство, появилось у предков эвенков независимо от саянского очага одомашнивания оленя где-то в отдаленных районах Сибири, за пределами бассейна Енисея и Прибайкалья. Однако и от этого предположения приходится отказаться, так как именно в верхней части бассейна Тунгусок и Лены, т. е. недалеко от Саян, сохранилось древнее вьючное седло рассматриваемого типа, а верховое оленеводство осталось почти неизвестным. Именно это обстоятельство позволяет считать данный район областью древнейшего тунгусского оленеводства. В пользу генетической связи тунгусского и саянского оленеводства может свидетельствовать и почти полное тождество конструкции специфических оленьих недоуздов, состоящих из петли-обороти, к которой пришивались два кожаных ремешка (их завязывали на затылке за рогами). Такие недоуздки употребляются как саянскими, так и тунгусскими оленеводами. Как уже отмечалось, древнейшие саянские недоуздки имели иную, более сложную конструкцию, о которой можно судить по таштыкским фигурам оленей из Хакасии [Кызласов, 1960] и сынычюррекскому изображению всадника на олене из Тувы, найденному нами среди петроглифов на горе Сыын-Чюрек [Вайнштейн, 1971а]. Этот сложный древний олений недоуздок бытовал, судя по двум упомянутым изображениям, на рубеже нашей эры. Следовательно, если сходство тунгусского недоуздка с со-

временным саянским объясняется его заимствованием (а это наиболее вероятно), то такое заимствование относится, очевидно, к тому времени, когда уже сложился упрощенный тип саянского недоуздка, т. е. не ранее начала нашей эры.

Важно отметить, что в настоящее время недоуздки всех оленеводов Евразии имеют конструктивное сходство⁹. Это, с нашей точки зрения, объясняется их генетической связью и тем, что они ведут свое происхождение из одного очага. Мы видим, что саянское и тунгусское оленеводство имеют много сходных черт, среди которых можно отметить помимо уже упомянутых доение оленей и полное тождество одного из видов берестяных сосудов, применяющихся при доении¹⁰. Важнейший вопрос заключается, таким образом, в том, могли ли в древности существовать между жителями Саян и тунгусскими группами реальные контакты, без которых вопрос о генетической связи рассматриваемых типов оленеводства был бы беспредметным.

Известно, что территория распространения тунгусского населения к приходу русских в XVII в. включала Присаянье: эвенки обитали по рекам Белой, Китою и, возможно, в верховьях Иркуты; верхненские эвенки периодически проникали в Саяны [Долгих, 1960, 304—305]. В русских документах XVII в. встречаются указания о том, что тунгусы с верховьев Лены ходили в Саяны и вступали в различного рода контакты с местными жителями [ЦГАДА, ф. 1121, ст. 107, л. 4; ст. 144, л. 23; ст. 171, л. 123—128; ст. 182, л. 28]. У нас нет оснований сомневаться в том, что эти контакты имели место и задолго до прихода русских. Более того, можно полагать, что в древности территория расселения предков эвенков простиралась до восточного Присаянья.

По сведениям Ю. Д. Талько-Грынцевича, отореченные эвенки-хамисганы, согласно преданию, пришли в места их нынешнего обитания с Саян, где они были соседями восточных тувинцев [Талько-Грынцевич, 1904]. Археологические данные также свидетельствуют, что уже в неолитическую эпоху зона формирования тунгусов включала, вероятно, и Восточные Саяны, где в раскопанной нами Тонмакской стоянке найден инвентарь [Вайнштейн, 1956а], имеющий параллели с Прибайкальем и даже стоянками верхнего Вилюя, и где ныне у местного населения сохранился катангский антропологический тип, столь характерный для западных эвенков. С другой стороны, самодийцы, как не без оснований полагает А. П. Окладников [Окладников, 1957], вероятно, уже в неолите проникли в Саяны и, оттеснив тунгусов, вклинились в Прибайкалье. О пребывании самодийцев в Прибайкалье свидетельствует ряд фактов, и в частности то, что ряд прибайкальских топонимических наименований разъясняется из самодийских языков.

Исследованиями М. Г. Левина установлена антропологическая близость тувинцев-оленоводов, тофаларов и западных эвенков, объединенных одним катангским типом байкальской расы [Левин, 1954]. Эти выводы Левина нашли подтверждение в антропологических исследованиях Ю. Г. Рычкова [Рычков, 1961]. Сходные результаты, указывающие на древние этнические связи современного таежного населения Саян и тунгусов, получены Рычковым и на основе анализа групп крови у тофаларов и западных эвенков [Рычков, 1965].

О том, что тунгусо-саянские связи имели место и в сфере культуры, говорит, в частности, определенное сходство в традициях шаманизма у саянских и тунгусских народов, ярким примером которого может служить тунгусский нагрудник, сохраняющийся в шаманском одеянии тувинцев-тоджинцев и тофаларов [Вайнштейн, 1964]. Нетрудно заметить также сходные черты в конструкции и общность некоторых названий восточнотувинского и эвенкийского чума [Вайнштейн, 1969а].

Однако в рамках предлагаемой гипотезы моноцентрического происхождения оленеводства необходимо все же найти причину реальных различий в оленеводстве саянского и тунгусского типов. Для этого надо вернуться к вопросу о выючных седлах. Как уже отмечалось, их ленчики сходны, но выючные седла тунгусского типа в отличие от саянских имеют более толстые (за счет обшивки) полки. К тому же для тунгусского типа характерно седлание на лопатки оленя, а для саянского — почти на середину спины. Почему и каким образом могли возникнуть эти различия?

Биологи, изучавшие северного оленя, единодушно отмечают, что, чем севернее он обитает, тем он мельче. Неоднократно проделывались опыты по переселению домашних саянских оленей в другие районы Сибири, и уже вскоре их потомство мельчало. Известный советский специалист в области оленеводства И. В. Друри писал по этому поводу: «С перемещением на постоянное содержание в другую зону олень (домашние.—С. В.) быстро акклиматизируются и экстерьер их меняется в направлении, характерном для типичных местных оленей этой зоны» [Друри, 1955, 36]. И. В. Друри приводит следующие сравнительные данные по экстерьеру домашних оленей: быки саянских домашних оленей Иркутской области, где живут тофалары, имеют в среднем длину туловища 120,4 см, быки оленей на северо-востоке Сибири — 105,5 см; то же соотношение характеризует ширину груди и другие показатели экстерьера; вес соответственно равен 152,7 и 93 кг. На территории расселения тунгусских групп данные по экстерьеру домашних оленей значительно ниже, чем у саянских [Друри, 1955, 35].

Таким образом, отмеченные нами различия были обуслов-

лены изменением экстерьера саянского оленя в новых экологических условиях. Это изменение вызвало необходимость переместить седло с середины спины на лопатки. А стремление предохранить лопатки оленя, находящиеся в движении, потребовало использования более мягких (помещенных в мешок или обшитых) полок ленчика.

В наши дни древнее выючное седло с полками, обшитыми в виде мешка, сохранилось лишь у эвенков Прибайкалья и бассейна Нижней и Подкаменной Тунгусок — на юго-западе тунгусского ареала, у долган — на северо-востоке, у эвенков и части якутов — на северо-западе [ИЭАС, 53, карта]. У большинства же народов этого огромного ареала — от низовьев Енисея на западе до Охотского побережья на востоке — распространена поздняя, упрощенная плотная обшивка полок.

Возникает вопрос, почему тунгусское название выючного оленьего седла *эмэгэн* созвучно монгольскому названию конского седла *эмээл* и не значит ли это все же, что выючное оленье седло было заимствовано тунгусами у коневодов-монголов. Так считают М. Г. Левин и Г. М. Василевич [Василевич и Левин, 1951, 85], но согласиться с их мнением нельзя. Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что у монголов *эмээл* означает только верховое седло и сбрую для верховой езды, а у тунгусов *эмэгэн* — выючное седло (у тех же тунгусских групп есть и верховое седло, носящее другое название). Мы полагаем, что перенесение на выючное оленье седло названия верхового конского седла монголов объясняется тем, что еще до освоения оленеводства тунгусские группы, жившие в Прибайкалье, имели лошадей и пользовались верховыми седлами. Их приобретали у монгольских племен, территория расселения которых еще в древности включала лесные районы и, вероятно, достигала Прибайкалья. Это объясняет и некоторые другие терминологические параллели между оленеводством эвенков и коневодством монголов, в том числе совпадение тунгусского и монгольского названия лошади. Нельзя не согласиться с Г. Н. Румянцевым, который, ссылаясь на факт древних связей тунгусских языков как с самодийскими, так и с монгольскими, отмечал, что местом, где предки самодийских, тунгусских и монгольских племен находились в непосредственном соседстве, могло быть только Прибайкалье, так как далее к востоку от Байкала никаких следов пребывания самодийских племен нет [Румянцев, 1962]. О том, что лошади достаточно регулярно попадали от степных скотоводов к лесному населению Прибайкалья в процессе обмена задолго до возникновения оленеводства, свидетельствуют находки в этом районе костей домашних лошадей в ряде могильников с характерным для таежного неолита инвентарем, синхронным ранней бронзе степных районов [Сосновский, 1933].

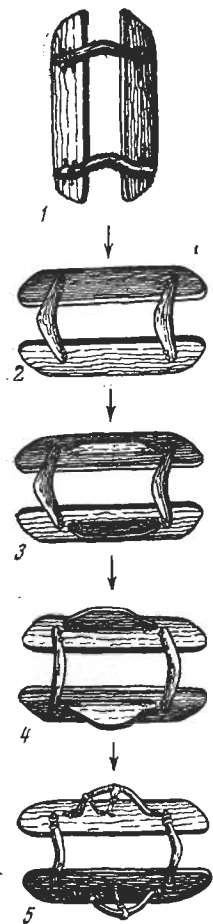


Рис. 11. Ленчики оленьих седел и их эволюция: 1 — ленчик саянского вьючного седла; 2 — ленчик тунгусского вьючного седла (енисейские эвенки); 3 — ленчик верхового тунгусского седла «с планками»; 4 — 5 — ленчики верховых тунгусских седел «с крылышками»

Более чем вероятно, что тунгусы, восприняв у саянских самодийцев оленья и вьючное седло, стали называть последнее словом, которым они прежде называли конское седло.

Сравнительно-типологическое изучение особенностей саянского и тунгусского оленеводства позволило нам прийти к заключению, что не только отмеченные ранее, но и все прочие имеющиеся различия можно объяснить в рамках моноцентрической гипотезы происхождения оленеводства.

Начнем с различия саянских и тунгусских верховых седел. Исследование конструкций вьючных и верховых седел тунгусского типа привело нас к совершенно неожиданному выводу, что все разновидности верховых оленьих тунгусских седел восходят не к конскому верховому седлу, как предполагалось, а к вьючному оленьему, которое в свою очередь имеет общую с саянским вьючным седлом конструкцию ленчика. Наиболее простой формой тунгусского верхового седла может считаться седло, распространенное у витимо-олекминских эвенков: по конструкции ленчика оно почти ничем не отличается от вьючного седла. Следующим этапом развития седла было седло с выступами по бокам для бедер, которые как бы заменили собой спорадически применявшиеся ранее опоры для бедер всадника, состоявшие из подвешенных по обе стороны вьючного седла небольших вьючных сум. Реликт этого древнего способа езды на вьючном седле поныне сохранился у енисейских эвенков, не знающих верховых седел. Старики и большие вешают по обеим сторонам вьючного седла сумы и садятся поверх них, причем бедра достаточно удобно покоятся на вьючных сумах. Этот способ был

остроумно закреплен в конструкции верхового седла, где вдоль средней части полков по обе стороны седла прикреплялись планки, которые затем обшивались. Следующим этапом усовершенствования седел было применение на полках планок

с овальным выступом в середине (что более удобно при верховой езде), и, наконец, эти боковые «крылышки» полков начали делать более легкими и прочными в виде изогнутых дужек с подпорками, так что седла получили в специальной литературе наименование седел с крылышками.

Наша гипотеза вполне объясняет существующие различия в типах оленеводства, за исключением одного — различия в способах посадки на оленя. Напомним, что саянские оленеводы салятся на оленя слева, а тунгусские — справа. Это очень существенное различие М. Г. Левин и Г. М. Василевич пытались объяснить тем, что саянские народы заимствовали оленеводство у коневодов-тюрок, а тунгусские — у коневодов-монголов. Однако, как уже отмечалось, их точка зрения не выдерживает критики, так как между тюрками и монголами, как и другими коневодами Евразии, различий в способах посадки не было — все они садились на коня только слева.

У оленеводов Саян посадка на оленя слева сохраняла традицию коневодства тогда, когда была освоена верховая езда в седле со стремянами (аналогичном конскому). Вероятно, и ранее, когда на саянского оленя садились лишь изредка, способ посадки был таким же. У тунгусских же народов при посадке на оленя, более слабого, чем саянский, а также при верховой езде почти постоянно пользуются посохом. Но посох, разумеется, большинству людей удобнее держать в правой руке, а следовательно, садиться на оленя удобнее справа. Постепенно посадка справа стала традиционной для оленеводства тунгусского типа. Заметим, что в саянском оленеводстве (у тувинцев-тоджинцев и тофаларов) посох также употребляется, но лишь немногими и спорадически.

Так могут быть объяснены различия между саянским и тунгусским типами оленеводства, которые, как мы видим, не противоречат концепции единого саянского очага одомашнивания оленя. Вместе с тем необходимо отметить, что тунгусское оленеводство было, по всей вероятности, связано с саянским лишь на раннем этапе своего развития, а позднее его формы складывались независимо, что и объясняет те существенные различия между саянским и тунгусским типами вьючно-верхового оленеводства, которые мы наблюдаем. Несомненно, что повсеместно вьючное использование оленей предшествовало не только верховому, но и упряжному оленеводству. Вполне вероятно, что у некоторых тунгусских групп уже на раннем этапе развития оленеводства, возможно тогда, когда еще не возникло верховое оленеводство, были сделаны попытки передвигать ручные нарты с помощью оленя. Сохранилось свидетельство китайских источников о народе увань (или гуй, гяй), жившем, по-видимому, в Северном Забайкалье. В «Тан-шу» говорится: «... у них нет ни овец ни лошадей. Содержали оленей как домашний скот; кормили

их мохом и впрягали в телеги» [Бичурин, 1950, т. I, 350]¹¹. Это сообщение относится к VII в. н. э.; его достоверность, особенно если учитывать и другие приведенные в нем бытовые сведения, не вызывает сомнений. К еще более раннему времени относятся сведения (хотя и менее достоверные) о существовании оленеводства где-то в восточной части Северной Азии в конце V в. В некоем государстве Фусан, сообщает со слов буддийского монаха китайская хроника «Нань-ши» (499 г.), жители запрягают оленей в телегу, а из молока их делают кумыс [Бичурин, 1950, т. II, 47].

Указанные сведения об оленеводстве приведены среди ряда сообщений явно фантастического характера, однако мы не можем не учитывать их. Заметим, что у некоторых тунгусских групп нартенное оленеводство — явление весьма позднее, возникшее в XVIII—XIX вв. Нельзя не согласиться с Г. М. Василевич, что эвенки тундры и лесотундры (к северу от Нижней Тунгуски) творчески приспособили к условиям тайги нарту самодийского типа, заменив веерную упряжку парной [Василевич, 1969, 101].

Мы не имеем достаточно надежных источников для определения на основе выдвинутой нами концепции хронологических рамок возникновения оленеводства у тунгусов. Тем не менее можно полагать, что оленеводство у тунгусских групп возникло не ранее рубежа нашей эры (ибо нет никаких данных, которые бы позволяли говорить о существовании в более раннее время вьючного седла у саянских оленеводов, у которых оно было, по нашему мнению, заимствовано тунгусами) и не позднее середины I тысячелетия н. э., когда об оленеводстве, по-видимому, тунгусских групп, имеются сведения в китайских источниках. Следовательно, наиболее вероятная дата — первые века нашей эры.

Таким образом, изучение седла — одного из важнейших атрибутов тунгусского оленеводства — позволяет проследить эволюционный ряд, исходным районом которого можно считать Южное Прибайкалье, примыкающее к Саянам. Вопрос о том, шло ли распространение оленеводства от Саян на восток вместе с продвижением тунгусских групп по Сибири или оно происходило в среде уже расселившихся по огромной территории Северной Азии тунгусоязычных племен, нельзя решить только на основе имеющихся материалов. Однако наиболее вероятно, что тунгусы расселялись по Сибири в основном уже тогда, когда у них существовало оленеводство.

Как известно, по вопросу о путях расселения тунгусоязычных народов в Сибири существуют две основные гипотезы. Одна из них, выдвинутая А. П. Окладниковым, исходит из того, что древнейшее население Прибайкалья, известное еще по неолитическим памятникам, было тунгусским, и расселение тунгусов по Сибири шло в основном из этого района

[Окладников, 1950; его же, 1955а; его же, 1968]. Другую гипотезу сформулировал М. Г. Левин, который, критикуя взгляды Окладникова, считал наиболее древними в Сибири юго-восточных тунгусов, расселившихся, по его мнению, из занятой ими зоны на запад и север. В связи с этим Левин считал, что проникновение тунгусов в район Прибайкалья относится к сравнительно позднему времени и что они ассимилировали там дотунгусское население. Для обоснования своей точки зрения Левин использовал различные виды источников, главным образом антропологического характера [Левин, 1958].

Важное значение Левин придавал также оленеводству тунгусов, с которыми он связывал их расселение по Сибири. «Широкое расселение тунгусских племен по Сибири, — писал М. Г. Левин, — было связано с возникновением и развитием у них оленеводства, первоначально появившегося у тунгусских групп горных районов Забайкалья — Приамурья под влиянием копеневодства» [Левин, 1958, 60].

Однако выводы М. Г. Левина об этногенезе тунгусов не являются общепринятыми. Так, Ю. Г. Рычков убедительно показал, что катангский антропологический тип, генетически связанный с древним населением бассейна Енисея и распространенный вплоть до Саян, принимал очень широкое участие в формировании антропологических особенностей различных тунгусских популяций. Рычкову удалось проследить катангский тип в составе тунгусов вплоть до Охотского побережья [Рычков, 1961, 242—263]. Выводы Рычкова не противоречат возможности расселения тунгусов из бассейна Енисея и Прибайкалья на восток.

Гипотеза о Южном Прибайкалье как древней родине тунгусов принимается и Г. М. Василевич [Василевич, 1964, 9]. Однако, признавая это положение, Г. М. Василевич выступила против той господствующей в науке точки зрения о расселении тунгусов по Сибири на стадии оленеводства, которую разделяли многие советские исследователи, в том числе В. Г. Богораз, А. П. Окладников, М. Г. Левин [Богораз, 1927, 44; Окладников, 1955, 9—10; Левин, 1958, 300]. Г. М. Василевич считает вслед за А. Золотаревым [Золотарев, 1938, 80—83], что Сибирь была заселена тунгусами на доленеводческой стадии развития хозяйства, и делает вывод о первичности расселения по тайге тунгусов. Первоначально это были пешие охотники, заселившие значительную часть Сибири [Василевич, 1964]; к более позднему времени относится расселение оленных охотников. При этом Г. М. Василевич включает в один «эвенкийский тип» оленеводства как древнейших кочевых охотников-оленьеводов Прибайкалья, верхней Лены и бассейна Тунгусок, так и совершенно безоленьевых тунгусов Охотского побережья, которых Левин справедливо считал отунгусшенными палеоазиатами с оседлым бытом и хозяйст-

вом, основанным на рыболовстве и морском зверобойном промысле [Левин, 1958, 300]. В другой тип оленеводства, «ороченский», Г. М. Василевич включает тунгусов, знакомых как с выючно-верховым оленеводством, так и с использованием оленя в нартенной упряжи, т. е. здесь также объединяются различные по характеру развития оленеводства группы населения.

Принятая Г. М. Василевич концепция А. Золотарева о том, что Сибирь была заселена тунгусами на доолениводческой стадии, с нашей точки зрения, недостаточно аргументирована. Впрочем, и сама Василевич, отказавшись от гипотезы об одновременном возникновении выючного и верхового оленеводства и согласившись с выдвинутой нами теорией о выючном оленеводстве как форме, предшествующей верховому оленеводству, тем самым фактически опровергает собственное положение о заселении Сибири на доолениводческой стадии.

Таким образом, мы не видим серьезных причин отказываться от точки зрения, согласно которой эвенки осваивали бескрайние просторы сибирской тайги на оленеводческой стадии. Вместе с тем вполне вероятно, что в то время, когда древнейшее выючное седло и олень были освоены тунгусами Прибайкалья, предки эвенков расселились вплоть до бассейнов Подкаменной и Нижней Тунгусок на северо-западе и верховьев Вилуя на северо-востоке. Не исключено, что еще на доолениводческой стадии отдельные группы тунгусов проникли в низовья Енисея, где поныне топонимика Таймыра хранит тунгусские названия [Долгих, 1952, 68]. Возможно также, что тунгусы проникали на Крайний Север уже на стадии освоения оленеводства, незадолго до продвижения сюда самодийских групп, частично вытеснивших тунгусов, а частично и ассимилировавших. С тунгусами, ассимилированными самодийцами, Б. О. Долгих связывает группу тидирисов в составе нганасан [Долгих, 1952, 86].

Не имея возможности более подробно говорить об этом, укажем лишь, что, очевидно, древнейшая форма тунгусского оленеводства с выючным седлом, полки которого были заключены в мешок, прежде всего была воспринята тунгусами на освоенных уже ими ранее землях и лишь затем начала распространяться вместе с движением по сибирской тайге «окрыленных оленями» (по меткому выражению В. Богораз) тунгусских групп.

Коротко остановимся на вопросе о происхождении упряжного (нартенного) оленеводства в тундрах Северо-Западной Сибири. Эта тема достаточно глубоко разработана в трудах М. Г. Левина и Г. М. Василевич, связавших упряжное оленеводство Северо-Западной Сибири с саянским районом одомашнивания оленя. Вполне обоснованным представляется вывод, что здесь собачья упряжка предшествовала олен-

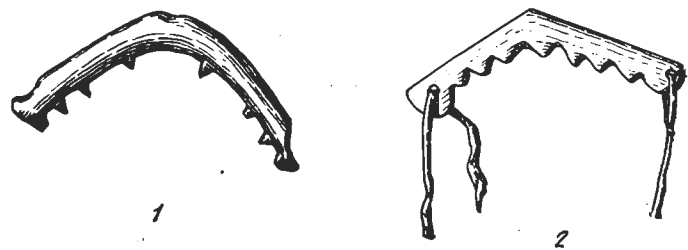


Рис. 12. Костяные наголовники оленя:

1 — наголовник оленя-манщика, найденный в Усть-Полуе (1 тысячелетие до н. э., по В. И. Мошинской); 2 — современный наголовник для тренировки оленя у эвенков (по Г. М. Василевич и М. Г. Левину)

ной [Василевич и Левин, 1951, 79]. В целом этот вывод не вызывает возражений, тем более что археологическими исследованиями доказано существование в низовьях Оби упряжного собаководства уже в I тысячелетии до н. э. [Мошинская, 1953, 84—86]. Однако хотелось бы внести некоторые уточнения, относящиеся к разрабатываемой нами проблематике. На наш взгляд, спорадическое использование оленя под верх без знания верхового оленеводства вряд ли могло оказать влияние на развитие форм упряжного оленеводства. М. Г. Левин и Г. М. Василевич не учли и определенные традиции, возникшие у аборигенного населения северной тундры в связи с содержанием прирученного оленя-манщика со свойственной ему «упряжью». Между тем несомненно, что в тундровой зоне Евразии древнейшей формой domestikации оленя было приручение оленя-манщика. Эта форма возникла, вероятно, очень рано, во всяком случае уже в I тысячелетии до н. э., и была широко распространена, но долгое время, очевидно, ограничивалась приручением отдельных особей. Поэтому мы считаем вероятным, что в развитии упряжного оленеводства сыграли роль не только навыки продвинувшихся в тундру групп таежного населения с выючным оленеводством и знакомство арктического населения с собачьей упряжкой, но также и определенная генетическая связь между древней «упряжью» оленя-манщика и современным нартенным оленеводством. Особенно большой интерес в этом отношении представляют находки костяных наголовников оленя-манщика в памятниках устьполуйской культуры на нижней Оби, датируемых второй половиной I тысячелетия до н. э. [Мошинская, 1953, табл. II], — факт, к сожалению, не отмеченный исследователями проблемы генезиса упряжного оленеводства. Весьма важно, что эти наголовники аналогичны недоузкам для тренировки оленей в нартенной упряжке, применяемым большинством оленеводческих народов Севера — чукчами, коря-

жами, нганасанами, долганами, некоторыми группами эвенков и эвенами¹².

Вопрос о носителях той древней культуры, или, скорее, нескольких культур, на базе которых после продвижения на север самодийских групп возникло упряжное оленеводство в Северо-Западной Сибири, до последнего времени не решен окончательно. Мы не будем останавливаться на этой проблеме, тем более что ей посвящена обширная литература [см.: Долгих, 1964; Чернецов, 1964]. Можно с большой долей вероятности предполагать, что по крайней мере в отдельных районах тундры до распространения упряжного оленеводства жило население, для которого важную роль играла охота на диких оленей и которому были известны и олень-манчик и собачья упряжка.

Значительный интерес вызывает вопрос о возможной связи лопарского и саянского оленеводства. В своих исследованиях Г. М. Василевич и М. Г. Левин пришли к выводу, что оленеводство лопарей имеет генетические связи с оленеводством самодийских народов [Василевич и Левин, 1951, 69—81], а следовательно, и с саянским оленеводством. Указанные авторы отмечают, что керейка, которую многие исследователи рассматривали как доказательство различия лопарского и самодийского оленеводства (К. Виклунд, А. Н. Максимов и др.), в действительности свидетельствует о связях оленеводства этих народов. В прошлом, как показали М. Г. Левин и Г. М. Василевич, керейка была известна ненцам как в собачьей, так и в оленьей упряжках [Василевич и Левин, 1951, 82], а корытообразная ручная нарта, сходная с керейкой, применялась ранее не только лопарями, но и охотничьими народами вплоть до Саян, где она была известна камасинцам¹³. Общим для лопарского и самодийского оленеводства является также способ пропускания потяга между задними ногами оленя и применение пастушеской собаки. К этому следует добавить, что поводок у лопарей проходит слева.

Противники возможных связей лопарского и самодийского оленеводства указывают, что наличие у лопарей выючного оленеводства свидетельствует о его более высоком развитии (К. Виклунд, Г. Нелеман и др.). Нам представляется, что изложенный выше материал показывает ошибочность этого мнения. Нельзя, конечно, не отметить действительно существующее принципиальное отличие выючного седла лопарей от подобного седла саянских и самодийских народов. Лопарское седло состоит из двух слегка изогнутых дощечек, скрепленных в верхней части с помощью выступа на одной доске и отверстия на другой и связываемых под животом оленя; груз крепится с помощью ремней. Это отличие выючного седла лопарей от саянского, казалось бы, служит очень существ-

ственным аргументом против связи саянского и лопарского оленеводства. Однако у лопарей существовало и более примитивное устройство, заменявшее выючное седло. О нем мы можем судить по описанию Шеффера, который отмечает, что обыкновенные еловые ветки кладутся на потник и связываются над спиной и под животом оленя [Scheffer, 1675]. Между тем и у саянских оленеводов, в особенности на промысле, выючное седло иногда могли заменить сложенная шкура и несколько веток, привязанных к потнику. Не исключено, что лопарское седло в известных нам формах восходит именно к такому примитивному устройству.

В последнее время в литературе была высказана мысль о древнем родстве протосаамов с самодийцами, восходящем к I тысячелетию до н. э. [Аристэ, 1956; Керт, 1971]. В традициях шаманизма лопарей и саяно-алтайских народов найдены поразительные параллели [Прокофьева, 1961], а лопарский чум имеет черты сходства с жилищем кетов и селькупов.

Учитывая поздний характер развития оленеводства у лопарей, сравнительно позднее проникновение самодийцев-олeneводов в Сибирь и существенные различия в оленеводстве лопарей и ненцев (в частности, в формах выючного седла саянского и лопарского типов), можно высказать предположение, что первоначально лопари заселяли значительно более восточные, чем теперь, территории. В их среду попали продвинувшиеся по границе леса и тундры небольшие группы лесных ненцев¹⁴, которые были знакомы с ранними формами выючного оленеводства. Такие группы, оторвавшиеся от своих соплеменников и проникшие далеко на северо-запад, возможно, еще в I тысячелетии н. э. вошли в контакт с лопарями и были ассимилированы ими. Впоследствии оленеводство лопарей пошло по пути, независимому от оленеводства самодийского населения европейского Севера: в частности, развились самобытные формы седла, доения и другие особенности. В конечном счете развитие лопарского оленеводства под воздействием саянского очага одомашнивания оленя представляется весьма вероятным.

Таким образом, рассмотренные выше материалы свидетельствуют в пользу моноцентрической гипотезы происхождения оленеводства в Евразии. Доместикация оленя в самодийской среде в Саянах (около рубежа нашей эры) положила начало постепенному распространению выючного оленеводства у других народов Евразии, прежде всего у тунгусов. У евразийских народов позднее в процессе развития исходных форм сложились различные типы оленеводства, генезис которых выходит за рамки нашего исследования.

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОЧЕВЫХ СКОТОВОДОВ

ИЗ ИСТОРИИ СРЕДСТВ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОЧЕВНИКОВ ТУВЫ. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ФОРМ ЖЕСТКОГО СЕДЛА СО СТРЕМЕНАМИ

В скифское время у ранних кочевников Саяно-Алтая лошадь служила важнейшим транспортным средством, причем ее использовали не только под верх, но и в упряжи. В ту эпоху больших передвижений и усилившихся хозяйственно-культурных и этнических связей степных и горно-степных племен лошади придавалось особенно важное значение прежде всего как транспортному животному. Об этом, в частности, свидетельствует возникновение на огромных пространствах степного пояса Евразии обычая хоронить вместе с умершим сородичем его ездового коня для сопровождения в потусторонний мир, мыслившийся как подобие земного. Захоронения вместе с человеком коня в I тысячелетии до н. э. известны у многих евразийских племен, живших в сходных условиях раннекочевнического хозяйственно-культурного типа — на Алтае, в Казахстане, низовьях Сырдарьи, Поволжье и Причерноморье; есть они и в Туве.

Конь становится постепенно мерилom знатности и богатства. Это отражено во многих курганах скифского времени, где представители высшей степной аристократии были похоронены в сопровождении множества ездовых лошадей. Такие погребения раскопаны и среди скифских памятников Причерноморья, и на Алтае, где в вечномерзлых, заполненных льдом камерах Пазырыкских курганов трупы разномастных коней почти не были потревожены временем, и в Туве, где в знаменитом огромном кургане Улуг-Хорум у с. Уюк вместе с похороненными знатными вождями раннекочевнических племен были найдены 84 лошади и великолепные принадлежности конского убора [Грязнов, Маннай-оол, 1972]. Впрочем, в отличие от Алтая погребения коня с человеком не характерны для абсолютного большинства по крайней мере рядовых погребений в Туве этого времени.

Многочисленные находки принадлежностей конского убора ранних кочевников, в том числе населявших Туву, позволяют с достаточной полнотой реконструировать конскую упряжь скифского времени. Узда состояла из налобного и подшейного ремня, а также ремней оголовья и переносья. Удила были двусоставными со стремевидными (ранний тип) и круглыми концами. Употреблялись псалии, главным образом роговые и бронзовые. Найденные в Туве удила и другие предметы конской упряжи аналогичны распространенным в это время на Алтае и в других районах степного пояса Евразии.

На коня, как и позднее, садились только слева. Мы не можем разделить предположение М. П. Грязнова, что в скифское время садились на коня с правой стороны [Грязнов, 1950, 58]. Этому противоречит — на что обратил внимание еще С. И. Руденко — то обстоятельство, что (судя по упряжи того времени) узду одевали с левой стороны и с левой же стороны располагался чумбур. То, что большинство людей правши, а не левши, видимо, послужило причиной посадки на коня слева.

Седла не имели деревянной основы и были мягкими. О форме и устройстве седла скифского времени можно достаточно хорошо судить по многим сохранившимся изображениям, а также по великолепным находкам в Пазырыкских курганах [Руденко, 1953, 161]. Оно состояло из потника, двух кожаных подушек с деревянными дужками по краям, подпруги, нагрудного и подхвостного ремня (европейские скифы употребляли седло и без подхвостного ремня, на Чертомлыкской вазе он не изображен). Стремья не было, а предположение ряда исследователей, поддержанное в последнее время Г. Кларком, А. П. Смирновым и др. [Кларк, 1953, 307; Смирнов, 1966, 153], что уже в скифское время существовали стремяна или заменявшие их кожаные петли неверно. Стремяна в погребениях скифского времени не встречаются. Ошибка исследователей вызвана, видимо, тем, что на копиях Чертомлыкской вазы, в том числе на экспонируемой в Государственном историческом музее в Москве, оседланный конь на фризе вазы показан со стремевидной петлей, которой нет на подлиннике (Государственный Эрмитаж). На подлиннике вазы эта часть подпруги выполнена тонкой пластинкой в форме ремня, верхний конец которой припаян к вазе, а нижний свободно свисает.

Для транспортных целей применялись также волю, об этом, в частности, свидетельствуют находимые в курганах модели ярма. Из сообщений античных авторов известно, что волю были важным транспортным животным у причерноморских скифов [Гиппократ, 25]. Возможно, что для перевозки выюков и под верх использовались также верблюды и

яки, но прямых свидетельств тому имеющиеся источники не дают.

Племенам Саяно-Алтая в скифское время были известны колесницы. Одна из них найдена в Пазырыкских курганах Алтая. Колесницы в Туве и сопредельных районах Центральной Азии были известны еще в эпоху бронзы, о чем свидетельствуют их изображения в Туве [Формозов, 1969, рис. 36—2] и Монголии [Волков, 1967, рис. 33—2].

В гунно-сарматское время, т. е. в конце I тысячелетия до н. э. и первые века н. э., средства передвижения местных племен почти не изменились. В конской упряжи сохранялось мягкое седло без стремян, узда с двусоставными удилами и псалиями. Об отсутствии стремян свидетельствует то, что ни в одном археологическом комплексе гунно-сарматского времени ни в Азии, ни в Европе они не были найдены, в том числе в погребениях гуннов, хотя там многократно находили конскую упряжь (удила, остатки мягких седел и др.). Тот факт, что стремяна не встречаются в погребениях гунно-сарматского времени, находится в полном соответствии с довольно многочисленными изображениями всадников, которые могут быть датированы этим временем [см.: Вайнштейн, 1966в] и на которых стремян нет.

Седла гуннов неизвестны. В Кенкольском могильнике (Киргизия) найдена лука седла гунно-сарматского времени, слабо выгнутая и узкая [Бернштам, 1940, табл. XXXVI], имеющая сходство с пазырыкской и явно предназначенная для мягкого седла. В курганах Ноин-Улы в Монголии сохранились две пары небольших деревянных луков, соединявшихся между собой палочками. С. И. Руденко считает их луками выючных седел [Руденко, 1962, 49]. Но по всей вероятности, это остатки верхового седла с мягкими кожаными подушками, внутри которых находились деревянные планки, делавшие седло более прочным.

О форме седла гунно-сарматского времени в Восточной Азии можно судить, в частности, по ханьской погребальной статуэтке оседланного коня [EBFC, рис. 7]. В центре седла отчетливо изображено углубление, характерное для мягких седел, по краям седла — две сравнительно невысокие луки.

На основании свидетельств китайских источников и материалов археологических раскопок можно полагать, что гунны знали как легкие двухколесные повозки, в которые впрягались лошади, так и телеги с четырьмя массивными колесами, влекаемые быками [Руденко, 1962, 50—51]. Гунны, как и местные горно-степные племена Тувы, по-видимому, не знали лодок. Судя по одному из сообщений китайских источников, гунны пользовались надувными плотами из кожи [Бичурин, 1950, т. I, 125]. Вероятно, не было лодок и у скотоводческих племен, населявших эти районы ранее —

в скифское время. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на тот любопытный факт, что наскальные изображения лодок в горно-степных районах Тувы пока ни разу не встречены, хотя уже выявлены тысячи петроглифических рисунков. В то же время в таежных районах Сибири, в частности на Ангаре, известны их многие изображения.

Для племен Тувы гунно-сарматского времени уже не было характерно погребение коня вместе с человеком, но это вряд ли отражало уменьшение роли коня в жизни раннекочевнических племен сынчюрексской культуры, как, впрочем, нельзя объяснять отсутствие коней в большей части казылганских погребений менее подвижным, чем на Алтае, бытом оставившего их населения. Таежные племена Тувы в это время начинают использовать для перевозки выюков олений транспорт.

На рубеже V—VI вв. в конской упряжи произошли крайне важные усовершенствования, сохранившиеся в основных чертах до новейшего времени. Мы считаем возможным датировать этим временем изобретение стремян как опоры всадника во время движения, связывая их распространение в это время от Кореи и Китая до восточноевропейских степей с влиянием древнетюркской культуры. С VI в. стремяна встречаются на огромной территории евразийских степей, причем древнейшие, твердо датированные находки стремян или изображений, где ноги всадника при движении коня показаны упирающимися в стремя, всюду — от Венгрии до Китая, Кореи и Японии — относятся ко второй половине VI в. [см.: Вайнштейн, 1966в, 62—69]. В Китае наиболее древняя находка погребальных статуэток всадников со стремянами (ноги всадника в стремянах) относится к 582 г. [см.: Ван Юй-цин, 1966, рис. 21—26]. Первое упоминание стремян в европейских письменных источниках относится к концу VI в. [см.: Маврикий, 1903, 17]. Ряд китайских археологов считают, что конская упряжь, включающая стремяна, проникла к китайцам от северных кочевников [Лю Хань, 1959, 97]. Если учесть, что во второй половине VI в. северокитайские государства являлись фактически данниками Тюркского каганата, то этими северными кочевниками были тюрки-тугю. Авары, которые принесли в VI в. стремяна в Европу, также заимствовали их, по-видимому, от тугю.

Одно из ранних изображений всадника со стремянами известно в росписи гробницы Муёнчхон в Северной Корее. Гробницы с росписями, к сожалению, не имеют точной датировки и их обычно относят к IV—VI вв. [Джарылгасинова, 1959, 113—119]. Древнейшее изображение стремени на terracottовой фигурке оседланного коня, найденной в Японии, датируется IV—V вв. [Sewell, 1958], однако не исключена и датировка VI—VII вв.¹

Вместе с тем, как будет показано ниже, сам по себе факт находок стремевидных приспособлений (металлических, костяных, ременных и др.) или их изображений, датируемых ранее середины I тысячелетия, еще не может служить основанием для утверждения об их использовании в качестве стремян, т. е. опор для ног всадника во время верховой езды.

Малоубедительными являются утверждения ряда авторов о том, что в памятниках гунно-сарматского времени найдены железные стремяна. Так, Л. Р. Кызласов пишет, что стремяна были известны еще в гунно-сарматское время не позднее III в. н. э., ссылаясь при этом на находки моделей стремян в Минусинской котловине. При этом он вслед за С. В. Киселевым [Киселев, 1951, 517—518] полагает, что традиция изготовления моделей стремян не существовала позднее [Кызласов, 1960, 140]. Подобную точку зрения нельзя принять, так как, во-первых, упомянутые модели стремян были найдены не в погребальных комплексах, а случайно, и, во-вторых, традиции изготовления моделей стремян, как и других бытовых предметов, сохранялись у народов Южной Сибири вплоть до этнографической современности. Недавно Иштван Эрдей сообщил о находке стремени в гуннском погребении в Монголии, однако найденный им железный предмет столь фрагментарен и деформирован, что определить его принадлежность весьма затруднительно.

Как было мною установлено [см.: Вайнштейн, 1966а], употреблению стремян как опоры всадника при движении лошади предшествовало использование стремевидных приспособлений как левосторонних «подножек» для подъема в седло. Затем двусторонние стремяна использовались, вероятно, лишь как опоры для ног при стрельбе из лука, и лишь позднее они получили свои современные функции. Видимо, стремевидные «подножки», облегчавшие посадку всадника в седло, начали применять в Азии еще в III в. н. э.

Об этом свидетельствуют и чрезвычайно интересные археологические находки в Чанша (Китай), сделанные в гробнице № 21, твердо датированной по штампу на кирпичках (текст штампа гласит: «Сделано в десятый день пятой луны второго года Юн-нин», т. е. в 302 г. н. э.) [МПХ, 85]. В этой гробнице найдено 14 погребальных статуэток оседланных лошадей, тринадцать из них со всадниками. Ноги всех всадников свободно свисают, но у трех из всадников спереди с левой стороны лошади видны треугольные стремевидные приспособления — «подножки» [МПХ, табл. XI—1, XIII—3]. «Подножкой» не пользовались как стремением, так как и у тех всадников, где это приспособление есть, ноги свободно свисают ниже него (оно находится примерно посередине голени всадника). Особенно интересна единственная статуэтка

без всадника, на которой отчетливо видно приспособление для подъема на лошадь, имеющееся только с одной — левой стороны [МПХ, табл. XIII—5].

Из изложенного видно, что ременная или металлическая «подножка», применявшаяся до середины I тысячелетия н. э., не может рассматриваться как стремя, так как она не несла главной функции стремени — упора для ног при езде. Очевидно также и то, что садились на лошадь с левой стороны — обычной, дошедший до наших дней.

О том, что стремяна, даже двусторонние, не сразу начали употребляться в их современной функции, свидетельствуют и изображения всадников в корейских гробницах середины I тысячелетия н. э., где мы видим на древнейших рисунках всадников с ногами, вставленными в стремя, но не опирающимися на их подножку [см.: Пак Джин Ук, 1966, 12, рис. 1].

В известных к настоящему времени древнетюркских погребениях Центральной Азии стремяна появляются в начале второй половины I тысячелетия н. э. Особый интерес в этом отношении представляет Кудыргинский могильник на Алтае. В древнетюркских курганах этого могильника, датируемых VI—VII вв., найдены железные стремяна, но на обкладке луки седла (могила № 9) всадники неожиданно оказались изображенными со свисающими ногами [Гаврилова, 1965, табл. XV, рис. 12, табл. XVI, рис. 1]. Это объяснимо тем, что стремяна лишь начинали входить в употребление, и на рисунках конская упряжь и всадники изображались по старой традиции без стремян.

Есть все основания считать, что стремяна в их современной функции первыми начали *широко* применять алтайские тюрки. При этом следует учитывать не только то, что они были кочевниками-коневодами, проводившими значительную часть жизни в седле, но и то, что у них было высоко развито мастерство добычи и обработки железа. Не случайно в кочевнической среде Центральной Азии они были известны как «плавыльщики» [Бичурин, 1950, т. I, 228]. Вместе с тем на форму стремени, вероятно, повлияли металлические приспособления для посадки в седло, появившиеся ранее в Восточной Азии.

Древнетюркские стремяна представлены двумя основными формами: 1) восьмеркообразной с широким отверстием для ноги и узким для ремня; 2) в виде полуовала, в верхней части которого расположена суженная у основания пластинка с горизонтальным отверстием для ремня (иногда пластинка соединена с остальной частью стремени стерженьком). Стремяна имели широкую подножку. Обе формы существовали в тюркской среде одновременно и были известны также в Европе и Восточной Азии. При общей устойчивости форм в тюркской среде встречаются и их варианты: так, изредка

использовались уплощенные стремяна с отверстием в расплющенной верхней части. В начале II тысячелетия н. э. широкое распространение получают стремяна несколько иной формы — с горизонтальным отверстием в уплощенной дужке.

Стремяна, как правило, делали из железа, в очень редких случаях из бронзы или дерева, причем бронза отнюдь не свидетельствует о древности стремени. Тувинцы, например, в конце XIX — начале XX в. обычно ковали их из железа, но нередко отливали из бронзы, а бедняки пользовались иногда деревянными стремянами. Появление стремени не было изолированным явлением в изменении конской упряжи в древнетюркское время. Оно было непосредственно связано с изобретением седла с твердым остовом. Использование стремени и седла с твердым остовом сделало возможным появление нового оружия — сабли, которая распространилась в древнетюркской среде, по-видимому, еще в начале VII в.

Изобретение жесткого седла и стремени было также крупным событием в истории материальной культуры. Это открытие, в частности, создало возможность преодолевать за короткий срок гораздо большие расстояния, чем прежде, и значительно усилило основу боевой мощи кочевников — ее конницу, что способствовало активизации кочевников в степных просторах Евразии со второй половины I тысячелетия н. э.

В результате проведенных нами раскопок могильника Кокэль в Западной Туве в 1959 г. были обнаружены в разновременных древнетюркских погребениях восемь различающихся по форме верховых конских седел с деревянным остовом. Находки этих седел дали впервые возможность проследить отдельные этапы их развития начиная с древнейших типов [см.: Вайнштейн, 1966в, 60—74], а также позволили внести коррективы в предложенную ранее А. Гавриловой периодизацию типов передней луки седла [Гаврилова, 1956, 84—87, рис. 17].

Найденные в Кокэле седла состоят из деревянных передних и задних луки и двух полок ленчика. По особенностям формы седла делятся на четыре типа. Первый — наиболее ранний — представлен двумя седлами из кургана КЭ—23. Полки ленчика овальные в нижней части. Передняя лука изогнута слабее, чем у седел других типов. Одна из задних луки имеет арочный вырез, у другой его нет. Второй тип представлен двумя седлами из курганов КЭ—6 и КЭ—13. Для полки характерен вырез в нижней передней части. Задняя лука имеет небольшой арочный вырез в верхней части. Третий тип представлен седлом из кургана КЭ—2. Его полки отличаются глубоким вырезом в передней нижней части и небольшим овальным вырезом в задней части, в результате чего образовалась широкая лопасть. Передняя лука не имеет

арочного выреза, на задней луке он отчетливо выражен. Четвертый тип представлен седлами из курганов КЭ—22 и КЭ—47. Полки этих седел имеют глубокие вырезы в передней и задней нижней части, в результате которых лопасть уже, чем у третьего типа. Передняя и задняя луки имеют арочные вырезы с выступами по краям арки. Таким образом, мы видим фактически непрерывную линию развития древнетюркских седел у населения Западной Тувы, соорудивших курганы в могильнике Кокэль вблизи пос. Алды-Ишкин (Ишкин).

Очертания полок седел первого типа имеют еще отдаленное сходство с формой кожаных подушек мягких седел. На Алтае, судя по костяной обкладке передней луки седла из могилы 9 могильника Кудыргэ, седла с передними луками без арочного выреза бытовали в конце VI и в VII в. [Гаврилова, 1965, 85]; однако передняя лука из КЭ—23, также не имеющая арочного выреза, более архаичного облика.

Изгиб передних луки значительно увеличился при переходе от мягких к жестким седлам (от полуовала к арочной форме). На найденном в Кудыргэ (могила 16) древнетюркском изваянии-валуне в нижней части композиции показана лошадь, седло которой имеет луки и овальные в нижней части деревянные полки или подушки (стремья у седла нет). О том, что древнейшие седла были без лопастей, свидетельствуют также довольно многочисленные погребальные статуэтки из Восточной Азии эпохи Шести северных династий (до 618 г.), на которых ни разу не изображены седла с лопастями. Но уже в 30-х годах VII в. начинают пользоваться значительно более усовершенствованным третьим типом седла, у которого деревянные полки в нижней части переходят в широкую лопасть. Именно такие седла были изображены на барельефах гробницы китайского императора Тай Цзуна (627—650), выполненных по его указанию в 637 г. в провинции Шэньси близ столицы Танской империи. Этот тип седел был, по-видимому, заимствован китайцами у тюрков. Примечательно, что воин, вытаскивающий стрелу у раненого коня, изображен в одеянии тюркского облика. К этому типу седел, по-видимому, относится и седло, изображенное на каменной фигуре всадника из кургана близ Бердяиска [ОАК, 1904, рис. 216а, б]. (Подлинник хранится в Государственном историческом музее в Москве.)

Однако и седла второго типа исчезают не сразу, во всяком случае в Восточной Азии они сосуществуют с седлом третьего типа по крайней мере до середины VII в. [ГК, табл. 56].

На Северном Кавказе в склепе Галиатского могильника Е. И. Крупновым было найдено седло третьего типа [ГИМ, колл. № 77 803]. Склеп датируется началом VIII в. [Крупнов,

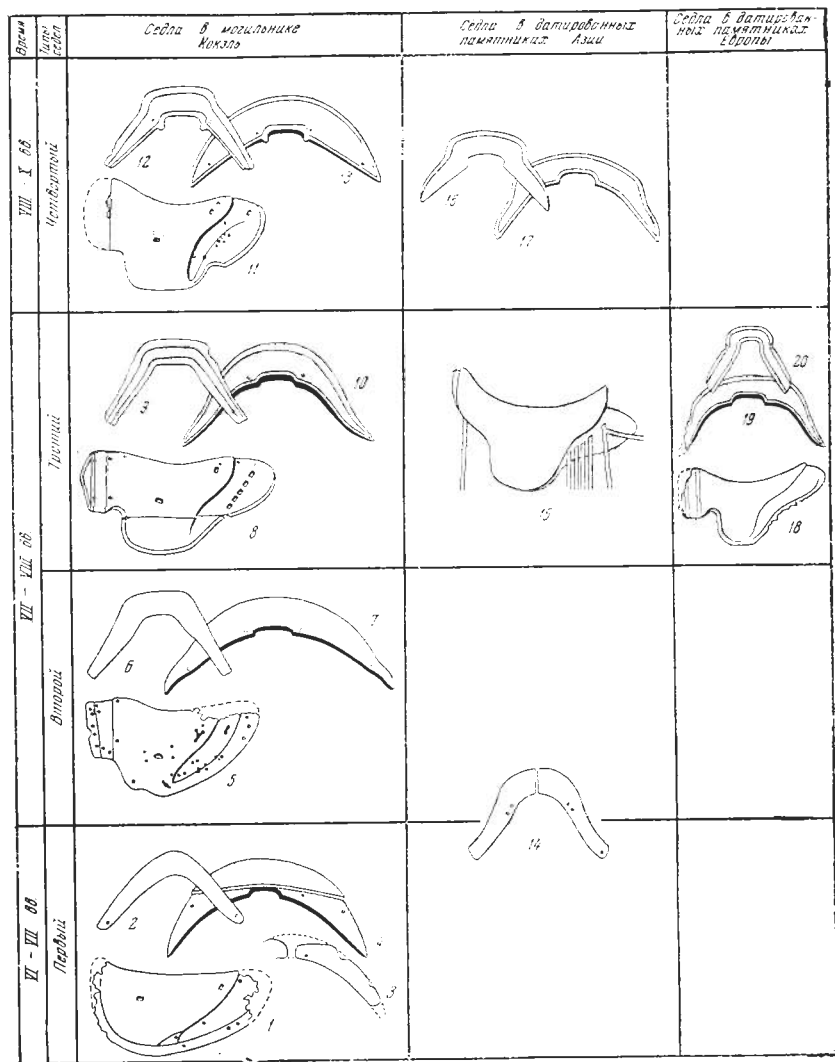


Рис. 13. Эволюция форм седла в VI—X вв.:

1 — полка ленчика, 2 — передняя лука, 3—4 — задние луки (Кокэль, курган № 23, раскопки автора); 5 — полка ленчика (Кокэль, курган № 13, раскопки автора); 6 — передняя лука (реконструкция), 7 — задняя лука (Кокэль, курган № 6, раскопки автора); 8 — полка ленчика, 9 — передняя лука, 10 — задняя лука (Кокэль, курган № 2, раскопки автора); 11 — полка ленчика (Кокэль, курган № 47, раскопки автора); 12 — передняя лука, 13 — задняя лука (Кокэль, курган № 22, раскопки автора); 14 — костяная накладка на переднюю луку, Алтай, Конец VI — начало VII в. (Кудыргэ, могила № 9, раскопки С. И. Руденко и А. Н. Глухова); 15 — седло императора Тай Цзуна, Китай, 637 г. (рис. автора на основе изображений на барельефах гробницы Тай Цзуна); 16, 17 — металлические накладки на переднюю и заднюю луки седла, Китай, 960—961 гг. (из погребения в Жэхэ); 18 — полка ленчика, 19 — задняя лука, 20 — передняя лука, Северный Кавказ, начало VIII в. (из погребения в Галиате, раскопки Е. И. Крупнова)

1938, 116]. Седло, найденное И. В. Синицыным в позднекочевническом погребении в Нижнем Поволжье [Синицын, 1947, 130—131], имеет переходную форму от третьего к четвертому типу. Остатки седел четвертого типа (накладки на передние и задние луки) обнаружены во время раскопок 50-х годов в Северо-Восточном Китае в провинции Жэхэ; они датируются 960—961 гг. [КВ, табл. 108, 109]. К четвертому типу относится также седло, хранящееся в Государственном Эрмитаже [колл. № 30—632], ошибочно датированное XIII—XIV вв. Оно несомненно более раннее.

Седла с лопастями, судя по изображениям на погребальных статуэтках, покрывали кожей и яркими орнаментированными тканями [ТПС, табл. 16]. Изображения на росписях, барельефах и погребальных статуэтках позволяют также установить, что стременной ремень (путлище) располагался у передней луки (впереди нее). Так, на погребальных статуэтках из Восточного Туркестана стременной ремень изображен привязанным к передней части полки седла [Stein, 1928, табл. ХСIII], а на статуэтке эпохи Тан из музея Метрополитен в Нью-Йорке [Hentze, табл. 85a] стременной ремень изображен перекинутым через полку седла перед луками и, видимо, закрепленным там.

Специальных женских седел в начальный период их развития, вероятно, не было. По-видимому, и после появления жесткого седла женщины продолжали еще длительное время пользоваться мягкими седлами. Об этом, в частности, свидетельствует находка в женском погребении могильника Кудыргэ накладки на переднюю луку седла [см.: Гаврилова, 1965, табл. 13, рис. 36], близкую по форме к лукам седел скифского и гунно-сарматского времени. Предположение, что это было мягкое седло, подтверждается тем, что положенный в могилу оседланный конь не имел стремян.

На рубеже первого и второго тысячелетий на основе жестких седел с лопастями и низкими луками вырабатываются новые формы, в которых твердая лопасть повсеместно исчезает (полки в нижней части становятся прямыми, а луки более массивными и высокими). О дальнейшей эволюции свидетельствуют седла из позднекочевнических погребений Тянь-Шаня, позднеаланских (XI—XII вв.) катакомбных могил Северного Кавказа и монгольские седла XIII—XIV вв. На Тянь-Шане седло имеет полки с прямым обрезом в нижней части и более массивные луки [см.: Кибилов, 1957, 3]. Седла из катакомб у станицы Змейской на Северном Кавказе также имеют полки без лопастей и более высокие и массивные передние луки. По находкам остатков седел в змейских катакомбах можно проследить смену форм задних луков на Северном Кавказе в XI—XII вв. Низкие луки, характерные для седел VI—X вв., сменяются более высокими, типич-

ными для поздних седел. В змейских могилах представлены оба типа задних луков [см.: Вайнштейн, 1966в, прим. 79]. Монгольское седло XIII—XIV вв. также имеет полки с прямым обрезом в нижней части, высокую массивную переднюю луку и широкую массивную заднюю. Такое седло найдено С. В. Киселевым в погребении XIII—XIV вв. на р. Хирхира в Забайкалье (хранится в Читинском областном музее, колл. № 8097/7).

О том, как выглядело монгольское седло, дает полное представление статуетка всадника эпохи юаньской династии [ИСПК, рис. 95], а также ряд других изображений [Köhalmi, 1968, fig. 3]. В монгольском средневековом седле, ведущем свое происхождение от древнетюркского, нет твердых лопастей. Их заменяют кожаные лопасти-крылья, под которыми по середине седла проходит путлище. Дальнейшая эволюция монгольского седла привела к той его новой форме, которая поныне сохраняется у монголов и тувинцев. Современные тувинские, как и монгольские седла имеют также богато орнаментированное кожаное крыло — далекий пережиток твердой лопасти седла древних тюрков.

В средние века у племен Тувы определенное транспортное значение имело использование волов, верблюдов и яков. Домашние верблюды изображены на нескольких петроглифах Тувы, в том числе на известной скале Теве-Хая («верблюжья скала»), где показаны как верблюды со всадниками, так и навьюченные животные, ведомые пешими людьми. Яки также неоднократно отмечены среди средневековых петроглифов Тувы. Особенно интересен для изучения средств транспорта караван яков, изображенный на Бижикиг-Хая в Западной Туве [Грач, 1957, табл. XXVIII]. Яки идут нагруженные тяжелыми выюками, помещенными на середине спины; их ведут люди в длиннополной халатообразной одежде.

Таковы были основные способы и средства передвижения кочевых скотоводов в древней и средневековой Туве.

СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КОЧЕВЫХ ТУВИНЦЕВ-СКОТОВОДОВ В XIX—НАЧАЛЕ XX в.

Указанная тема является одной из наименее изученных и почти не освещена в литературе. Между тем ее исследование представляет значительный интерес не только для собственно тувинской этнографии, но и для разработки важной историко-культурной проблемы исторического развития транспортных средств у кочевников.

Основным средством передвижения большинства тувинцев-скотоводов в XIX—начале XX в. был верховой конный

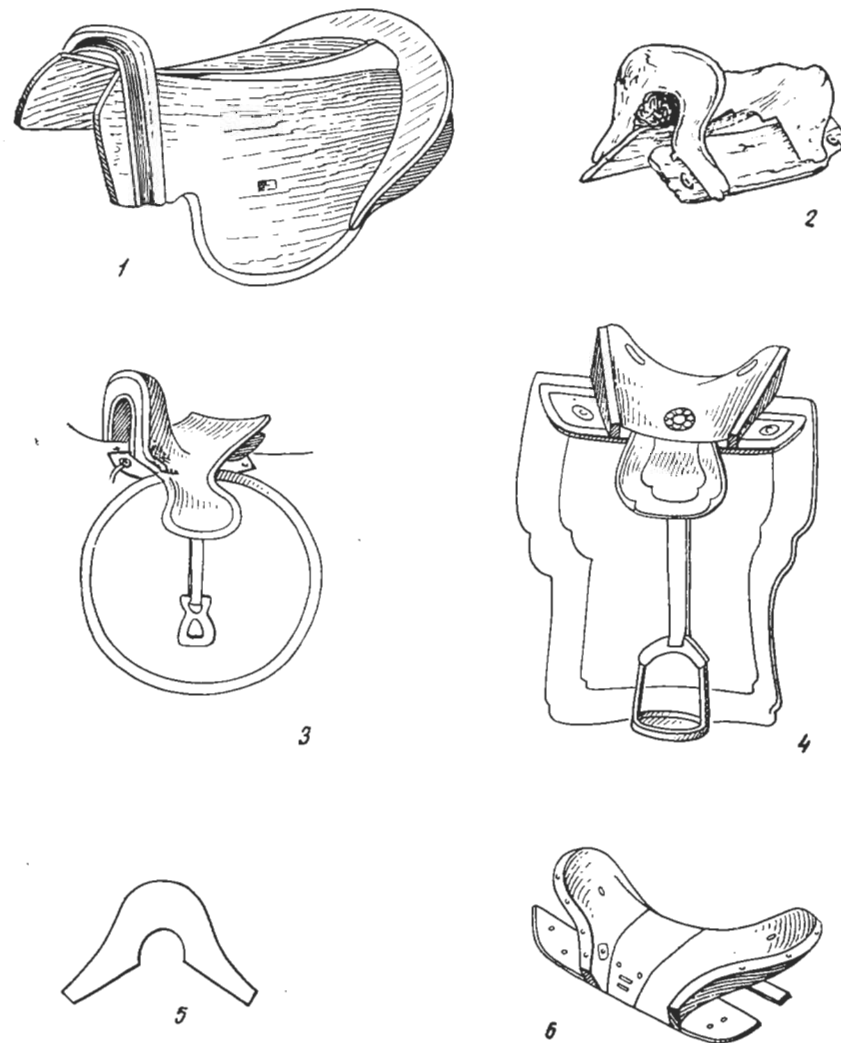


Рис. 14. Генезис современного седла монгольского типа:

1 — деревянный осто́в древнетюркского седла (моги́льник Кокзель, курган № 2, раскопки автора); 2 — деревянный осто́в седла средневековых монголов, XIII—XIV вв. (из погребения на р. Хирхира, раскопки С. В. Киселева); 3 — седло XIII—XIV вв. (рисунок автора по изображению на погребальной статуэтке юаньского времени из Шэньси); 4 — современное седло монгольского типа; 5 — передняя лука современного седла монгольского типа; 6 — деревянный осто́в современного седла монгольского типа у тувинцев (по полевым рисункам автора)

транспорт. У тувинцев, как и у других кочевников, и мальчишки и девочки очень рано начинали ездить верхом (в седле и без него). Это явление, типичное для кочевых скотоводов Центральной Азии, было отмечено еще Плано Карпини, который писал, что мальчишки-монголы, когда им «два или три года от роду, сразу же начинают ездить верхом и управляют лошадьми и скачут на них» [Карпини, 1957, 36].

Езда на лошади с детских лет воспитывала в тувинцах хороших наездников, прекрасно владевших лошастью и способных многие часы находиться в седле, не чувствуя усталости. Путешественники, наблюдавшие верховую езду тувинцев, неоднократно подчеркивали их высокое мастерство наездников. Так, например, инженер М. Н. Черневич, посетивший Туву в начале XX в., писал, что тувинцы «верхом на своих лошадях являют живописное зрелище своей слитностью с животными, красивой посадкой и вольностью движений» [ЛОАНН, ф. 78, оп. 1, № 104, л. 34]. Женщины ездили верхом столь же много и так же хорошо, как и мужчины, что, впрочем, было характерно для кочевого быта скотоводов уже в древности. Упоминания об этом мы находим у многих античных и средневековых авторов. Описывая быт средневековых монголов, Плано Карпини отмечал, что у монголов «девушка и женщина ездят верхом и ловко скачут на конях, как мужчины» [Карпини, 1957, 36]. Аналогичную характеристику всадникам-алтайкам дает Радлов: «Женщины скачут совершенно так же, как и мужчины, с той же споркой, уверенностью и выдержкой» [Radloff, 1893, т. I, 25].

Под верх более или менее обеспеченные тувинцы использовали почти исключительно мерингов и очень редко жеребцов. Только в бедных хозяйствах, по сообщению Кона, «для верховой езды употребляют и кобыл» [Кон, 1934, 105]. Почти исключительно на меринах ездили также зажиточные монголы, буряты, калмыки, казахи, алтайцы, киргизы. Этот обычай, распространенный у многих коневодческих народов, имеет древнее происхождение: в Пазырыкских курганах, например, все лошади знатных лиц — меринги [Руденко, 1953, 148]. О том, что древние скифы применяли кастрацию, известно из сообщения Страбона [Страбон, VII, 4, 8].

О древности обычая не ездить на кобылах у тувинцев свидетельствуют их эпические сказания [Гребнев, 1960, 73]. Однако в малообеспеченных хозяйствах тувинцев нередко использовали для верховой езды и кобыл.

Хороший верховой конь, способный быстро идти под седлом, очень ценился тувинцами. Каждый тувинец стремился иметь такого коня, а некоторые богатые скотоводы держали при себе несколько верховых коней. Но даже располагая табунном в сотни голов, его богатый владелец обычно пользовался для верховой езды лишь отдельными скакунами, кото-

рых он периодически менял, отпуская ненужную ему лошадь обратно в табун. Подобный обычай Радлов наблюдал также у казахов, у которых богатые скотоводы часто меняли верховых лошадей, особенно зимой [Radloff, 1893, т. I, 25].

Тувинцам было свойственно доброе и заботливое отношение к коню. В их эпосе человек не только советуется с конем в трудных ситуациях; нередко конь спасал своего хозяина и даже оказывался умнее богатыря — героя эпоса. Так, в сказании «Алдай-Буучу» говорится об одном из героев, что он растерялся, попав в трудное положение, «загрустил в безвыходной тоске. Тогда конь его сказал: „Мужчина ты храбрый, но ум-то у тебя никудышный“» [СОБ, 37]. Лишь благодаря умному совету коня герой преодолевает трудности на своем пути. То же отношение к коню мы находим в якутских сказаниях: «Если уж ты мне говоришь, неужели я тебя не послушаю», — говорит богатырь своему коню [Серошевский, 1896, 264].

Лошадь тувинцами употреблялась только под верх или под выюк, но у отдельных тувинцев уже в конце XIX в. начинали появляться и телеги русского образца и русские сани, причем упряжь иногда приобретали у русских. У тувинцев группы ойнар Н. Ф. Катанов наблюдал перекочевку на телеге русского образца в 1889 г. Он писал, что тувинская семья, к которой он прибыл, готовилась к перекочевке: «Они сняли с места и укладывали имущество в двухколесную русскую таратайку, чтобы перекочевать в другое место. Все имущество было уложено при мне и отвезено за 5 раз» [АИЭЛ, ф. V, оп. 1, № 526, л. 96]. Однако в конце XIX в. использование телег тувинцами было редкостью, и Е. К. Яковлев даже утверждал, что «колесных экипажей сойоты (тувинцы. — С. В.) не употребляют» [Яковлев, 1900, 86].

Впрочем, и в начале XX в. подавляющее большинство кочевых тувинских хозяйств имело только традиционную упряжь. Даже по переписи 1931 г., у тувинцев насчитывалось 18 966 верховых седел, 17 207 вьючных седел и лишь 1704 саней и 284 телеги [ТСДП, 59].

Анализ переписей и данные опроса моих информаторов убедительно свидетельствуют о том, что лошади, как и крупный рогатый скот, считались самыми необходимыми животными в тувинском хозяйстве. Нужда в коне определялась прежде всего транспортными потребностями. Семья, не имевшая скота, стремилась приобрести в первую очередь крупный рогатый скот и хотя бы одну лошадь. По переписи 1931 г., лишь 10,5% тувинских хозяйств не имели лошадей, в то время как без овец было отмечено 22,2% хозяйств [ТСДП, 61]. Не имевшие собственного скота хозяйства арендовали или иным образом получали во временное пользова-

ние главным образом транспортных животных — волов или лошадей, а уж затем дойных коров, так как без транспортных животных нельзя было вести перекочевки.

Верховых лошадей тувинцы, как и другие скотоводческие народы, в табуне не держали. Стреноженные, с путами кижен на ногах они паслись поблизости от аала. Почти в каждой юрты в стойбище имелась коновязь баглааш, сделанная из крепкой деревянной жерди. В тувинском эпосе упоминаются и металлические коновязи [ТТ, 26], однако реальное употребление их в прошлом маловероятно.

Тувинцы, как и все другие коневоды Евразии, садились на лошадь только слева, что даже нашло отражение в названиях сторон конского туловища: левый бок назывался *аэттаныр чарык* (сторона посадки), правый — *ажыргы чарык* (противоположная сторона). Эти же названия обнаруживаются в эпосе тувинцев [ТТ, 66, 227]. Иногда тувинцы ездили вдвоем на одном коне, пользуясь двумя седлами.

Приучать коня к верховой езде начинали подростки. По истечении года на жеребенке (независимо от пола) начинали ездить мальчики, а с полутора лет на лошадь могли садиться уже и взрослые. Двухлетние лошади (также вне зависимости от пола) ходили под седлом, но трехлетних маток вновь отпускали на волю, на работы не употребляли и держали лишь для увеличения табунов. Для приучения жеребенка к седлу никаких особых мер не принимали и лишь самым непокорным закидывали на голову специальную петлю, которой сжимали нижнюю губу; причиняемая этим боль заставляла жеребенка повиноваться.

В байских хозяйствах обычно начинали седлать лошадей лишь с трехлетнего и даже четырехлетнего возраста, что было отмечено Ф. Коном [Кон, 1934, 103].

Приучение к седлу лошади, которая до этого жила в табуне и была отловлена, совершалось в течение нескольких дней. Вначале лошадь треножили и держали так до следующего дня, пока она не успокаивалась. Присмирившую лошадь седлали два человека; заднюю подпругу они натягивали туго, переднюю и среднюю — сравнительно слабо. Затем освобождали от пут переднюю ногу. Один человек, держа лошадь за уши, заслонял ей левый глаз, а другой садился, придерживаясь левой рукой за узду. Затем у лошади быстро снимали путы с задних ног. После этого животное начинало бросаться из стороны в сторону, вставало на дыбы, но ездок обычно справлялся с ней, натягивал левой рукой повод, правой рукой держась за седло.

Выбор хорошего верхового коня из табуна считался весьма важным делом. Это в несколько гиперболизированной форме нашло отражение в тувинском эпосе, в одном из произведений которого его герой Алдай-Буучу, выбирая коня

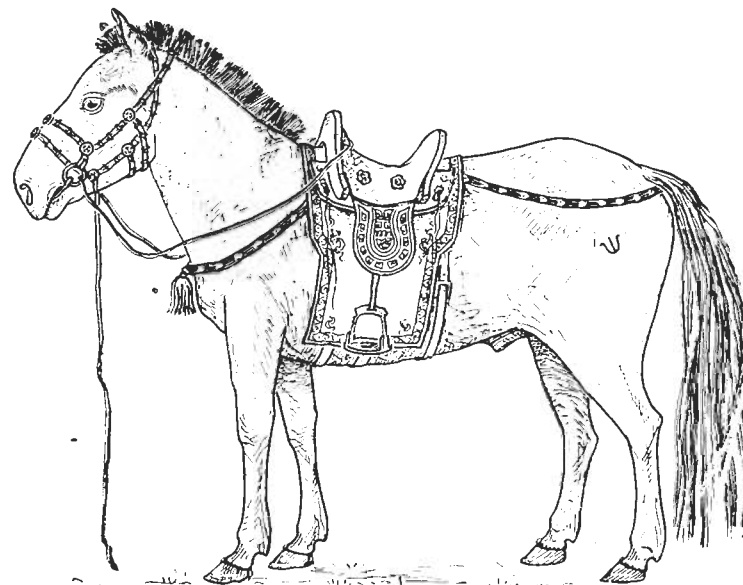


Рис. 15. Тувинский верховой конь с упряжью

сыну, три месяца прогонял мимо него лошадей из своих табунов [ТТ, II, 76].

Приведу названия аллюров: *манг* (бег), *сыр-кара манг* (быстрый бег), *челер* (рысь), *даалык* (галоп), *чыраа* (иногоходь).

В XIX — начале XX в. во всей Туве применялась одна и та же конская сбруя, хотя в названиях ее частей имелись отдельные диалектные особенности. Конская узда *чүген* состояла из ремня оголовья *кастык*, ремня переноса *хээрлик* и подбородочного ремня *салдырык*. Удила *суглук* были железными, двусоставными, с кольцами *дээрбек*, к которым привязывался кожаный повод *узун дын*. К левому кольцу удила прикрепляли кожаный или волосной чумбур — им привязывали лошадь к коновязи, когда всадник спешился.

Богатые скотоводы украшали узду многочисленными орнаментированными серебряными, бронзовыми либо железными с серебряной чеканкой бляхами. Недоуздки *чулар* также делали из кожи и украшали, как и узду. Бедняки делали нередко веревочный недоуздок *хөмээш*. Эта древняя традиция нашла отражение в эпосе [ТТ, 22].

Остов седла *эзер* делали только из березы. Седло имело сравнительно высокие луки *эзернинг бажы* — почти вертикальную переднюю *эзернинг башкы бажы* и круто изогнутую

заднюю *эзернинг сонгу бажы*. Подушку *көвүнчүк* делали из войлока и обшивали сверху красным или коричневым сукном. Седло украшали орнаментированными бляхами *базыткыыш* или *тарылга*. Бляхи скреплялись с седлом с помощью металлических петель, которые имелись на обратной стороне блях.

Как правило, на богатых седлах открытые части лук и выступающие концы опорных дощечек (*чавы*) ленчика окрашивались красной краской и покрывались лаком. Дуги лук обшивались костяными или металлическими накладками *хыраа*, часто с гравированным орнаментом. У передних и задних дощечек ленчика имелись по два-три узких ремешка *терги* для привязывания груза. Здесь же прикреплялись литые бронзовые или резные костяные (из рога) украшения *терги дөзү*. Под седло клали четырехугольный войлочный потник *чонак*, сшитый из одного или нескольких кусков войлока. Поверх помещался кожаный чепрак *төрөнчи*, свисавший по бокам лошади и нередко орнаментированный тисненными узорами или кожаными аппликациями; богатые скотоводы пользовались покупными чепраками монгольского и даже китайского производства. Для предохранения ноги от трения о верхнюю часть стременного ремня *эзенги баа* и для украшения седла по обеим его сторонам вешались орнаментированные кожаные седельные крылья *тепсе*. Под *тепсе* клали иногда аркан. Этот обычай существовал еще в древности, в частности, о нем упоминает тувинский эпос [ТТ, 56].

Стремена *эзенги* были обычно железными, реже бронзовыми и сохраняли в основном форму, сложившуюся еще в древнетюркское время. Седло могло иметь три подпруги — переднюю *башкы колун*, заднюю *шавылыыр* и среднюю *орта колун*. Среднюю и заднюю подпруги, подхвостник кудурга, нагрудник *хөндүрге* делали из ремней. Скреплялись подпруги металлическими или костяными пряжками.

Большинство тувинцев пользовалось только двумя подпругами — передней *колун* и задней *шавылыыр*, причем передняя была прочно скреплена с остовом седла, а задняя перекидывалась через него. Как подхвостник, так и нагрудник использовали обычно только в дальнем пути, при поездке в горы. Нагрудник и подхвостник также с помощью кожаных петель скреплялись с остовом седла. Богатые скотоводы в XIX в. иногда украшали нагрудник кожаной кистью, но позднее они полностью вышли из употребления.

Богатые скотоводы имели седла роскошно отделанные и богато украшенные серебром. Бедняки обычно пользовались седлами без металлических украшений, со старыми тебеньками и чепраками. Нередко в семьях бедняков старое, изношенное седло переходило по наследству от отца к сыну. Так, в коллекции Ф. Кона в Ленинграде хранится верховое

конское седло, значащееся как «седло бедняка». Его сиденье покрыто рваным войлоком, чепрак тоже войлочный, а не кожаный. Седло лишено каких-либо украшений [ГМЭ, колл. 626—81/2].

Стремена, которыми пользовались бедняки, были обычно деревянными (*ылаш-эзенги*), реже костяными. Такие стремяна имеются в коллекции Ф. Кона в Ленинграде; одно из них, сделанное из изогнутой палки, имеет высоту 17 см [ГМЭ, колл. № 623—25]. Подобные деревянные стремяна широко распространены у тофаларов [ГМЭ, колл. № 6861—14]. Известны деревянные стремяна у киргизов [ГМЭ, колл. 6773—1], башкир [Руденко, 1955, рис. 221—а], якутов [Серошевский, 1896, 71] и других народов.

Как правило, всадник пользовался плеткой *кымчы*. Ее деревянную рукоять (*кымчы сывы*) длиной около 50 см предпочитали изготовлять из горного тальника *сёбскен*, с характерной для него красноватой корой. Для ремня плетки (*кымчы баа*) длиной около 1 м использовалась обычно кожа быка. На конце рукояти имела кожаная петля *кымчы салбырыы*. С плетью были связаны некоторые суеверия тувинцев. Так, считалось, что плеть с красной рукоятью может служить своеобразным оберегом. В одной из поговорок говорилось: «Кызыл сыптыг кымчы туткан кижиден аза безин коргар» (человека, держащего в руках плетку с красной рукоятью, черт боится).

Как отметил еще Н. Ф. Катанов, все основные названия конской упряжи тувинцев — тюркские [Катанов, 1903, 55], лишь в южных районах употреблялись и монгольские названия. Среди названий частей упряжи Катанов указал на возможность самодийского происхождения подхвостника кудурга [Катанов, 1903, XVII]. Близкое по звучанию слово «кудаго» в значении «пристяжной ремень» известно в ряде самодийских языков [Castren, 1855, 307].

Общее название седла «эзер» — тюркское. Для сравнения можно привести *азар* — у шорцев, *ер, иер* — у казахов, *ар* — у алтайцев, телеутов, лебедицев, *эйер* — у башкир; фонетические варианты этого слова мы находим у большинства тюркских народов.

По деталям конструкции тувинские верховые седла однотипны с монгольскими и бурятскими седлами², differing в некоторых деталях формы ленчика, в высоте и форме лук от сидел других тюркских народов. Вместе с тем тувинские седла обнаруживают конструктивное сходство с некоторыми типами сидел, бытовавших в XIX — начале XX в. у хакасов [МАЭ, колл. № 5962—191], киргизов, узбеков [ГМЭ, колл. № 11955], туркмен [ГМЭ, колл. № 13583], башкиров [Руденко, 1955, 218] [ГМЭ, колл. № 4203—17, 13313].

По своей конструкции тувинские верховые седла пред-

ставляют собой результат длительного и сложного развития седел с жестким остовом, как уже отмечалось выше, впервые распространившихся, вероятно, в тюркской среде в середине I тысячелетия н. э. У некоторых тюркских народов, например у якутов, в конструкции остова сохранились более ранние особенности, которые позволяли А. Миддендорфу [Middendorf, 1875, т. 4, 1549] и В. Л. Серошевскому [Серошевский, 1896, 370] сближать их с простыми по устройству вьючными седлами (здесь мы не касаемся внешнего оформления седла, которое было у якутов достаточно развитым и сложным). В. Л. Серошевский был несомненно прав, когда он писал, что «якутское седло, особенно старинное, представляет по типу менее усовершенствованный прибор, чем, например, монгольское и бурятское» [Серошевский, 1896, 371].

Для перевозки больных и раненых тувинцы применяли способ, о распространении которого у других кочевых народов сведения в литературе мне не встречались. Этот способ, носивший название *дббжнг* (ср. монгольское *дббжнг*[г] — «качели»), заключался в том, что двум оседланным коням связывали кольца удили, шеи и хвосты, а затем между лошадами закрепляли своеобразные носилки, состоявшие из двух жердей, связанных между собою арканом крест-накрест в виде сетки. Больного клали на носилки, а лошадей вел всадник, сидевший на третьем коне.

Специального конского вьючного седла у тувинцев не было. Вьючное седло ынгыржак использовали и для коня и для вола. Оно состояло из двух деревянных полок бббрген и соединявших их лук. Отдельные части седла связывались при помощи кожаных ремешков, продевавшихся в специальные отверстия.

В Туве были известны два варианта конструкции вьючных седел для коня и вола. В центральных и западных районах луки вьючных седел в верхней части соединялись продольной дощечкой в отличие от седел Юго-Восточной Тувы, где она не входила в конструкцию ынгыржака. Подобная перекладина, заметим, была также характерна для вьючных седел алтайцев, казахов.

Вьючное седло клали на потник чонак из сложенного войлока и куска кожи и укрепляли нагрудным ремнем хбндбрге и подхвостным ремнем кудурга. Вьючное седло привязывали также кожаным арканом *тыртыг*, пропускавшимся под брюхо животного, подпругой же не пользовались. В коллекции Ф. Кона в Ленинграде имеется такое седло начала XX в. Длина полок 47 см, луками служат гнутые сучки (ширина — 29 см) [ГМЭ, колл. № 623—13].

На вьючном седле перевозили часть юрты, утварь, переметные сумы с имуществом и продуктами. К вьючному седлу привязывали также волокушку *шырга*. При транспортировке

бревен для топлива их привязывали к вьючному седлу, по одному с каждой стороны, перекинутым сверху арканом, причем часть аркана охватывала грудь вола спереди. Для их перевозки на далекое расстояние аркан пропускали через вьючное седло, охватывали двумя оборотами корпус животного, а свободными концами аркана привязывали бревна. Вьюк носил название *чубк*. Это название тюркское и встречается еще в древнетюркских памятниках в форме *йук* [Малов, 1951, 390].

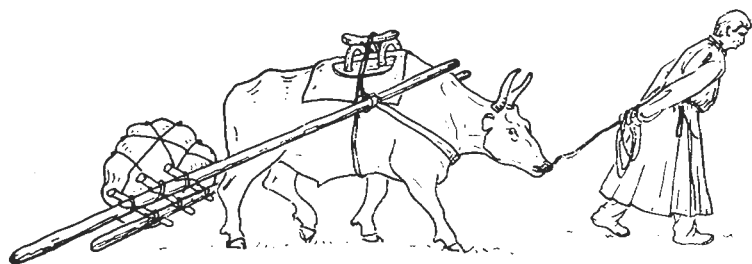
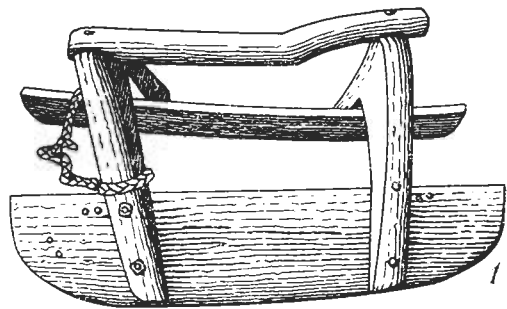
Вьючные седла, применяемые скотоводами тувинских степей, аналогичны монгольским, бурятским, отчасти встречаются у южных алтайцев и в Казахстане. Название вьючного седла «ынгыржак» сходно с *ынырьяк* койбалов, *ынгырчак* алтайцев и телеутов, *ынгыришак* киргизов и шорцев и близко по звучанию к монголо-бурятскому названию вьючного седла *янгирцаг*. Как и в прошлом, так и теперь это седло в отличие от верхового скрепляется ремешками и по этой причине во время движения издает скрип высокого тона. Отсюда, вероятно, и название седла: словосочетание «ынгыр-шынгыр» в тувинском языке означает «высокий звук», то же в телеутском, у шорцев «ынгыржак» означает «скрипящий», в монгольском «янгиа» — «высокий звук».

Важным транспортным средством служил, как уже говорилось, вол. Волы использовали не только для перевозки грузов вьюком и при помощи волокуш, но и как тягловую силу в земледелии. Бедняки, которые не имели коня, а также дети во время пастьбы скота ездили на волах верхом; в западных районах волов использовали под верх и богатые скотоводы.

Использование волов как упряжных животных и под вьюк было издавна известно почти всем кочевническим племенам. У скифов вола были, как известно, основным упряжным животным [Гиппократ, 25]. Огромное число быков, тащивших повозку с жилищем у монголов, поразило Гильома Рубрука [Рубрук, 1957, 91]. Вола как транспортные животные фигурируют и в тувинском эпосе [ТТ, 86].

Применение волов не только под вьюк и в упряжи, но и для верховой езды отмечено у многих кочевых скотоводов Азии. Вот что писал Радлов о казахах: «Особые седла для волов не употребляются. Бедняки ездят верхом... на всех волах, которыми они владеют. У богатых для верховой езды используют особенно крупных волов, которых держат особняком от других у юрты» [Radloff, 1893, т. I, 438]. Он же отмечал верховую езду на волах у тувинцев [Radloff, 1893, т. II, 174]. Таким образом, использование волов у казахов было аналогично тому, что описывали путешественники XIX — начала XX в. у тувинцев.

Для перевозки грузов на волах пользовались не только



2

Рис. 16.

1 — тувинское выючное седло; 2 — перевозка груза на волокуше при помощи выючного седла

выючным седлом, но и волокушами *шырга*. Их употребляли при перекочевках с зимних на весенние стоянки для перевозки родившихся раньше срока ягнят и козлят. Новорожденных животных клали в кожаные перекидные сумы барба, которые привязывали к волокуше. Если в хозяйстве в это время были также преждевременно родившиеся телята, то и их везли аналогичным образом. Если же к моменту перекочевки в сосудах было много молока, то и его перевозили в больших сосудах, укрепленных на волокуше. Нередко при перекочевках на волокуши привязывали также колыбели с маленькими детьми. При помощи волокуши перевозили и другие грузы.

Изготовить волокушу можно было буквально за несколько минут, если поблизости были жерди и волосная веревка. Волокуша состояла из двух жердей, передние концы которых были привязаны к выючному седлу, а задние волочились по земле. На среднюю часть жердей привязывали в поперечном направлении несколько коротких жердей, на которые укладывали груз. Волокуши использовали главным образом

для перевозки грузов на волах, а изредка и на лошадях и верблюдах.

Подобные волокуши знали монголы, буряты, алтайцы, киргизы, казахи и другие кочевые скотоводческие народы, причем, судя по рисунку, приведенному С. И. Руденко, у приалтайских казахов группы найман [Руденко, 1930, рис. 16] волокуши *суйректы* почти не отличались от тувинских.

Некоторые грузы — сухие деревья на дрова, жерди для загонов — тувинцы перевозили на волах волоком. Для этого тонкие концы жердей (или верхушки деревьев) привязывали арканом при помощи специального узла по обеим сторонам выючного седла.

Управляли волом при помощи продетой через его нос палочки, к которой привязывали поводок бурдундук³. Им служила обычно волосная веревка, поворачивая которую направо или налево всадник легко добивался соответствующего поворота животного. Впервые применение этого способа управления волом отметил у тувинцев В. В. Радлов [Radloff, 1893, т. II, 174]. Так же управляют волом монголы.

По свидетельству моих старейших информаторов, в прошлом для управления быком использовались не только палочки, но и металлические кольца, ныне совершенно вышедшие из употребления. Об употреблении колец писал также П. Чихачев, посетивший тувинцев в первой половине XIX в. [Tchihatcheff, 1845, 139], однако В. В. Радлов отмечал у тувинцев Кара-Холя, что они управляют волом при помощи палочки, продетой в нос [Radloff, 1893, т. II, 139], между тем как кольцо, продетое быку в нос, сохранялось до последнего времени у тюркских соседей тувинцев. Этот факт может служить некоторым дополнительным указанием на усиление монгольского влияния во второй половине XIX — начале XX в.

Роль волов в хозяйстве тувинцев была очень велика, причем в некоторых группах тувинцев западных районов волы ценились даже выше лошадей. Еще Чихачев, посетив в 1842 г. долину горной реки Алаш в Западной Туве, с удивлением обнаружил, что живущие здесь тувинцы в качестве транспортного средства используют почти исключительно волов, причем едут на них даже на охоту, в то время как лошадей здесь было очень мало [Tchihatcheff, 1845, 142].

Это сообщение согласуется с наблюдениями В. В. Радлова в Западной Туве (район оз. Кара-Холь) в июне 1861 г. Он обратил внимание на необычайно широкое использование в этом районе волов как транспортных животных. Радлов писал, что жители Кара-Холя видят свое богатство в крупном рогатом скоте и «меньше всего значения придают они коневодству. Они используют быков как для верховой езды, так и для транспорта. Один старый сойон (тувинец. — С. В.) был крайне удивлен, когда он узнал, что русские ездят не верхом на бы-

ках, и убеждал меня, что бык гораздо лучше коня, что он может больше перевозить груза и вдвое выносливее, может лучше подниматься в гору». Радлов отметил также, что тувинцы на волах едут даже на охоту в тайгу [Radloff, 1893, т. II, 174].

Материалы, собранные мною у некоторых групп тувинцев, подтверждают сообщение Радлова. Так, например, по свидетельству моего информатора, старого арата Монгуш Чанчыка — жителя пос. Хөндергей в Западной Туве, в большинстве известных ему хозяйств, причем даже сравнительно богатых, в конце XIX — начале XX в. волов было больше, чем лошадей. Лично у информатора до революции было десять волов и всего три коня. В некоторых бедных хозяйствах было два-три вола и ни одного коня. Позволю себе привести часть интересной записи, сделанной мною у Монгуш Чанчыка. Он рассказывал: «На волах не только пахали и возили груз, но и ездили на охоту на белку в горную тайгу. Когда я был маленьким, на охоту большинство людей бедных и среднего достатка ездили на волах. В то время некоторые предпочитали иметь волов, а не лошадей. Потом, в десятилетия-двадцатые годы, положение изменилось — лошадей начали больше ценить, а волов трудно было продать» [АИЭМ, ф. 3, оп. 7, № 49, т. 8, лл. 5—8].

Вместе с тем в исторических преданиях западных тувинцев говорится о важном значении коня. Герои эпических сказаний пользуются только конем, в качестве главного богатства скотовода описываются большие табуны и т. п. О важности коня свидетельствуют и поздние захоронения тувинцев XVIII—XIX вв., в которых вместе с погребенным лежит обычно конь [см.: Вайнштейн, 1958, 227]. Что касается особой роли вола в хозяйстве, то она в очень небольшой мере (например, в сказке о рыбаке Богай-ооле) нашла отражение в народном творчестве рассматриваемых групп тувинцев. Процесс замены коня волом шел здесь, по-видимому, в последние полтора-два столетия. Для понимания причин подобного явления представляет интерес то, что оно зафиксировано не только у тувинцев, но и у некоторых других скотоводческих народов, в частности у казахов Букеевской орды и якутов. В. Серошевский писал, что хотя якуты предпочитают иметь вола, но фольклор воспевае коня. Он объяснял это тем, что «любовь и уважение к нему (волу. — С. В.) чересчур свежи, не успели еще фиксироваться в народном творчестве и закрыть собою или по крайней мере сравняться с впечатлением, оставленным там лошады» [Серошевский, 1896, 265]. Среди причин указанного перехода у якутов автор отмечает недостатки свободных пастбищ и сокращение кочевий. Что же касается причин рассматриваемого явления у тувинцев, то старики информаторы называли мне следующие: 1) преимущество вола по сравне-

нию с лошады при пахоте, перекочевках (больше берет груза); 2) вол нуждается в меньшем количестве пастбищ; 3) его легче содержать, чем лошадь, когда меньше кочуешь; 4) волов почти не крали, в то время как воровство лошадей до революции было настоящим бедствием.

Выше уже отмечалось, что верблюды издавна применялись степными кочевниками Центральной Азии как транспортные животные, причем преимущественно под выюк. В тувинском эпосе неоднократно подчеркивается, что верблюды использовались в основном под выюк [ТТ, 34, 56, 75].

Выючное седло верблюда отличается по своей конструкции от выючного седла для лошади и вола. Седло *чада* кладется на большой войлочный потник *ком*, ширина которого соответствует расстоянию между горбами животного. Ком состоит из войлока, сложенного в несколько слоев. Выючное седло, точнее, приспособление для укладки выюка, представляет собой две тщательно оструганные узкие длинные деревянные доски, к каждой из которых прикрепляется маленькая дощечка. Навьючивают груз обычно два человека. Перед навьючиванием верблюд по команде «сок!» становится на колени. Один человек держит ком по одну сторону верблюда, второй — по другую (перед навьючиванием потник кладут поверх планок седла, лежащих на земле). Навьючивая, потник поднимают одновременно с седлом и накрепко вместе с грузом закрепляют волосяной веревкой, образующей в верхней части петлю, с помощью которой надежно привязывают оба выюка. Когда груз уложен, по команде «хок!» верблюд встает.

Верблюдом управляют с помощью повода бурундук, прикрепленного к деревянной палочке *быйла*, или *буйла*, проде- той через хрящ в носу верблюда. Аналогичное приспособление применяют и монголы [МАЭ, колл. № 1341—61]. Верблюдам быкам одевают на голову недоуздок *чулар*, подобный конскому, чтобы верблюд не мог укунить всадника. Для верховой езды на верблюде пользуются конским седлом.

Верблюда начинают приучать к седлу обычно в возрасте двух лет, когда ему протыкают нос для продевания буйла. Но лишь с пятилетнего возраста это животное считается достаточно пригодным для перевозки тяжелых грузов. В таком же возрасте начинали использовать под выюк верблюдов и монголы.

Следует отметить, что упряжь для верблюда, команды, которым он повинует, у тувинцев совершенно аналогичны монгольским, описанным К. В. Вяткиной [Вяткина, 1960, 174].

В тех районах, где разводили яков, их использовали также для транспортных целей, в особенности под выюк, в меньшей мере для верховой езды. Выючили холостеных яков, реже сарлычих. На яка нагружали, по словам тувинцев, в полтора-два раза больше груза, чем на вола. В горных районах

сарлык несомненно является самым ценным транспортным животным. Пржевальский писал, что «верность и твердость шага описываемого животного изумительны: як лепится иногда по таким карнизам, где едва мог бы пробраться козел или дикий баран» [Пржевальский, 1946, 224]. Аналогичные картины в горах Бай-Тайги и Тере-Холя приходилось наблюдать и мне. Условия содержания яков в Туве аналогичны тибетским.

Для верховой езды на яке использовали конское верховое седло, а для перевозки грузов — вьючное той же конструкции, что и для волов и лошадей. Управляли яком так же, как волком.

Выше уже отмечалось, что тувинцы использовали транспортных животных главным образом для перевозки жилья и имущества при перекочевках.

О том, чтобы судить, сколько вьючных животных требовалось для перекочевки одной семьи средней зажиточности, состоявшей из четырех-пяти человек, достаточно сказать, что для одновременной перевозки войлочной юрты с имуществом как минимум нужно было шесть-семь лошадей или четыре-пять волов или три верблюда. Так, если перевозили юрту на волах, то на одного из них нагружали решетку, круг, дверь и другие детали деревянной конструкции юрты, на второго — войлочное покрытие юрты и деревянные сундуки, на третьего — кожаные мешки с имуществом, на четвертого и пятого — остальные вещи. Люди при перекочевке ехали обычно верхом на лошадях, поэтому для семьи требовалось еще несколько ездовых коней. Исходя из этого, при перекочевке семьи только для транспортных целей требовалось минимум 10—11 лошадей или 5 волов и 4—5 лошадей.

Бедняки для перекочевки либо брали волов или лошадей у баев (отрабатывая за это впоследствии), либо несколько семей перекочевывали по очереди, пользуясь вьючными животными всех хозяйств аала.

При переправе через многочисленные реки тувинцы пользовались обычно плотом *сал*. Лодок у тувинцев не было; они появились только под влиянием русских.

Известно, что лодок не знал ни один из кочевых скотоводческих народов Центральной Азии. Плот (*сал*) упоминается в «Сокровенном сказании», но в этом источнике нет ни одного указания на существование у монголов лодок.

Плоты обычно делали из пяти-шести срубленных стволов кедра или ели. В длину плот имел сажень (кулаш). Бревна скрепляли двумя поперечными жердями, которые связывались с бревнами волосяным арканом.

Очень интересные плоты, параллели к которым мне не удалось найти, применялись рыбаками-тувинцами на оз. Тере-Холь в юго-восточной части Тувы. Плот делали из пяти бре-

вен ели, тщательно очищенных от коры. Переднюю часть бревен заостряли. Среднее бревно делалось самым длинным — до 9 м, остальные бревна были на 60—90 см короче. Ширина плота была около 1 м. В задней части плота нередко прибывались по краю две доски длиной около 3 м. Сюда складывали пойманную рыбу. Среднее бревно плота носило название *ортаа օзээ*, бревна по краям от него — *кыдыг օзээ*, боковые бревна — *ийи чаактары*. С таких плотов ловили рыбу. Когда плыли на плоту, отталкивались шестами длиной около 5 м с деревянными набалдашниками на нижнем конце. Такой длины шеста вполне хватало, так как озеро Тере-Холь сравнительно мелкое.

Впрочем, тоджинцы также умели делать очень своеобразные лодки-плоты *онгача* из двух выдолбленных стволов деревьев, скрепленных арканом; эти плоты, возможно, генетически восходят к долбленной лодке северосибирских народов. Модель такого тувинского плота имела в Минусинском музее [Яковлев, 1900, 85].

Для переправы на плотках через реки его иногда привязывали к лошади, которая, плавая в воде, тянула за собой плот. Управляли лошадей, а следовательно, и плотом с помощью длинного шеста, привязанного к поводу, или укрюка. О таком способе переправы в конце XIX в. сообщает в своем дневнике Н. Ф. Катанов [АИЭМ, ф. V, оп. 1, № 526, л. 120].

Название плота «сал», по-видимому, тюркское. Оно известно алтайцам, лебединцам, шорцам, казахам, османским туркам, киргизам и некоторым другим тюркоязычным народам. Этимологически название плота, вероятно, связано с тюркским «сал» — «класть», «положить». Это слово было известно также монголам XII—XIII вв. и зафиксировано, как уже отмечалось, в «Сокровенном сказании» [С. ск., § 105]. Плот у монголов и поныне носит название «сал» и делается так же, как и у тувинцев. Общетюркским является и слово *хеме*, которым тувинцы называют лодку; это слово известно алтайцам, телеутам, османским туркам и другим тюркским народам.

В конце XIX — начале XX в. тувинцы нередко пользовались при перекочевках телегами, однако по крайней мере в XVIII и первой половине XIX в. тувинцы колесного транспорта не знали.

Как отмечалось выше, колесный транспорт был распространен у ранних кочевников евразийских степей. Знали его и древние уйгуры Центральной Азии. Колесные повозки широко использовали монголы XIII в., что известно из многочисленных источников, в том числе из свидетельств европейских и китайских путешественников.

Однако все наблюдатели тувинского быта в XIX — начале XX в. утверждали, что у тувинцев не было колесного транспорта и он проник к ним от русских. Вот, например, что

писал Кон: «Ездят обыкновенно только верхом, но у ойнарских сойотов в последнее время стали уже появляться таратайки русского образца, употребляемые во время перекочевков, возки хлеба, соли и пр. Упряжь — у одних заимствованная у русских, у большинства же оглобли привязываются к выючному седлу, причем на грудь лошади надевают широкий нагрудник. Запряженную таким образом лошадь ведет за повод едущий верхом. Для запряжки в таратайки употребляются самые смиренные лошади, но несмотря на это, во избежание несчастья их треножат и, только когда лошадь перестанет пугаться шума таратайки, освобождают от пут» [Кон. 1934, 104].

Вместе с тем у тувинцев телега называется *терге*. Это название для телеги, повозки известно поныне монголам в форме *тэрэг* или *тэрэгэн*, неоднократно упоминается в «Сокровенном сказании» в близкой к современному тувинскому произношению форме *терге* [С. ск., § 6, 100, 101, 224].

В конце XIX — начале XX в. у западных тувинцев сохранились традиционные представления о телеге в фольклоре, преданиях, изображениях, но в быту телегой не пользовались и делать ее не умели. Очевидно, и распространенные у монголов-халха телеги, о которых сообщает К. В. Вяткина [Вяткина, 1960, 175—176], были заимствованы ими у оседлого населения Восточного Туркестана. Б. Владимирцов писал, что «все монголы забыли свои старинные повозки-кибитки. Повозки последнего времени, встречающиеся у некоторых монгольских племен, позаимствованы ими от оседлых соседей» [Владимирцов, 1934, 42]. У монголов также сохранились старинные названия для повозки, что объясняется, скорее всего, сохранением памяти о них в фольклоре.

Б. Я. Владимирцов склонен считать, что широкое распространение повозок у монголов XI—XIII вв. вызывалось потребностью в быстром перемещении [Владимирцов, 1934, 42], которая постепенно утратила свою остроту по мере успокоения в степях. Думается все же, что немаловажную роль в процессе отмирания повозки в послемонгольское время играла не только более спокойная обстановка в степях, но и значительно меньшая необходимость в дальних перекочевках, перемещениях на многие сотни километров, что было столь характерно для монгольской эпохи. Важное значение имело и распространение в монгольской среде разборной решетчатой юрты, заимствованной ими, по-видимому, у тюрок [Вайнштейн, 1969б]. У тех кочевых народностей, у которых разборная решетчатая юрта распространилась сравнительно поздно, как, например, у астраханских татар, арбы с поставленными на них кибитками сохранялись еще в XVIII в.

В зимнее время в горно-таежных и в меньшей мере в степных районах тувинцы пользовались лыжами. Обычно каждый охотник делал лыжи сам. Изготавливали их летом из березы или

ели без сучков. Вырубленную и отделанную основу нагревали у костра и мочили в воде, после чего сгибали при помощи тяжа из веток. Между тяжем и основой вставляли деревянный брусоч (иногда два-три бруска), служивший распоркой. Согнутую основу сушили у дымового отверстия в продолжение пяти-шести дней; по краю основы выжигали раскаленным стержнем через каждые 10—12 см круглые отверстия. Затем лыжи обтягивали камусами (*бышкак*). Для покрытия одной лыжи требовалось три лосиных или конских камуса, которые сшивали в длинную полосу и аккуратно выкраивали по форме лыжи, оставив лишь небольшой запас. Камусы шерстью наружу затягивали на лыже сухожильными нитями и пришивали к основе, используя проделанные в ней отверстия; иногда камус прикрепляли деревянными гвоздями. Накладку для ног (*изен*) делали из продолговатого камуса шерстью наружу (длиной 37—40 см), который также пришивали к основе. Крепления состояли из широкой полоски кожи шириной 4,8—5,2 см, концы которой пришивали к основе лыжи, и двух кожаных ремешков *хаак баа*, завязываемых на ноге («крепление с двумя петлями», по классификации В. В. Антроповой) [Антропова, 1953, 8]. Длина лыж была 1,4—1,8 м, ширина — 12—15 см. Длина лыж должна была несколько превышать рост охотника.

Во время охоты на лыжах пользовались только посохом *даяк*, верхний конец которого представлял собой деревянную лопатку или был увенчан металлическим крюком. Нередко на лыжах ходили и без посоха.

Лыжи в Туве известны по крайней мере с монгольского времени. «Юань-ши» упоминает лыжи у народа ханьхэна: «В зимние месяцы также на деревянных конях (лыжах) выезжают на охоту» [Юань-ши, гл. 63]. Как уже отмечалось, об употреблении лыж у лесных урянкотов пишет Рашид ад-Дин, называющий их *чанэ* [Рашид-ад-дин, 1952, т. I, кн. I, 124]. Последнее название употребляется и тувинцами в степных районах. Тувинцы-тоджинцы пользуются для обозначения лыж словом *хаак*. Этим же словом обозначают лыжи-голицы и тофалары (им известно также название *ханеха*). Характерный для тувинцев тип лыж был распространен в таежной зоне Саяно-Алтая помимо тофаларов также у кызыльцев, кумандинцев, тубаларов, шорцев, теленгитов, качинцев, сагайцев, бельтиров, койбалов. Не исключено, что у пеших охотников Саян были древние контакты с тунгусоязычными охотниками, территория расселения которых примыкала к Саянам. На это, в частности, указывает то, что у саянских народов применяется для лыж не тюрко-монгольское название «чанэ» (*шанэ*), а близкое к эвенкийскому названию *хактэ*. Другим народам Саяно-Алтая близкое по звучанию слово в форме *хангай*, *кангай* известно как название лыж-голиц. Заметим кстати, что это

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ У ТУВИНЦЕВ В XIX—НАЧАЛЕ XX в. И ТРАДИЦИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ У КОЧЕВНИКОВ

ИЗ ИСТОРИИ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ТУВЕ

название у шорцев, кумандинцев, телеутов, лебединцев может быть сопоставлено с эвенкийским *кигине*, что отражает, по-видимому, древние этнокультурные связи саяно-алтайских народов и эвенков [Вайнштейн, 1969а]. Не исключено, что первоначально у саянских охотников распространились лыжи-голицы и лишь позднее их сменили (точнее — начали употребляться наряду с голицами) лыжи, подшитые камусом, которые у ряда народов Саяно-Алтая носят название «чанэ» («шанэ»).

Кочевые тувинцы, как и их ближайшие предки, до начала XX в. не строили дорог. Впрочем, до недавнего времени широко было распространено мнение многих путешественников о том, что в Туве имелось «несокрушенное временем шоссе, соединяющее долины Улу-кема (Улуг-Хема.—С. В.) и Кемчика, и дорога, сопровождавшая левый берег Енисея в участке выше устья Хемчика» [Грумм-Гржимайло, 1926, т. II, 356]; местное население называло это сооружение «дорогой Чингисхана». Что указанный памятник является дорогой, утверждали и обследовавшие его некоторые археологи, например Л. Р. Кызласов, относивший его строительство к деятельности киданей. Однако проведенные мною раскопки памятника позволили прийти к выводу, что он является отнюдь не дорогой, как полагали, а оборонительным валом (со сторожевыми башнями), сооруженным древними уйгурами в период их господства в Туве [Вайнштейн, 1958; его же, 1959а].

В тувинских степях было много троп, проложенных человеком и домашними (а в горах нередко и дикими) животными. Такие тропы, то напоминавшие полевые грунтовые дороги, то исчезавшие и возникавшие вновь, перекрещивавшиеся во многих местах, пролегали на путях перекочевок скотоводов вдоль степных рек и оврагов, шли к речным бродам и через горные перевалы. Многие тропы были проложены через Саяны и другие, казалось, непроходимые горные хребты. Именно такими тропами в древности и средневековье пользовались войска кочевников, преодолевавшие тувинские хребты, чтобы разгромить не ожидавших их врагов, о чем свидетельствуют письменные источники древних тюркок-тугов, монголов Чингисхана и др. С распространением (под влиянием русских) колесного транспорта в конце XIX — начале XX в. многие старые тропы превращаются в грунтовые дороги, начинается строительство новых дорог. Уйгурский оборонительный вал, на значительных участках размытый с течением времени, также используется как дорога и действительно местами постепенно приобретает вид шоссе. В конце XIX — начале XX в. к строительству небольших дорог приступают в Туве русские переселенцы, а в начале XX в. и российские власти, но этот важный и интересный вопрос выходит за рамки нашего исследования.

В Центральной Азии и Южной Сибири, как и в большинстве других районов мира, древнейшее земледелие возникло из развитых форм собирательства. В Туве и в сопредельных с нею районах [Окладников, 1962] земледелие, по-видимому, было известно уже в неолитическое время, но лишь эпоха бронзы дает несомненные свидетельства его существования здесь [Киселев, 1951].

В большинстве горно-степных районов Тувы, как и во всей засушливой зоне Центральной Азии, из-за ограниченного количества осадков возделывание растений почти невозможно без искусственного орошения почвы. Вместе с тем можно полагать, что именно в горных районах Азии возникло древнейшее поливное земледелие, так как овладение водой для простейшего полива не требует здесь больших усилий и горные потоки могут быть отведены на поля самотеком [Вавилов, 1967, т. I, 171]. На горных склонах и в степях главным образом центральных и западных районов Тувы (в бассейне Улуг-Хема и Хемчика, в северных предгорьях Танну-Ола и др.) обнаружено довольно большое число следов древних оросительных сооружений. Еще В. Родевич [Родевич, 1912, 145] и Г. Е. Грумм-Гржимайло [Грумм-Гржимайло, 1926, т. II, 365] указывали на остатки древней ирригационной системы в Туве, причем отмечалось, что здесь сооружались магистральные каналы, связанные со значительными притоками Улуг-Хема. Так, по рекам Или-Хем и Темир-Сух вода в каналы отводилась высоко в горах и спускалась затем поперек встречных гряд по врезанным в них водотокам, о чем свидетельствуют следы каменной кладки, подпорные стенки и высеченные в скалах лотки. По рекам же Туран и Уюк сохранились даже следы оросительных плотин, сложенных из камня. Несомненно, что древнейшие оросительные системы в Туве были сооружены еще в докифское время. Мы смогли убедиться в

этом, обнаружив, что отдельные древние каналы в долине Хемчика перекрыты курганами казылганской культуры. Следы древних ирригационных сооружений весьма заметно различаются по техническому уровню выполнения. Есть все основания полагать, что наиболее совершенные из них, требовавшие при строительстве довольно строгих расчетов и регламентации режима эксплуатации, были созданы главным образом оседлым населением Тувы, по всей вероятности, в уйгурское, кыргызское и монгольское время; что же касается кочевых скотоводов того времени, то для орошения своих пашен они, надо полагать, пользовались более простыми гидротехническими сооружениями, подобными тем, которые были характерны для западных тувинцев в конце XIX — начале XX в.

К сожалению, несмотря на многолетние работы в Туве нескольких археологических экспедиций, древняя ирригационная система остается здесь совершенно неисследованной, хотя необходимость ее изучения вряд ли вызывает сомнение.

О характере высевавшихся злаков и орудиях земледельческого труда, применявшихся в Туве в различные исторические эпохи, свидетельствуют отдельные археологические находки. В могилах казылганской культуры находили зерна проса, обломки каменной зернотерки [Вайнштейн, 1964а, 25]; в погребениях гуннского времени в могильнике Кокэль было обнаружено не только значительное количество зерен проса [Вайнштейн, Дьяконова, 1966, 184—277], но и костяные мотыги. В различных районах Тувы находили средневековые железные и бронзовые лемехи, чугунные плужные отвалы, изготовленные как за пределами Тувы (главным образом в Китае), так, по-видимому, и в самой Туве. Они применялись в уйгурскую, кыргызскую и монгольскую эпохи. Неоднократно находили в Туве и средневековые железные сошники, обломки серпов, а в одном из погребений кыргызской эпохи была обнаружена коса горбуша.

Указания на занятия населения Саяно-Алтая земледелием имеются и в письменных источниках. Так, в «Тан-шу» при характеристике кыргызов (хягас), населявших Минусинскую котловину, отмечается, что они «сеют просо, ячмень, пшеницу и гималайский ячмень. Муку мелют ручными мельницами, хлеб сеют в третьей (апрель.— С. В.), а убирают в девятой (октябрь.— С. В.) луне» [Бичурин, 1950, т. I, 351]. Сходное сообщение содержится в главе 99 «Тайпинхуаньюй-цзи», где говорится, что кыргызы «постоянно пашут и сеют» в 3 луну, а «собирают [урожай]» в 8 и 9 луну, причем они имеют «ячмень, пшеницу, темное просо, конопляное семя» [Кюнер, 1961, 58]. Эти сведения можно отнести и к кыргызам, поселившимся в Туве в IX в.

Известно, что в монгольскую эпоху земледелие внедрялось в Туве насильственными методами путем насаждения

военно-пахотных поселений, в которых трудились переселенцы из Китая и некоторых других районов подвластного монголам мира. Однако, судя по источникам, земледелием занимались и местные племена, в частности осевшие здесь кыргызы. Так, в одном из источников сообщается, что, если идти в «Цяньцянчжоу» (так именовалась, вероятно, территория Центральной и Западной Тувы), достигаешь «пашенных земель цзилицисы» (кыргызов.— С. В.)» [Кюнер, 1961, 283—284].

В средневековой Туве наряду с плугами, отдельные детали которых, в частности лемеха и отвалы, требовали весьма сложных методов изготовления, существовали и более простые, примитивные деревянные пахотные орудия плужного типа, подобные тувинскому *андазыну* (о нем см. ниже); железные наконечники этих орудий, в том числе, очевидно, и древние, известны среди случайных находок. Примитивные пахотные орудия использовались кочевыми скотоводами, в то время как сложные плуги были в употреблении у оседлых жителей, в том числе у земледельцев военно-пахотных поселений, значительная часть которых состояла из лиц, переселенных в Туву монгольскими властями.

В послемонгольское время в Туве наступил упадок оседлого земледелия, связанного с военно-пахотными поселениями; что же касается земледелия кочевых скотоводов Тувы, то оно, по-видимому, даже получило большее развитие, так как скотоводам стало значительно труднее получать необходимое им зерно в обмен на скот.

К сожалению, конкретные формы земледелия у кочевых скотоводов Тувы в средние века из-за недостатка источников остаются неизвестными, однако можно полагать, что они имели в основном те же черты, что и в более позднее время.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ У ТУВИНЦЕВ В XIX—НАЧАЛЕ XX в.

Первые сравнительно подробные сведения о характере земледелия у тувинцев-скотоводов были приведены Ф. Коном [Кон, 1934, 106—108], материалы которого легли в основу более поздних описаний тувинского земледелия [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III. 80—84; Дулов, 1952]. Однако в этих работах имеется ряд весьма досадных пробелов и неточностей, в особенности касающихся техники земледелия, характера ирригационной системы и земледельческих орудий.

Пашни кочевых скотоводов Тувы в конце XIX — начале XX в. располагались главным образом в долинах Хемчика (исключая его верхнее течение) и Улуг-Хема, в нижнем течении Бий-Хема и Каа-Хема, а также на юге Тувы в север-

ных предгорьях Танну-Ола и — в очень небольшой мере — в его южных предгорьях. Большая часть посевных площадей кочевников Тувы находилась в долине Хемчика. О хлебопашестве тувинцев бассейна Хемчика в десятых годах XX в. сохранилось свидетельство А. П. Ермолаева, который писал в своем неопубликованном отчете: «После скотоводства важнейшее занятие урянха — земледелие: не занимаются пашней только те хозяйства, чьи кочевки расположены в местностях, где посев невозможен. Приблизительный подсчет посевов в 1916 г. дал для Хемчикского бассейна 12000 шанов (о размере *шана* см. ниже. — С. В.)... Громадное большинство пахотных угодий расположено в долине Хемчика, в долинах его правых притоков» [ККА, ф. 217, оп. 2, л. 26 об.].

Значительное преобладание пашен кочевников в бассейне Хемчика сохранялось и в первые послереволюционные годы. Некоторое представление об этом дают материалы переписи 1931 г., свидетельствующие, что в западных районах (хошуны Барун-Хемчик и Дзун-Хемчик), значительная часть площади которых приходилась на бассейн Хемчика, тувинцы засевали 5885 га, а во всех других районах лишь 2827 га, т. е. вдвое меньше, причем в Тодже вообще не занимались земледелием [ТСДП, 44—48].

Примерно пятая часть посевов кочевого населения приходилась на бассейн Улуг-Хема в Центральной Туве. Кон, побывавший здесь в начале XX в., писал, что по правобережью Улуг-Хема хлебопашество практикуется в местности Суглуг-Бом, затем издавна в больших размерах по р. Ээрбек, где вся местность изрезана оросительными сооружениями, а также по небольшому степному ручью Турген между устьями рек Ээрбек и Баян-Гол. На левобережье Енисея хлеб сеяли по р. Хадын, по небольшим степным речушкам, по рекам Межегей и Элегесту [Кон, 1903, 19—20].

В Восточной части Тувы кочевое население до революции занималось земледелием в сравнительно небольших размерах. По данным неопубликованного отчета А. А. Турчанинова за 1915 г., земледелие здесь было распространено в пределах треугольника между слиянием Бий-Хема и Каа-Хема и Ондумским хребтом, причем выше р. Черби оно не встречается [РФ ТНИИЯЛИ, № 8, 64].

В меньших размерах занималось земледелием население, кочевавшее в южных районах Тувы. Пашни здесь были расположены главным образом вблизи рек и озер в северных и южных предгорьях Танну-Ола. О занятиях земледелием отдельных групп тувинцев, кочевавших к югу и северу от Танну-Ола, имеются сведения в неопубликованном отчете Мальцева. Он писал незадолго до революции, что кочующие к югу от Танну-Ола тувинцы сумона Чооду сочетают ското-

водство с земледелием по рекам Улясутай и Арысканный и у оз. Кара-Нор, а тувинцы группы кыргызы — по рекам Морен, Эрзин, Тонгол и некоторым другим, причем тувинцы этой группы начали заниматься земледелием, по утверждению Мальцева, лишь в начале десятых годов XX в. Иргиты, кочевавшие к северу от Танну-Ола, имели, по его словам, пашни около устья р. Судар-Ам [ГАИО, ф. 25, оп. 13, св. 7, д. 89, лл. 57—58].

Выше уже отмечалось, что кочевые тувинцы-скотоводы обычно располагали пашни, если это было возможно, вблизи от весенне-осенних стоянок, но иногда пашни размещались далеко от мест кочевки, за несколько десятков километров от них. В таких случаях к пашням выезжали только мужчины, а женщины оставались в аалах, где вели домашнее хозяйство, ухаживали за скотом. Однако подавляющее большинство хозяйств имело пашни менее чем в 5 км от осенне-весенних стоянок. По переписи 1931 г., лишь около 15% всех хозяйств уезжали к пашням на расстояние свыше 5 км [ТСДП, 104—109].

Поездка для посева на пашню у большинства аалов совпадала с кочевкой с зимников на весенники, а период уборки хлеба — с перекочевкой с летников на осенние пастбища. Часть же хозяйств кочевала к хлебу независимо от сложившихся маршрутов, так как удобных пастбищ рядом с пашнями не было. В таких случаях некоторые аалы совершали две кочевки весной и две осенью. Большинство же хозяйств в подобных случаях совершало всего четыре перекочевки по сложившимся маршрутам, а на пашню на время земледельческих работ выезжали мужчины. Так, по рассказу моего информатора Девека Карасала из урочища Хана-Даг, в местах, близких от весенне-осенних стоянок его аала, не было пригодных для орошения полей и поэтому их пашня находилась далеко, на р. Чыргакы, и ехать туда приходилось почти два дня. На пашне мужчины аала находились при проведении орошения и пахоте семь-десять дней, а приезжая для летних поливов, задерживались всего три-четыре дня [АИЭМ, ф. 3, оп. 1, № 47, лл. 15—17]. М. Н. Черневич писал в 1911 г., что тувинцы не живут оседло около своих полей и приезжают к ним только во время посева и жатвы, орошения поля. Иногда остается сторож смотреть за действием оросительных каналов [ЛОААН, ф. 78, оп. 1, № 104, л. 33]. Аналогичным образом занимались «кочевым» земледелием киргизы, монголы и другие скотоводческие народы Центральной Азии. Почти весь труд в земледелии ложился на плечи мужчин, хотя в некоторых видах работ иногда участвовали и женщины, что было характерно также для монголов, южных алтайцев, киргизов, казахов и других кочевых скотоводческих народов.

В конце XIX — начале XX в. земледелием занимались, по-видимому, более половины всех хозяйств кочевых тувинцев-скотоводов, однако точно учтенных данных на этот счет нет. Лишь перепись 1931 г. позволяет выявить количество тувинских хозяйств, сочетавших скотоводство с земледелием, и дает следующие цифры (обобщенные посевы в тувинских ТОЗах площадью 385,56 га, т. е. менее 5% общего количества посевов, сюда не включены) [ТСДП, 44—49]:

Хошун	Общее число хозяйств	Число хозяйств с посевами	Число хозяйств без посевов	Всего посевов, га
Барун-Хемчик . .	3 640	2 649	991	2721,83
Дзун-Хемчик . .	4 369	3 448	921	3163,25
Улуг-Хем	2 950	2 353	597	1577,41
Каа-Хем	2 476	1 552	924	1025,10
Тес-Хем	1 645	734	911	224,89
Итого	15 080	10 736	4344	8712,48

Из материалов переписи видно, что в начале 30-х годов свыше 70% тувинских хозяйств наряду со скотоводством занимались земледелием. Разумеется, при этом следует учитывать, что в первой четверти XX в. имел место определенный рост числа хозяйств тувинцев, сочетавших кочевое и полукочевое скотоводство с земледелием.

Основными культурами, которые возделывали тувинцы, были просо *чинге тараа* (в восточных районах *хоо тараа*) и ячмень *арбай* или *кёже*, встречавшийся в нескольких формах, среди которых преобладал голозерный. В меньшей мере сеяли пшеницу *кызыл тас* или *ак тараа*, причем наибольшее распространение имели разновидности мягких пшениц, а также овес *сула*. На периферии земледельческой зоны и в горных районах преобладал ячмень, в центральных районах Тувы, в ее долинах, на сухих и легких почвах сеяли главным образом просо. В долине Хемчика в начале XX в. сравнительно многие хозяйства возделывали пшеницу. Однако, по утверждению старого арата Монгуша Эдер-оола (пос. Хөндергей), в Западной Туве посевы пшеницы появились лишь в конце XIX в., а до этого, в годы молодости его деда, о пшенице никто не знал и сеять ее начали только под влиянием русских [АИЭМ, ф. 8, оп. 1, т. 7, л. 15 об.]. Аналогичные сведения я получил и от других моих информаторов.

О культурах, засевавшихся тувинскими кочевыми скотоводами в конце 20-х — начале 30-х годов, дают представление данные переписи 1931 г., характеризующие соотношение культур на 100 га посевов [ТСДП, 160]:

Просо	40,3%
Ячмень	32,5%
Пшеница	17,9%
Прочие	9,3%

В 1931 г., по данным переписи, в районах, где значительная часть посевов была расположена высоко над уровнем моря, преобладал ячмень: из 2721,83 га посевов в Дзун-Хемчикском районе ячмень был посеян на 1578,5 га, т. е. составлял около 60%; в Тес-Хемском районе из 224,89 га всех посевов ячмень занимал 175,28 га, т. е. около 80%.

Подобная картина была характерна и для алтайцев: даже в 1896 г., когда алтайцы уже сеяли пшеницу, рожь и овес, посевы ячменя составляли у них около 60% всех посевов [Швецов, 1900, 4]. В то же время в большинстве других районов Тувы посевы ячменя уступали посевам проса. Так, в Улуг-Хемском хошуне просом засеивали 1075,15 га, а ячменем лишь 166,72 га, в Каа-Хемском районе просом — 450,11 га, ячменем — 112,75 га [ТСДП, 44—49].

То обстоятельство, что в конце XIX — начале XX в. посевы ячменя преобладали в гористых, высоко расположенных районах, объясняется его исключительной сравнительно с другими культурами устойчивостью по отношению к резким колебаниям температуры и заморозкам. В Киргизии кочевые скотоводы также в высокогорных районах высаживали преимущественно ячмень [История Киргизии, 1956, 209]. По данным Н. И. Вавилова и Д. Д. Букинича, ячмень в условиях Афганистана засеивался до высоты 3400 м, в то время как крайняя высота посевов проса не превышала 2610 м [Вавилов, 1959, 207]. В Туве крайние высоты посева ячменя были значительно ниже, не превышая, по моим наблюдениям, 1500 м над уровнем моря, что было вызвано более суровыми климатическими условиями Тувы по сравнению с Афганистаном. Впрочем, и в Средней Азии культуры ячменя и проса располагаются ниже, чем в Афганистане [Вавилов, 1959, 210].

Вместе с тем преобладание ячменя в Туве на западной и южной периферии земледельческой зоны, а проса в ее центральной части могло быть связано также и с древними земледельческими традициями отдельных этнических групп кочевников. На подобные явления в условиях Афганистана указывали Вавилов и Букинич, которые отмечали локализацию сельскохозяйственных культур не только по разным высотам, но и по отдельным зонам, причем причину этого авторы справедливо видели в особенностях этнической истории народов Афганистана. В числе факторов, влиявших на данное явление, Вавилов и Букинич отмечали разобщенность отдельных этнических групп, каждая из которых имела зем-

ледельческие традиции, связанные с определенными культурами хлебных злаков [Вавилов, 1959, 200—212].

Нередко у тувинцев одно хозяйство высевало и просо и ячмень, причем, по свидетельству моих информаторов, в таком случае хозяйство обычно имело посевы в двух разных местах. Ячмень высевали на пашне, расположенной на возвышенных участках вблизи горной тайги, а более теплолюбивое просо сеяли в низко расположенных долинах.

Размеры пашен у тувинцев были сравнительно невелики, лишь в редких случаях превышая полтора-два гектара. Даже в 1931 г., когда существовала определенная тенденция к росту площади запашки, участки размером свыше полутора гектаров имело лишь немногим более десятой части всех хозяйств. Это видно из следующих данных переписи 1931 г. [ТСДП, 44—49]:

Площадь посева, га	Число хозяйств
0,01—0,25	1332
0,26—0,5	3004
0,51—1	3015
1,01—1,5	1649
1,51—2	881
Свыше 2	478

Небольшой размер посевных площадей был характерен и для монголов, киргизов, алтайцев-скотоводов. Так, например, по данным переписи конца XIX в., большинство (59%) алтайских хозяйств имело посевы от 0,5 до 2,5 десятины и лишь 7,2% хозяйств — более 2,5 десятины. Значительная часть хозяйств (14,8%) обрабатывала от 0,1 до 0,3 десятины [Швецов, 1900, 6]. Однако не следует думать, что столь малая площадь запашки характерна для всех кочевых скотоводов: так, в Киргизии они имели, по крайней мере в начале XX в., пашни в среднем в 3—4 га; при этом в горных районах запашки были меньше, а в долинах больше, так что их размеры могли колебаться от 2 до 12 га [Погорельский и Батраков, 1930, 20—25].

Обычно тувинцы определяли площадь своих пашен в местных мерах шан, которые в среднем соответствовали 4000 кв. м, как выяснилось в процессе переписи 1931 г. [ТСДП, 9]. В литературе справедливо отмечалось, что в отдельных районах Тувы были расхождения в определении этой меры [Дулов, 1952, 311].

Возможность ведения земледелия отдельными хозяйствами кочевых скотоводов определялась не столько наличием или отсутствием пригодных для земледелия участков, сколько наличием или отсутствием тягловой силы для вспашки и зерна для посевов. Лишь в районе Чадана с его

сравнительно густым населением, как сообщили мне информаторы, в конце XIX — начале XX в. далеко не все желавшие заниматься земледелием имели пригодные для этой цели участки.

Споры из-за земли были очень редкими. В тех случаях, когда они все-таки возникали, как отмечал Кон, право на пользование участком земли признавалось за тем человеком, который мог доказать, что либо он сам, либо его предки обрабатывали этот участок прежде. За этим же человеком признавалось право на распашку прилегающей к его участку земли [Кон, 1934, 106]. Поэтому обычное право закрепляло участки пашни за определенными лицами в наследственном владении. «Споры по этому вопросу, — писал Кон, — решаются в первой инстанции чиновником, специально ведающим всеми делами по хлебопашеству, — „тара тарга“ (тара даргазы. — С. В.) (хлебный тарга), а затем, по инстанциям: „кунду“ (хунду. — С. В.), „джангой“ и т. д.» [Кон, 1934, 106].

Богарное земледелие из-за засушливого климата тувинцами не применялось. Земледелие основывалось исключительно на искусственном орошении. Ведя кочевой образ жизни, тувинские араты проявляли поистине необычайное трудолюбие и изобретательность, чтобы при помощи примитивных орудий, в условиях сложного горно-степного рельефа, нередко вдали от кочевков не только сооружать, но и поддерживать в хорошем состоянии ирригационную систему, что было весьма нелегко. Бурные горные реки — главный источник водоснабжения оросительных каналов — нередко меняли русла, высокие паводки часто разрушали и заносили илом ирригационные сооружения, заставляя вновь и вновь восстанавливать их.

Характер ирригации практически не различался в отдельных районах Тувы. Орошение было самотечным. Для распределения воды по пашням использовалась система, состоявшая из основного магистрального канала *буга*, непосредственно от которого (или от отвода от него) шли оросительные каналы *сумун*, шириной обычно до 50—80 см, ограничивавшие участки отдельных хозяйств, а от сумунов под прямым углом к ним отводились оросители *арык* шириной до 12 см.

Сумуны отводились на удобных для полива участках. Расстояние между арыками зависело от рельефа, характера почвы и напора воды в канале. Оно определялось на глаз и составляло до 4 маховых сажен, т. е. до 8 м, но на некоторых недостаточно обводнявшихся пашнях это расстояние сокращалось до 3—4 м. Площадь между арыками называлась *орун*. Оруны были более или менее одинаковыми лишь на пашнях одного хозяина. 5—8 орунов обычно считались одним шаном. Все это и объясняет столь удивлявшее путе-

шественников расхождение в площади шан у разных групп тувинцев.

По собранным мною данным, в конце XIX — начале XX в. в Туве было более 200 каналов, орошавших поля кочевых тувинцев-скотоводов. Главным источником водоснабжения этих каналов являлись горные реки. Сведения о каналах, использовавшихся в 1931 г., имеются в цитировавшейся выше переписи. Наибольшее количество — 66 каналов — было выявлено в Дзун-Хемчикском районе, где они имелись в каждом из 15 сумонов. Количество каналов в сумонах различалось. Так, в сумоне Хөндергей было семь каналов, в сумоне Теве-Хая — всего два канала. На территории этого района из Хемчика было отведено 4 канала, а всего из Хемчика тувинцы отводили воду по 12 каналам. Сравнительно много — 14 каналов — было построено по берегам р. Чаа-Холь, 7 каналов выведено из р. Барлык. Всего переписью отмечено свыше 230 каналов.

Каждый канал имел в Туве свое название. Так, В. Ошурков пишет, что один из каналов по Хемчику назывался Нусчуя [Ошурков, 1904, 112]. Обычно каналы получали название в зависимости от местности, по которой они проходили. Мой информатор Монгуш Эдер-оол из пос. Хөндергей рассказал, что в этой местности канал, которым он пользовался, назывался Удуш-Чыра бугазы (канал ивовой роши). Кроме этого канала в Хөндергее было еще пять каналов: Дöргүн бугазы (канал в долине), Хараганныг даг бугазы (канал горы с караганныком), Дөн кара өдек бугазы (канал на возвышенности, где остался навоз, — т. е. там, где когда-то стоял аал) и др. Источником оросительной сети здесь служили две небольшие горные реки Аныяк-Хөндергей и Улуг-Хөндергей, от которых вода отводилась по упомянутым выше шести каналам. Они принадлежали всем копавшим их жителям арбанов сумона Кара-Монгуш. Так, например, канал Мыйяктыг бугазы был сооружен аратами двух арбанов и им принадлежал. Совместно строили и расчищали только каналы буга и сумун, а рыки на своем участке каждый владелец делал сам.

Головная часть магистральных каналов располагалась нередко на значительном удалении от пашни вверх по течению горных рек. На берегу реки с большим уклоном русла копался отвод, который имел значительную протяженность. В начале 50-х годов мне еще удалось выявить в долине Хемчика старые системы ирригации, существовавшие у тувинцев в конце XIX — начале XX в., длиной от 1—2 до 17 км. По сообщению В. А. Ошуркова, ему пришлось видеть в Западной Туве в районе Барлыка канал буга длиной в 20—25 верст [Ошурков, 1904, 112]. Но подобные магистральные каналы были большой редкостью. Ширина каналов

колебалась от 2—3 до 5 м, но встречались и более широкие. Глубина осмотренных мною старых, но сохранившихся каналов редко превышала 0,8—0,9 м, а ширина — 1 м. Осмотренный мною канал в Бай-Сюте Каа-Хемского района под названием Аът-Кештиг бугазы (по названию урочища) имел ширину около 0,6—0,7 м. А. В. Адрианов указывает ширину канала на Барлыке в 4 сажени (около 8,5 м), а глубину до 2,5 сажени [Адрианов, 1888, 196—197].

Буга и сумун копали лопатами *хүйрек*, мотыгами *кускунхай* и землекопалками *озук*, а расчистку вели деревянным гребком *хетне*. Обводнительные борозды-арыки выпаживались андазыном. Лопаты имели широкую и несколько закругленную внизу рабочую часть, мотыги делались двух типов — с широкой и округлой железной пластиной, напоминающей среднеазиатский кетмень, либо с удлиненной и слегка загнутой внизу ударной частью, более близкой к кирке русского типа. Землекопалки были сделаны из одного куска корневой части дерева; в верхней части ее имелся небольшой изгиб, служивший рукояткой, а внизу, отступая 20—30 см от заостренного конца, делался обычно небольшой уступ для упора ноги (иногда применялись землекопалки и без уступа). На заостренную рабочую часть землекопалки нередко прибавляли железный наконечник. Такие землекопалки, заменявшие большинству тувинцев мотыгу, были широко распространены у народов Саяно-Алтая, в Средней и Центральной Азии. Известно, что землекопалка с уступом для упора ноги относится к числу древнейших земледельческих орудий не только Старого, но и Нового Света. Гребок состоял из длинной рукоятки с поперечно насаженной на нее доской.

Следует отметить, что в отличие от других земледельческих орудий мотыги имели лишь очень немногие хозяйства. Даже по переписи 1931 г. мотыг и кирок, которые учитывались переписью совместно, у населения имелось всего 493, в то время как землекопалок *озук* в Туве было почти 5 тыс. штук (ТСДП, 60).

Нередко для увеличения количества воды в канале делались дамбы, или, точнее, небольшие струенаправляющие шпоры, известные многим земледельческим и скотоводческим народам. Шпоры *ош* сооружали, используя листовенные колья, дерн, камни. Располагали шпору у нижнего края головной части канала под углом к направлению водного потока. Колья вбивали в дно впритык один к другому таким образом, чтобы их верхний край выступал над водой. Затем их плотно обкладывали дерном со стороны течения и закладывали камнем. На небольших реках такие шпоры нередко доходили до середины реки. Вероятно, подобную шпору имел в виду А. В. Адрианов, когда он писал, что у устья

Барлыкского канала был «выведен на некоторое расстояние барьер в виде клапана, назначение которого загнать побольше воды в арык» [Адрианов, 1888, 196—197]. Если на пути канала встречались рвы, углубления в почве, то сооружались деревянные акведуки *онгача* из бревенчатых желобов, опиравшихся на высокие деревянные стойки *таван даяк*. Желоба делали из стволов тополя, очищенных от коры и выдолбленных при помощи топора и тесла. Желоб служил обычно до шести лет. Ширина желоба достигала 70—80 см. Через широкий лог делали два-три желоба. Стойки ставили в местах соединения желобов. Иногда использовались для этой цели сохранившиеся в Туве древние каменные акведуки, как, впрочем, и сами древние каналы.

Магистральный канал ранней весной сообща очищали и подготавливали к поливу. Как уже отмечалось, с этой целью на пашню выезжали мужчины аалов, владевших участком. Для руководства работой выбирали наиболее опытного из них, который именовался *дарга-даамыл*.

Для полива первого участка русло сумуна перекрывалось ниже начала арыка. Перекрытие производилось забрасыванием русла сумуна землей. Вода устремлялась в арык. После того как земля насыщалась влагой, плотинку разрушали и сооружали другую у начала следующего арыка. Арыки также перекрывали через каждые 8—9 м земляными валиками *кулак* шириной до 1—1,5 м, в результате чего вода растекалась по участку. Такой способ орошения, который можно назвать способом напуска и затопления, известен ряду евразийских народов, в том числе афганцам, но отличается некоторыми особенностями [Вавилов, 1959, 159—160]. Подобный способ полива был широко распространен в Средней и Центральной Азии.

Орошение пашни проводилось один раз до посева и от одного до пяти раз производился вегетационный полив после появления всходов. Длительность увлажнения участка зависела от почвенных условий. Так, сухие песчаные почвы «размачивали» один-два дня, глинистые до пяти-шести суток. Количество вегетационных поливов зависело от дождей: если лето было дождливое, то ограничивались двумя поливами, если засушливое, то пускали воду до шести раз. Для этой цели, как уже отмечалось выше, мужчины на несколько дней покидали летние кочевки и приезжали к посевам и по очереди пускали воду на свои поля. Летний полив носил название *тара сугарар*, т. е. «поить хлеб».

Система ирригации и техника вегетационных поливов у тувинцев сходна с применяемой у алтайцев, киргизов, монголов, причем ближайшие аналогии она имеет главным образом в западном кобдо-уланском и южных земледельческих счагах Монголии, где наряду с предпосевным орошением поч-

вы проводится еще от трех до шести вегетационных поливов в отличие от Хангайско-Хантайского горного района, где посевные участки обычно получают воду только один раз весной [Шубин, 1953, 114].

После орошения участка, когда земля несколько просыхала, но была еще сырой (обычно через два-три дня), производили посев вручную — взяв горсть из шапки, полы халата или мешка, равномерно разбрасывали семена. Некоторые тувинцы предпочитали высевать семена, предварительно вымоченные, другие — сеяли сухие семена. После того как весь участок был засеян, его вспахивали андазыном, присыпая семена землей. Глубина вспашки составляла 8—12 см, ширина 10—12 см.

По сведениям моих информаторов, у тувинцев высевали на гектар примерно 20—25 кг проса, а ячменя и пшеницы в 2—3 раза больше. По данным Кона, на одной полосе (ее площадь он, к сожалению, не указывает) высевали 30 фунтов зерна, а собирали 7—10 пудов [Кон, 1934, 108]; у кочевых монголов нормы посева были близки к тувинским: на 1 га высевалось до 25 кг проса, а пшеницы от 90 до 120 кг [Шубин, 1953, 113]. В качестве тягловой силы на пахоте использовали обычно быков, гораздо реже — лошадей. Во время пахоты один человек направлял андазына, а другой — его помощник (обычно подросток) — управлял волом или лошадей, сидя в седле.

До конца XIX в. почти единственным пахотным орудием у тувинцев был уже упоминавшийся андазын, и лишь несколько хозяйств имели покупные плуги, приобретенные у русских. В начале XX в. число тувинских хозяйств, пользовавшихся покупными плугами, возросло, но еще в 1931 г. 1070 тувинских хозяйств (т. е. около 10% всех хозяйств, сочетавших скотоводство с земледелием) пользовались только

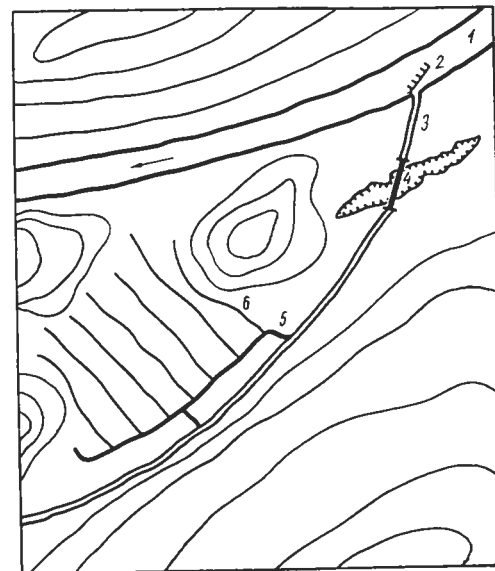


Рис. 17. Схема орошения у кочевых тувинцев:

1 — река; 2 — струна, направляющая шпора (*отши*); 3 — магистральный канал (*буга*); 4 — акведук (*онгача*); 5 — оросительная канава (*сумун*); 6 — ороситель (*арык*)

андазыном [ТСДП, 58]. В основе конструкции андазына была рассоха, т. е. отрезок ствола с большим толстым суком или корнем, причем последний служил горизонтальной рабочей частью — полозом *бажы* (длина 40—50 см), а расположенный под углом около 90° отрезок ствола — стойкой *унну* (длина около 1 м). На конец полоза надевался обычно железный сошник *андазын бизи* (ширина 7—8 см, длина 12—14 см), но нередко пахали и без сошника. К верхней части стойки прибивали или укрепляли в специальном отверстии деревянную палку длиной до 40 см, служившую рукояткой (*туда*). В нижней части стойки вблизи изгиба полоза в специальном отверстии под небольшим углом к полозу укреплялся длинный брус (до 4 м длиной), служивший грядилем *сумуни*. На переднем конце грядиля имелось отверстие, через которое привязывали специальный кожаный ремень *баг*. Другой конец баг был привязан к середине толстой деревянной березовой палки *дагым*. К ее концам в свою очередь привязывали кожаный аркан, охватывавший седло (верховое или выючное) запряженного вола или лошади. Для закрепления аркана на обоих концах дагым имелись углубления. На рабочую часть обычно надевали железный сошник. Грядиль служил для передачи движения от запряженных волов к корпусу андазына и для удержания полоза под определенным углом, от чего зависела глубина вспашки, достигавшая, как мы уже отмечали, 8—12 см.

Подобное андазыну пахотное орудие под сходным названием было известно широкому кругу народов Центральной Азии: монголам, южным алтайцам, бурятам и некоторым другим. Конструкция андазына близка киргизскому буурсуну, туркестанскому омачу, афганскому плугу и некоторым другим пахотным орудиям Средней и Центральной Азии.

Андазын обычно называют сохой, но это не совсем верно. Называть его плугом в современном смысле этого слова также нельзя, так как функции плуга предусматривают не только подрезание земли, но и ее отваливание и переворачивание. Андазын в этом отношении напоминает скорее рало с полозом. Известно, что рало — одно из древнейших пахотных орудий человечества, которое было в употреблении уже в III тысячелетии до н. э. Как и рало с полозом, андазын отрезал пласт почвы в горизонтальном направлении и сдвигал почву в сторону от борозды, приближаясь в этом отношении к орудиям плужного типа. При обработке мягкой земли после полива андазын не только сдвигал почву, но и несколько переворачивал ее, в особенности при небольшом наклоне орудия, но так как андазын не имел специального отвального приспособления, он даже при наклоне не мог полностью перевернуть отрезанный пласт.

После пахоты поле боронили. Для этой цели использова-

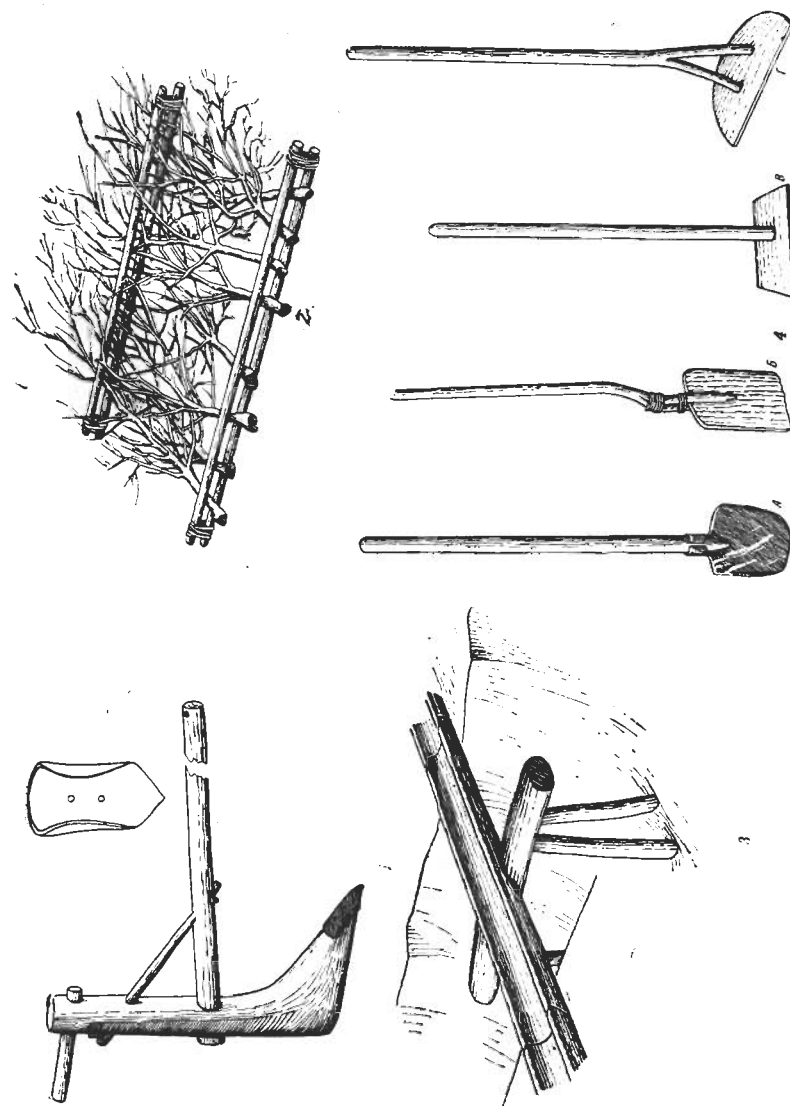


Рис. 18:
1 — пахотное орудие (андазын) и железный сошник (андазын бизи); 2 — борона (харасан илир); 3 — аксудук (онгача); 4 — лопаты и гребки; А — железная лопата (денир хуирек), Б — деревянная лопата (маш хуирек), В, Г — деревянные гребки (герне)

ли обычно привязанную к тягловому животному таким же способом, как и андазын, борону *хараган илиир*, которая состояла из ветвей и срезанных у основания стволов караганника, скрепленных у краев четырьмя жердями (жерди связывались арканом). Ширина такой бороны составляла около 2 м, длина около 1,5 м. Иногда для боронования использовали также ветви ели.

Как правило, кочевые тувинцы одну и ту же пашню вспахивали и засевали два года подряд, реже — три (на второй год пашня носила обычно название *ангыс*), затем она оставлялась под паром.

После сева поле, чтобы предохранить его от потрав, огораживали сообра ивовыми ветками, корягами, сухими сучьями либо сооружали ограду, напоминающую открытый загон кажаа для скота. На полях, засеянных просом, обычно устанавливали пугало *хойутку*, сделанное из длинной жерди, поверх которой укрепляли чучело ястреба. Пугала предназначались главным образом для защиты посевов от воробьев *бора кушкаш* и журавлей *дурьяа*, которые нередко наносили большой вред урожаю. Сусликов *орге* вблизи пашен также старались истреблять при помощи петель, причем добытых сусликов съедали.

Пашню оставляли под паром на пять-шесть лет, пока она не покрывалась той же растительностью, какая была характерна для нее до первой вспашки. Лишь тогда она вновь признавалась пригодной для посева. Пашни не удобрялись. Необходимость во время кочевок надолго покидать поля сказывалась, разумеется, на культуре земледелия. Пашни, по свидетельству путешественников, были заполнены сорняками. М. Н. Черневич отмечал, что нередко «поля имеют вид запущенный с сорными травами, бывают размыты и занесены илом» [ЛОААН, ф. 78, оп. 1, № 104, л. 33].

Следует отметить, что залежные земли в индивидуальном пользовании не сохранялись. После того как их бросали, они обычно исключались из землепользования хозяйств. Именно это обстоятельство заставило участников переписи 1931 г. считать находящимися в землепользовании только площади, орошаемые с весны. При отсутствии же паров эта площадь целиком совпадает с посевной площадью [ТСДП, 8] (надо иметь в виду, что площади под паром обычно в несколько раз превышали размеры пашни).

Сроки жатвы в значительной мере определялись тем, было ли лето холодное и дождливое или, наоборот, сухое и жаркое. В последнем случае просо начинали убирать уже через 2,5 месяца после посева, а если шли затяжные дожди, то уборка начиналась через 3—3,5 месяца. Готовность хлеба к уборке определяли на зуб — если зерно было твердым, то начинали жатву. В жатве принимали участие обычно не

только мужчины, но и женщины и дети. Если хлеба были высокими, то пучки стеблей, зажатые в левую кисть, срезали серпом или ножом примерно на высоте около 20 см от земли; если стебли были низкими или полеглими, то их вырывали рукой вместе с корнем. Просо в снопы не вязали — оторванные или отрезанные пучки складывали слева от себя в небольшие кучки *тавыча*, состоявшие из трех-четырех пучков. В таком виде они лежали два-три дня, дозревая и высыхая, после чего их собирали и увозили на ток. Сжатые ячмень и пшеницу вязали в снопы *моожа* при помощи тоненьких веточек ивы, тальника и др. Снопы складывали рядами длиной в 10—15 м, повернув колосья в южную сторону. Поверх одного ряда клали второй и т. д.

После этого выбирали для молотбы небольшую площадку и очищали ее от травы. В середине площадки забивали столб высотой в 80—100 см, вокруг которого наваливали собранный хлеб. Затем связывали арканом за шеи несколько лошадей или волов (обычно пять-шесть животных, иногда больше) и привязывали их к столбу таким образом, чтобы можно было их гонять по кругу. Гонял животных обычно один всадник, как правило подросток. Чтобы обмолотить урожай с одного шана посева при помощи пяти-шести животных, требовалось обычно два дня молотбы; имевший всего одного-двух волов или лошадей бедняк затрачивал на молотбу значительно больше времени. Участок для молотбы иногда огораживали.

Когда зерно было обмолочено копытами животных, убирали солому. Потом провеивали зерно, подбрасывая на небольшой лопате. Дальше всего ветром относилось отходы *кудурук*, немного ближе плохое зерно (*ортузу*, т. е. середина), а совсем близко падало хорошее зерно *арыг бажы*. Арыг бажы оставляли для посева, ортузу ели, а кудурук использовали для подкормки истощенных животных весной. Указанный способ обмолота известен также монголам [Шубин, 1953, 115]. Любопытно, что применяемый монголами другой способ обмолота — при помощи катка — тувинцам почти неизвестен.

Большую часть зерна ссыпали в специальные ямы-шурфы *уургай*, где оно хранилось. Часть зерна держали в юрте в кожаных мешках (барба), в которые входило до 4 пудов. Ямы для хранения зерна выкапывали на сухих местах, выбирая, если это было возможно, участки с глинистой, тяжелой почвой. Ямам старались придать кувшинообразную форму со сравнительно узким горлом (*ас*), а их стенки и дно заглаживали. Диаметр горла в верхней части был обычно 30—35 см, высота около 10 см; глубина ямы 70—80 см, диаметр в ее средней части около 50 см. Наполнив уургай зерном до горла (в обычную входило два барба зерна, в боль-

шую — до семи), ее аккуратно прикрывали соломой или сухой травой, сухим дерном (травой вниз), иногда войлоком, корой, а сверху засыпали землей и разравнивали с тем, чтобы посторонний не мог заметить ямы. Уургай делали около пашни, вблизи осенне-весенних стоянок. По мере надобности зерно брали частями или полностью. По сообщению Кона, ямы охранялись [Кон, 1934, 108], что было, по данным моих информаторов, все же довольно редким явлением. По единодушному утверждению моих информаторов, хлеб в таких ямах сохранялся в хорошем состоянии до весны.

Аналогичный способ хранения зерна в ямах был известен и другим народам Центральной Азии, в частности монголам. Исследование зерна, хранившегося в ямах в Монголии, позволило специалистам прийти к выводу, что в условиях сухого климата Центральной Азии оно не сыреет и может весьма долго сохранять свои качества [Шубин, 1953, 115—116].

Муку из зерна получали главным образом при помощи ручных мельниц *дээрбе*. Они состояли из двух каменных дисков диаметром до 35 см и толщиной до 10—15 см. Нижний камень оставался неподвижен, верхний вращался. Последний был обычно толще нижнего. На внутренних сторонах жерновов имелись насечки, а также радиальные бороздки для выхода муки. На верхнем жернове вблизи его центра располагалась воронка для зерна. У внешнего края верхнего жернова имелось несколько углублений, в которые вставлялся конец палки, служившей рукояткой для вращения мельницы. Подобные мельницы имели весьма древнее и широкое распространение в Центральной и Средней Азии и Южной Сибири.

Таковы основные особенности и основные орудия тувинского земледелия. Хотелось бы остановиться еще на одном вопросе, представляющем интерес отнюдь не только для истории тувинского земледелия и скотоводства. Как уже отмечалось, для занятий земледелием в условиях кочевого и полукочевого скотоводческого хозяйства были необходимы не только пригодные участки земли, но и тягловый скот и запасы зерна. Поэтому наблюдения над тувинским земледелием не позволяют безоговорочно присоединиться к существующей точке зрения, согласно которой переход к земледелию у кочевников являлся результатом обнищания, потери скота и т. п. У отдельных скотоводческих народов такой процесс, по-видимому, действительно имел место, например у казахов [Жданко, 1968, 277], кочевников Золотой Орды [Греков, Якубовский, 1950, 19] и некоторых других [Марков, 1961, 123]. Однако это явление отнюдь не было универсальным и закономерным для всех кочевых скотоводов.

Среди тувинских кочевых скотоводов переход к земледелию был характерен не столько для бедняков, сколько

для обеспеченных скотом хозяйств. Особенностью этого процесса было освоение земледелия без оседания, при сохранении кочевого и полукочевого хозяйства. Мне рассказывали о многих тувинских семьях, которые в начале XX в., потеряв скот, были вынуждены отказываться и от земледелия. А. П. Ермолаев отмечал в своем отчете, что, по сведениям тувинских чиновников, в начале XX в. число хозяйств ара-тов, сочетавших скотоводство с земледелием, сокращалось [ККМ, оп. 91, № 694, л. 53].

О том, что бедняцкие хозяйства далеко не всегда имели возможность заниматься земледелием, свидетельствовал в конце XIX в. Н. Ф. Веселков, который писал, что у тувинцев хлебопашество было доступно далеко не всем, «в особенности для бедных, не имеющих своих быков...» [Веселков, 1871, 36]. Из данных, приводимых Е. К. Яковлевым, можно сделать вывод, что и часть бедняков занималась земледелием, причем нередко это позволяло бедняцким хозяйствам значительно улучшать свое материальное положение [Яковлев, 1900, 69]. Вместе с тем, по свидетельству моих информаторов, малоскотным беднякам было весьма трудно существенно повысить свое имущественное положение только за счет земледелия, так как за ссуду зерна и аренду тяглого скота приходилось отдавать значительную часть урожая. Яковлев указывал на это обстоятельство: «Бедняку, занимающемуся земледелием, он (бай.— С. В.) ссужает вола и семена, а себе берет $\frac{3}{4}$ урожая (из 40 барб — 30); тот, кто сеял, остается нищим» [Яковлев, 1900, 69].

Некоторые богатые скотоводы, судя по свидетельству моих старейших информаторов, по крайней мере в конце XIX — начале XX в. сами не сеяли, а получали хлеб от тех, кому они сдавали в аренду волов. Так, например, по рассказу моего информатора М. Эдэр-оола, бай Делег из сумона Монгуш, живший около Чадана, имел много скота, в том числе 10 волов, но сам земледелием не занимался, а сдавал волов в аренду беднякам, за что последние должны были отдавать ему часть зерна. Сам информатор брал в аренду на год вола, за что он должен был на своей пашне засеять зерном бай и орошать участок в один шан, с которого бай сам снимал урожай. Всего же Эдэр-оол засеивал два шана, с одного из которых он снимал урожай для себя.

Аналогичные сведения я получал от информаторов и в других районах Тувы. Подобная практика сохранялась еще некоторое время и после революции. Так, М. Г. Левин отметил в своем дневнике в 1926 г., что бедняки, которые арендовали у богатых скот на год, оплачивали это тем, что засеивали для хозяина скота 1 шан и осуществляли полив пашни. Они пользовались при этом семенами скотовладельца, который сам жал хлеб [АИЭМ, ф. 41, № 116, л. 92].

До переписи 1931 г. не было сведений о занятиях земледелием в различных по обеспеченности скотом имущественных группах тувинцев. Ниже приводятся такие данные, охватывающие 13829 хозяйств (исключены хозяйства, члены которых уходили работать по найму, а также использовавшие наемных работников):

Количество голов скота в хозяйстве (в переводе в крупный)	Число хозяйств	Из них с посевами
До 5	2026	1214
От 5,01 до 10	3808	2644
От 10,01 до 30	6575	4746
От 30,01 до 50	1094	751
Более 50	326	198

Мы видим, что среди бедняцких хозяйств, имевших до пяти голов скота (в переводе в крупный), около половины не имело посевов, т. е. относительное количество хозяйств, не занимавшихся земледелием, в этой группе было выше, чем во всех остальных. Наиболее высок процент хозяйств с пашнями среди преобладающей группы скотоводов, которые имели от 10 до 30 бодо скота (без пашни менее 30%).

Вместе с тем следует отметить, что четкая зависимость площади посевов в хозяйстве от количества скота, по данным переписи, не прослеживается. Это объясняется, на наш взгляд, тем, что беднейшие хозяйства, арендуя скот у баев, засеивали часть своей пашни для оплаты аренды. В таблице 5 приводятся данные о распределении групп хозяйств по площади посевов.

Таблица 5
Распределение тувинских хозяйств по количеству скота и площади посевов*

Количество скота в хозяйстве (в переводе в крупный)	Площадь посевов, га									
	0,01—0,1	0,11—0,25	0,26—0,5	0,51—1	1,01—1,5	1,51—2	2,01—2,5	2,51—3	3,01—4	4,01 и более
До 5	64	97	417	345	177	81	24	7	1	1
От 5,01 до 10	128	187	771	820	425	208	78	20	4	3
От 10,01 до 30	242	353	1321	1364	771	444	159	57	21	4
От 30,01 до 50	35	54	184	220	140	70	29	14	5	—
Более 50	12	17	46	44	39	24	11	2	3	—

* [ТСДП, 48].

Вероятно, подобное положение было характерно и для бурят, переходивших от кочевого скотоводства к комплексному хозяйству, включавшему земледелие. У бурят, судя по документам XVIII в., пашнями также обзаводились не только бедняцкие, но и весьма состоятельные хозяйства [Ким, 1968].

Кочевые хозяйства, обеспеченные скотом, могли без особого изменения сложившихся маршрутов и условий кочевания сочетать скотоводство с земледелием, что мы и наблюдаем в XIX — начале XX в. у тувинцев и других народов Центральной Азии и Южной Сибири. Примеры сочетания кочевого скотоводства с земледелием известны и в эпоху средневековья. Так, например, Барбаро писал о кочевниках Восточной Европы в XV в., что они сочетают кочевое скотоводство с земледелием. При этом пахотные участки располагались не далее двух дней пути от того места, где находилась орда кочевников. Завершив пахоту и посев, кочевники отправлялись в орду; когда же наступала пора жатвы, они вновь возвращались к своим посевам [БИПОР, 65]. Только наиболее бедная часть средневековых кочевников переходила на оседлость, делая земледелие своим основным занятием.

ПРОБЛЕМА ДРЕВНОСТИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ У КОЧЕВЫХ СКОТОВОДОВ

Вопросы древности традиций земледелия у кочевников почти не изучены, хотя и вызывают большой интерес.

Еще сравнительно недавно, когда была распространена точка зрения, согласно которой кочевое скотоводство всех народов возникло из охоты, большинство исследователей соглашалось с тем, что кочевники, постоянно нуждаясь в продуктах земледелия, получали их тем или иным путем от оседлых соседей и что отдельные части кочевых племен переходили на оседлость, приобщаясь к земледелию, но при этом исключалась сама возможность существования у кочевников земледельческих традиций. В этом отношении характерна точка зрения В. Г. Богораза, который считал, что степное животноводство вырастает из охоты на крупных травоядных и в отличие от земледелия, параллельно которому оно развивается, постоянно связано с передвижениями [Богораз-Тан, 1928, 83—84].

Ныне благодаря археологическим исследованиям и письменным источникам хорошо известно, что во многих районах Средней и Центральной Азии и Южной Сибири, где еще недавно господствовало кочевое скотоводство, в древности существовало сравнительно развитое земледелие. Однако очаги развитой земледельческой культуры создавались главным

образом оседлым населением, нередко этнически чужеродным кочевому. Что же касается позднейших кочевников, то возможность существования у них древних земледельческих традиций многими по-прежнему оспаривается.

В отношении тувинцев господствует точка зрения, согласно которой земледелие у них появляется лишь в XIX в. под влиянием китайцев или русских. Эту точку зрения пытался обосновать Дулов [Дулов, 1952]. Действительно, прямых указаний на существование в Туве земледелия в XVII—XVIII вв., когда здесь появились первые непосредственные наблюдатели быта тувинцев, не обнаружено. Обычно ссылаются на Пестерева, который, будучи в нескольких районах Тувы и на ее границах в конце XVIII в., подчеркивал в своих «Примечаниях»: «У всех кочующих сойот никакого хлеба нет» [Пестерев, 1793, ч. LXXX, 8]. Вместе с тем Л. Шварц [Шварц, 1864, 18], В. Радлов [Radloff, 1893, т. II, 174] и другие посещавшие Туву с середины XIX в. путешественники отмечают у тувинцев земледелие как подсобную форму хозяйства. Исходя из такого рода свидетельств, В. И. Дулов пришел к выводу о позднем появлении земледелия у тувинцев, о перерыве преемственности между древним занятием земледелием и позднейшим его развитием. Он полагал, что предки современных тувинцев относились к той группе тюрок, которая в древнейшие времена занималась не земледелием, а скотоводством или охотой, ссылаясь при этом на то, что «были такие тувинские племена, как, например, тоджинцы, которые в XIX и начале XX в. не знали хлебопашества» [Дулов, 1952, 307].

Совершенно очевидно, что отсутствие земледелия у тоджинцев, населявших высокогорную тайгу, не может служить аргументом в пользу концепции Дулова. Что же касается его вывода о том, что культура тувинцев не имеет земледельческих традиций, так как предки тувинцев, по его предположению, были лишь скотоводами и охотниками, не знавшими земледелия, то она противоречит как этнической истории тувинцев в целом, так и конкретным материалам по тувинскому земледелию.

В этой связи необходимо обратиться к земледельческой терминологии XIX — начала XX в. Тувинское *тары* «сеять» восходит к древнетюркскому *тару* — «возделывать землю» [Малов, 1951, 427] и имеет параллели в монгольском; так, тувинское название хлеба, зерна *тараа* может быть сопоставлено с монгольским *тариа[н]* [МРС, 302]. Тувинское название залежи *ангыс* восходит к аналогичному древнетюркскому названию пашни *ангыз*, упоминаемому в енисейских надписях Тувы [Малов, 1952, 95].

Тувинское пахотное орудие андазын, отличаясь от русских земледельческих орудий, применявшихся в Сибири, име-

ет ближайшее конструктивное сходство с подобными орудиями у алтайцев и монголов, а также с пахотным орудием типа *омач* в Средней Азии. Подобные плуги не могли быть и генетически связаны с китайскими [Стариков, 1967, 55—56]. Тувинское название плуга андазын аналогично алтайскому андазын и близко к монгольскому (халха) *андис[ан]* [МРС, 39]. Имеются параллели к этим названиям в бурятском *анзапан*, калмыцком *андсх*, дэрбэтском *анд[а]сха*. Этимологически название плуга андазын может быть сопоставлено с тунгусско-маньчжурским *ака* (раздвигать) и монгольским *анг* (щель), а тувинское название серпа *кадыыр* имеет параллели у всех монголоязычных народов: у халха — *хадуур*, бурят *хадуур*, *хажур*, калмыков *хадур* [Стариков, 1966, 14].

Преобладающий видовой состав земледельческих культур (голозерный ячмень, просо) тувинцев также указывает на воздействие земледельческих очагов сопредельных районов Азии [Вавилов, 1960, 117—135].

Ирригационная техника, применявшаяся тувинцами в конце XIX — начале XX в., имеет ближайшее сходство с той, которой пользовались южные алтайцы, монголы и некоторые народы Центральной, а также Средней Азии [Вавилов, 1959, 158—162]. Существование в тувинском языке развитой системы земледельческих терминов, в том числе связанных с орудиями труда, ирригацией, пахотой, уборкой урожая, приготовлением пищи и др., также указывает на существование многовековой традиции земледелия у кочевых тувинских скотоводов. Заметим, кстати, что богатые русские переселенцы в Туву, по данным агронома Турчанинова, для проведения оросительных канав приглашали тувинцев, пользуясь их богатым опытом в этом деле [РФ ТНИИЯЛИ, № 8, л. 15].

Некоторые авторы ссылаются на то, что в тувинском фольклоре воспеваются скотоводство, а о земледелии говорится с некоторым пренебрежением [Дулов, 1952, 307]. Однако в тувинском эпосе имеются многократные указания на занятия предков тувинцев земледелием, причем мы находим здесь традиционную терминологию, сохранившуюся у тувинцев поныне [Гребнев, 1960, 79—80]. Так что если ссылаться на фольклор, то он свидетельствует в пользу преемственности земледельческих традиций у тувинцев.

По всей вероятности, отсутствие сведений о земледелии у тувинцев до XIX в. было вызвано недостаточной осведомленностью путешественников. К такому выводу заставляют склоняться некоторые косвенные указания в источниках. Так, в русских документах за 1760 г. имеется запись о том, что «уряньхаец Саянской волости» Чеобу Хорин и его товарищи, кочевавшие летом на реках Ебоган и Кан, «часто виделись» с алтайцами, подвластными зайсану Кувшину, с целью обмена, причем «уряньхайцы» «на мену привозили хлеб» и другие

свои товары [МИС, 1866, 113—114]. Вывоз тувинцами хлеба своего производства на обмен к соседям (алтайцам и дархатам) многократно был засвидетельствован и позднее. Так, Я. П. Шишмарев, побывавший во второй половине XIX в. у дархатов, прямо указывает, что дархаты хлеб не сеют, а выменивают его у тувинцев и что последние занимаются земледелием [Шишмарев, 1871, 42].

Весьма сложным и недостаточно разработанным остается вопрос о земледельческих традициях у кочевых калмыков, монголов, бурят. Большинство исследователей придерживается мнения, что у калмыков не было земледельческих традиций и само земледелие возникло лишь в XIX в. И. А. Житецкий полагал, что калмыки начали заниматься земледелием не ранее 1878 г. [Житецкий, 1892, 183—184]; другой знаток калмыцкого быта, Н. Бурдуков, склонялся к тому, что начало земледелия здесь могло быть и ранее — после 1871 г. [Бурдуков, 1898, 70—71], наконец, У. Э. Эрдниев считает, что первые шаги в этой области можно отнести к 30-м годам XIX в., причем главным образом к тем хозяйствам, которые были связаны с русскими и украинскими переселенцами [Эрдниев, 1965а, 59].

В исторической литературе высказывалось мнение, что и монгольские и бурятские кочевые скотоводы до XVIII—XIX вв. не знали земледелия. Вместе с тем у бурят и монголов сохранился ряд земледельческих традиций (общие земледельческие термины и др.). О занятиях бурят и монголов в XVII в. земледелием свидетельствуют и русские землепроходцы [ДИБ, №№ 8, 25 и др.].

У нас нет оснований оспаривать мнение о том, что развитию в последние столетия комплексного скотоводческо-земледельческого хозяйства некоторых кочевых народов, в частности монголов, бурят и калмыков, предшествовал период, когда земледелием они не занимались. Однако было бы неверно делать из изложенного вывод, что сохранение у рассмотренных кочевнических народов земледельческих традиций является доказательством того, что все они произошли от племен, которые до перехода к кочеванию вели оседлое (полуоседлое) комплексное земледельческо-скотоводческое хозяйство. Как отмечалось, имеются серьезные основания полагать, что происхождение кочевых скотоводов шло двумя путями — как на основе перехода к кочеванию ранее оседлых земледельческо-скотоводческих хозяйств, так и путем освоения скотоводства (заимствованного у соседнего оседлого населения) бродячими степными охотниками, которые были незнакомы с оседлым земледелием [Вайнштейн, 1971в].

Несомненно, что у части кочевых скотоводческих народов определенные земледельческие традиции восходят еще к эпохе оседлого комплексного хозяйства. С другой стороны,

следует иметь в виду, что «чистые» кочевники, которые были бы в течение веков совершенно изолированы от земледельческой культуры, составляли нетипичное явление.

Исторические и этнографические факты свидетельствуют о том, что тогда, когда условия кочевания не позволяли заниматься земледелием даже в ограниченных размерах, у скотоводов сохранялась устойчивая связь с земледельческими группами, причем последние нередко были оседлыми представителями той же этнической среды, к которой принадлежали и кочевые скотоводы. Нельзя не вспомнить в этой связи правомерность известного положения К. Маркса, что «у всех восточных племен можно проследить с самого начала истории *общее* соотношение между оседлостью одной части их и продолжающимся кочевничеством другой части» [К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 28, 214].

Вместе с тем археологические и этнографические материалы свидетельствуют о том, что у многих народов в условиях господства кочевого (полукочевого) скотоводческого хозяйства и без элементов оседлости могло сохраняться земледелие в его своеобразных «кочевых» формах. Сама возможность ведения такого комплексного хозяйства доказана существованием его у многих кочевых скотоводческих народов Средней и Центральной Азии, Южной Сибири и Восточной Европы в XIX — начале XX в., причем земледелие велось у этих народов, как правило, при помощи традиционных примитивных орудий и на основе весьма архаичных методов, что важно подчеркнуть, так как некоторые авторы склонны объяснять существование у кочевников земледелия распространением в это время только более совершенных орудий труда и культуры обработки почвы.

Ныне уже многие исследователи признают возможность сохранения земледельческих традиций у кочевников на протяжении весьма длительного времени. Так, например, Т. А. Жданко отмечает, что у значительной части казахов в условиях кочевого (полукочевого) быта в течение веков сохранялось комплексное скотоводческо-земледельческое хозяйство [Жданко, 1968, 276—278]. С. С. Сорокин считает, что одной из черт всех форм скотоводства, приуроченного к поймам крупных рек и горным районам, было земледелие [Сорокин, 1961, 164—165]. В последнее время выявляется все большее количество фактов, позволяющих сделать вывод, что занятие земледелием является одной из особенностей горно-степного подтипа хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса Евразии. Однако нельзя не отметить, что и у некоторых кочевых скотоводов горно-степных районов земледелия не было; например, оно не отмечено у кочевых скотоводов горно-степных районов Закавказья [Калантар, 1887].

ПРИСВАИВАЮЩИЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВА

ИЗ ИСТОРИИ ПРИСВАИВАЮЩИХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВА КОЧЕВНИКОВ ТУВЫ

На большее или меньшее развитие земледелия в комплексном хозяйстве, основу которого составляло кочевое, полукочевое и полuosедлое скотоводство, оказывали влияние различные причины. Не последнюю роль здесь играла обеспеченность скотом, возможность регулярно получать продукты земледелия от оседлых соседей (путем ли военных набегов или в результате обмена), освоенность территорий, цикличность кочевок и возможность длительных стоянок. В определенных условиях от земледелия приходилось вовсе отказываться на какое-то время (периоды военных походов, непрерывное кочевание и др.). Именно в такие условия и были поставлены ойраты-калмыки, переселившиеся из Центральной Азии на берега Волги.

При благоприятных условиях (устойчивый режим кочевания с замкнутым циклом, определенная стабилизация политического положения в степях и т. д.) занятия земледелием возобновлялись, и это можно проследить почти у всех тюрко-монгольских кочевых скотоводческих народов Центральной Азии и Южной Сибири в XIX в. Данное явление вообще было характерно для всей зоны евразийских степей, включая Среднюю Азию и Казахстан, где по крайней мере в XIX в. хозяйственно-культурный тип кочевников-скотоводов включал как одну из существенных особенностей занятие части скотоводов нерегулярным земледелием [Андрианов, 1963, 29].

Ныне трудно решить, какая исходная форма хозяйства была в древности у того или иного народа, ставшего впоследствии кочевым — были ли это оседлые земледельцы и скотоводы или бродячие степные охотники. Это нелегко установить и потому, что в процессе исторического развития племени кочевников перемещались на большие расстояния, смешивались между собой. Однако несомненно, что вопрос о земледельческих традициях у отдельных групп кочевников требует дальнейшего изучения. Не исключено, что полное отсутствие земледельческих традиций у тех или иных групп кочевых скотоводов Евразии объясняется в некоторых случаях особенностями их хозяйственно-культурного развития, несвязанного в прошлом с земледелием.

Вместе с тем хотя начавшийся в I тысячелетии до н. э. процесс специализации скотоводства и формирования хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов в степях Центральной Азии и Южной Сибири, в том числе и в Туве, и привел к уменьшению роли земледелия в этих районах, однако нет никаких доказательств того, что народы, в древности занимавшиеся комплексным хозяйством, в результате перехода к кочевому скотоводству совершенно утратили в условиях нового хозяйственно-культурного типа земледельческие традиции.

У ранних кочевников горно-степных районов Тувы скотоводство дополнялось охотой, собирательством, а возможно, и земледелием. Охотились главным образом на копытных — благородного оленя, косулю, кабаргу, горных козлов; били лисиц, белок, соболей, волков и других зверей, а также птиц. Изображения диких животных, в особенности копытных, довольно часто встречаются на культовых памятниках («оленные камни») и украшениях, находимых в Туве и на сопредельных территориях. Особенности художественного воплощения образов животных не оставляют сомнений, что создававшие их мастера были хорошо знакомы с местной фауной и, вероятно, не раз близко встречали зверей во время охоты. В казылганских погребениях найдены амулеты, сделанные из зубов марала, кабарги, медведя, остатки беличьего и соболиного меха, а в одном из раскопанных мною курганов в могильнике Казылган вместе с погребенным был положен кожаный мешочек с кедровыми орехами [подробнее см.: Вайнштейн, 1955; его же, 1966а]. О развитости охоты в это время говорит и специализация охотничьих стрел как у племен Тувы, так и у населения сопредельных территорий [Волков, 1967, 26].

В Восточной Туве, на границе изобиловавшей зверем тайги и горно-степных районов, жили казылганские скотоводческие племена, у которых роль охоты была, вероятно, выше, чем у родственных им племен, населявших степи. Косвенным указанием на это служат находимые в раскопанных здесь погребениях остатки пищи из мяса диких животных; так, в одном из казылганских курганов в Тодже были обнаружены кости благородного оленя. В тоджинской горной тайге в это время обитали оседлые и полuosедлые племена, стоянка которых была открыта мною у оз. Азас (Тоджа) [см.: Вайн-

штейн, 1956а]. Раскопки этой стоянки, получившей название Тонмакской, показали, что для ее обитателей в течение веков, начиная с неолитического времени и до рубежа нашей эры было характерно охотничье-рыболовецкое хозяйство. Рыбу ловили, вероятно, разнообразными способами, среди которых, по-видимому, использовались орудия запорного рыболовства. Возможно, что в связи с последним обстоятельством местом стоянки были выбраны берега узкой протоки этого озера. Судя по найденным здесь многочисленным костным остаткам мясной пищи, охота велась главным образом на крупных копытных и водоплавающую дичь.

В первые века н. э. вместе с освоением выючного оленеводства быт местных таежных племен становится подвижнее и их хозяйство приобретает более ярко выраженную охотничью специализацию. Это проявилось, в частности, в исчезновении у берегов богатого рыбой озера следов долговременного пребывания таежных жителей.

В гунно-сарматское время охота сохраняла свое важное значение у скотоводческих племен, населявших горно-степные районы Тувы и оставивших многочисленные памятники сыынчюрекской культуры, в том числе интереснейшие писаницы с изображением сцен преследования и добычи зверя охотниками. Судя по петроглифам того времени, местные племена охотились главным образом на горных козлов, коз, маралов и других животных. Применялись облавные охоты на копытных с загонами. Об этом свидетельствует очень интересная композиция, выбитая на одной из скал в Западной Туве и изображающая облавную охоту на копытных с применением загона, которую ведут вооруженные луками всадники [Членова, 1956]. Помимо лука и стрел на охоте применяли копы и укрюки. Так, на писанице горы Сыын-Чюрек в Центральной Туве изображена группа охотников с длинными копьями в руках, которых сопровождают собаки с узкими мордочками, торчащими острыми ушами и загнутыми вверх хвостами. Здесь же удалось обнаружить изображение всадника с укрюком, преследующего горного козла [см.: Вайнштейн, 1958, табл. I, рис. 2].

В середине I тысячелетия в Западной Туве завершается в основном сложение горно-степного подтипа хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов сухой зоны умеренного пояса. Можно полагать, что в то время, как и много столетий спустя, роль и особенности присваивающих форм хозяйства у населения горно-степных районов Тувы были в основных чертах аналогичны тем, которые зафиксированы здесь исследователями в XIX — начале XX в.

В конце I тысячелетия у таежных племен Тувы, известных в источниках под названием «туба» («дубо»), охота, собирательство и рыболовство имели важнейшее хозяйственное

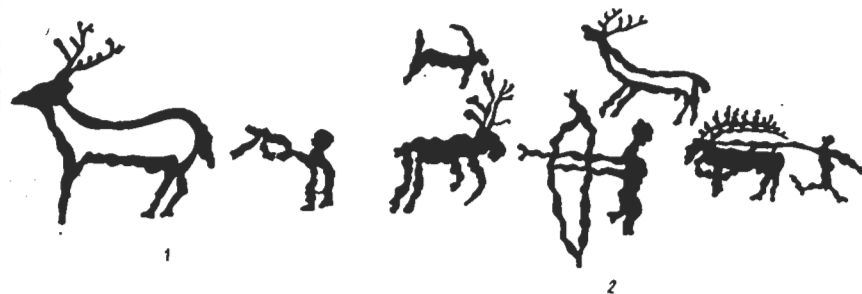


Рис. 19. Наскальные рисунки, изображающие сцены охоты. XVIII—XIX вв. (близ с. Тээли, Западная Тува)

значение. Китайские источники отмечают, что у этих племен «много сараны: собирали ее коренья и приготавливали из них кашу. Ловили рыбу, птиц, зверей и употребляли в пищу» [Бичурин, 1950, т. I, 348]. На охоте использовались лыжи. У таежных племен Восточной Тувы, именуемых в персидских источниках конца XIII — начала XIV в. лесными урянкатами, а в монгольских памятниках тубасами, охота, рыболовство и собирательство сохраняли важнейшее значение.

В XIV—XVI вв. у таежных племен Восточной Тувы вместе с освоением не только выючного, но и верхового оленеводства завершилось формирование основных черт горного подтипа хозяйственно-культурного типа охотников-оленьеводов тайги. Можно с достаточной степенью вероятности полагать, что в последующие столетия ни применение огнестрельного оружия, ни определенная специализация охотничьего промысла не внесли существенных изменений в роль и особенности присваивающих форм хозяйства у охотников-оленьеводов тайги и что их характерные черты дожили до XIX — начала XX в.

ПРИСВАИВАЮЩИЕ ФОРМЫ ХОЗЯЙСТВА У КОЧЕВЫХ ТУВИНЦЕВ В XIX—НАЧАЛЕ XX в.

Охота

В то время как охота у таежного населения Азии в XIX — начале XX в. изучена относительно хорошо, ее роль в хозяйстве кочевых скотоводов степных и горно-степных районов остается крайне слабо исследованной. В числе проблем, и поныне почти не освещенных в научных работах, можно отметить

важный историко-культурный вопрос о взаимоотношении охотничьих и кочевых скотоводческих форм хозяйства, на который обратил внимание еще Бартольд [Бартольд, 1968, 468]. Трудно сказать, что послужило причиной такого положения. Здесь следует отметить, что этот общий недостаток нашел отражение и в изучении этнографии тувинцев.

Охота как объект этнографического исследования почти не привлекала внимания исследователей Тувы. Очень краткие и довольно отрывочные сведения об охоте у кочевых тувинцев-скотоводов содержатся по существу лишь в работе Кона [Кон, 1934, 88—89].

В то же время в литературе о Туве получило известное распространение ошибочное представление, что охота в XIX—начале XX в. сохраняла хозяйственное значение лишь для восточных таежных тувинцев-тодджинцев. Так, например, Менхен-Хелфен, коротко характеризуя охоту тувинцев, пишет только об охоте у тодджинцев, даже не упоминая о занятиях охотой остального населения Тувы [Mänchen-Helfen, 1931, 48—54]. К сожалению, и Дулов говорит лишь об охоте тодджинцев, в отношении остальных тувинцев ограничиваясь указанием, что у них она давно утратила свое важное значение [Дулов, 1956, 98—100].

Действительно, для тодджинцев, в особенности оленеводов, охота была основой экономики [см.: Вайнштейн, 1961, 42—54]. Однако и у кочевых скотоводов других районов Тувы охота издавна играла существенную роль в хозяйстве. Тем не менее развитие охотничьего промысла у тувинцев-скотоводов оставалось совершенно неизученным, несмотря на то что еще Е. К. Яковлев отмечал: «Звероловство является наиболее важным промыслом и занятием целых хошунов сойот» [Яковлев, 1900, 64].

О важной роли охоты у ближайших предков тувинцев свидетельствует и фольклор, в особенности эпос, так как почти нет такого тувинского героического сказания, в котором бы не упоминалась охота с хозяйственными целями.

Наблюдения путешественников и сведения, собранные у моих информаторов, позволяют сделать вывод, что охотой в конце XIX—начале XX в. занимались во всех районах не только таежной, но и горно-степной части Тувы. Охотничий промысел среди оленеводов вели почти все хозяйства, в которых были мужчины, среди кочевых скотоводов горно-степных районов—около 50% всех хозяйств, а среди охотников-скотоводов—свыше 80% хозяйств.

О распространении охотничьего промысла тувинцев в конце 20-х—начале 30-х годов XX в. дают представление материалы переписи 1931 г., в которой учтены в данном аспекте только те хозяйства, для которых охота была регулярным «самостоятельным промыслом» [ТСДП, 30—31]:

Хошун	Всего хозяйств	Из них занималось охотой
Барун-Хемчик	3 640	1675
Дзун-Хемчик	4 369	1787
Улуг-Хем	2 950	1482
Каа-Хем	2 476	1284
Тес-Хем	1 645	716
Тоджа	568	480
Итого	15 648	7424

Из материалов переписи видно, что если в Тодже охотничьим промыслом занималось почти 85% хозяйств, то и в других районах, где основу хозяйства составляло кочевое скотоводство, немалое число хозяйств сочетало свое основное занятие с охотой: от 40% (Дзун-Хемчик) до 50% (Каа-Хем, Улуг-Хем). Следует отметить, что охота была важной отраслью хозяйства не только для тувинцев, но и для значительной части кочевых скотоводов Саяно-Алтая; у алтайцев, по данным обследования 1897 г., в охотничьем промысле участвовало 85,3% всех кочевых хозяйств [Юхнев, 1901, 98].

Охотиться, как и ловить рыбу, могли только мужчины. Обычай запрещал женщинам не только заниматься этими видами промысла, но даже переступать через оружие и орудия рыбной ловли.

Если кочевки аала совершались в местах, вблизи которых не водились промысловые животные, то мужчины уезжали на охоту в лесные, богатые зверем угодья за десятки, а иногда и за сотни километров, где они жили, питаясь в основном мясом добытых животных. По сведениям А. П. Ермолаева, западные тувинцы шли на промысел в горную тайгу в верховья Хемчика, верховья Алаша, на северные склоны Танну-Ола, в Тоджу [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 30 об. 31]. Подобное явление было характерно и для других скотоводческих народов. «Есть немало якутских преданий,— писал В. Серошевский,—о том, что в старину удалые якутские промышленники забирались далеко от своих стойбищ в лесную глушь, где жили исключительно охотой» [Серошевский, 1896, 306].

Албан (дань) мехами, который тувинцы должны были платить с середины XVIII до начала XX в. маньчжурам, и высокая товарная стоимость шкурки соболя, белки и некоторых других пушных животных определили главное направление промысла тувинцев—пушную охоту—езде, где таковая была возможна.

Г. П. Сафьянов отмечал во второй половине XIX в., что во всех тувинских хошунах уплата албана шла пушиной. Он писал: «Ясак или албан у них распределяют по состоянию от 10 белок до 20 соболей. Расчет идет на белку. 120 белок равняются рыси или выдре, 40 белок—1 соболь, 20 бе-

лок — 1 лисица или 1 волк» [ММ, оп. Ia, № 65, л. 4 об.]. Н. Ф. Катанов также приводит данные об относительной стоимости пушнины: «Единицей покупной цены для шкур служат беличьи шкурки. Шкура медведя стоит 20—40 белок, лисицы — 20, бобра — 30—60, рыси — 100, соболя — 60, зайца — 1—2» [АИЭЛ, ф. V, оп. I, № 626, л. 150].

В конце XIX — начале XX в. пушнину продавали также русским купцам и обменивали на скот у монголов. О значении пушнины свидетельствует и то, что она входила в калым. В государственном архиве Тувинской АССР хранится документ, из которого следует, что крупному чиновнику Хайдыпу осталась невыплаченной в качестве калыма шкура лисицы [ГА ТАСССР, ф. P-112, оп. I, № 33, л. 14].

Вместе с тем все тувинцы-охотники как в Западной, так и в Восточной Туве вели промысел копытных, дававших мясо, шкуры и ценные рога (марал).

Тувинцы охотились на белку *диинг*, *сырбык*, соболя *киш*, *алды*, выдру *кундус*, бобра *кара кундус*, лисицу *дилги*, росомуху *чекпе*, рысь *дырвактыг*, колонка *күзен*, зайца *койгун*, *кодан*, медведя *адыг*, волка *бөрү*; важное значение имела охота на копытных, в числе которых были лось *буур*, косуля *элик*, марал *сыын*, кабарга *тооргу*, сайгак *чээрэн*. Добывали также грызунов, в особенности сурков *тарбаган* и сусликов *örge*. В небольшой мере велась охота на кабанов *чер хаваны*.

Белка водилась преимущественно в лесистых предгорных и горных районах Саян и Танну-Ола. Повсеместно в Туве встречались заяц, лиса, почти в каждом районе водилась косуля, а в южных районах за хребтом Танну-Ола и сайгак. В южных и юго-западных районах водился барсук. Соболя добывали почти исключительно в Восточных Саянах [Соловьев, 1921]. Среди пушных животных основным объектом охоты во всех районах Тувы была белка, а у тоджинцев также соболь. В больших количествах в степной части Тувы добывали зайца (второе место по количеству после белки). Из копытных в основном велась охота на косулю и кабаргу, а в восточных районах также на лося и марала. В степях Тувы успешно охотились на антилопу *дзерен*. «Чаще всего — писал Н. Ф. Катанов о тувинцах в конце XIX в., — они охотятся на диких коз (косуль. — С. В.), зайцев, оленей и лосей» [АИЭЛ, ф. V, оп. I, № 626, л. 150].

В рассматриваемое время большинство охотников пользовалось на промысле кремневыми ружьями *чактыр боо* с сошками *бут*.

Огнестрельное оружие появилось у тувинцев не ранее конца XVII в. В русских документах середины XVII в. отмечается, что на Хемчике на посольство Степана Бобарыкина напали «соянцы», которые стреляли из луков [СКХ, 270]. Ружье, очевидно, проникло в Туву из Монголии, где оно но-

сит название *буу[н]*. Это название, как и тувинское *боо*, происходит от маньчжурского *поо*, означающего «пушка», «баллиста». Тувинское название прицела *хараал* также происходит от монгольского *хараа[н]* — прицел; можно сравнить с этим монгольское *харвал* — «стрелять из лука».

Пули *ок* отливали в специальных каменных формах *хеп*, или *ок хеви*. Название пули происходит от тюркского названия стрелы — именно такое значение имеют древнетюркское *ок* и киргизское *ок*. Изготавливали формы из агальматолита (тувинское название — *чонардаш*).

Порох *дары* многие охотники умели изготавливать сами, хотя и предпочитали по возможности пользоваться покупным. Для изготовления пороха тувинцы собирали в скальных местностях селитру *ак шүү* и варили ее с водой. В полученную смесь сыпали натертый древесный уголь и немного перегнившего овечьего помета; всю массу тщательно смешивали и процеживали через сетку, а затем вновь ставили на огонь и кипятили. В кипящую массу добавляли снятое молоко, иногда сухую желчь животных. Получалась густая кашка, которую вновь процеживали и кипятили. Готовый продукт затем сушили и использовали как порох. Составные части вводились в определенных пропорциях, для чего служила специальная мерка в форме ложечки. Е. К. Яковлев упоминает о селитре тувинского производства, «добываемой сойотами из овечьего помета», которая употребляется ими для «приготовления пороха и как лекарство» [Яковлев, 1900, 94].

Известно, что еще в середине XVIII в. алтайцы выменивали у тувинцев «серу горучую, селитру», из которой делали порох [МИС, 113—114]. Впрочем, алтайцы и сами умели добывать селитру, и применяли в некоторой мере сходный с тувинским рецепт производства пороха, указания на приготовление которого имеются в литературе [Попов, 1858, 2; Ядринцев, 1881, 239]. Слово *дары* в такой же или сходной форме известно почти во всех тюркских языках, в том числе в татарском, киргизском, чагатайском, турецком и др.; в монгольском языке близкое по звучанию слово *дарь* также обозначает порох.

По всей вероятности, рецепт изготовления пороха проник к кочевникам Центральной Азии из Китая. В борьбе с монголами и чжурчжэнями китайцы применяли порох как средство «огневой борьбы» [Мао Цзо-бэнь, 1957, 31], и кочевники Центральной Азии уже тогда могли с ним познакомиться. Любопытно, что в древнем Китае пороховые смеси использовались в качестве лекарств, откуда произошло китайское название для пороха «горючее лекарство» [Вилинбахов, Холмовская, 1960, 65]. В некоторых тюркских языках (татарском, турецком, казахском, киргизском) порох поныне обозначается тем же словом, что и лекарство. Следует отметить, что и

в персидском языке лекарство также носит название «дәрӯ», хотя порох называют по-иному.

Для охоты на крупных животных применялись круглые пули *барбак ок*, и продолговатые (заостренные в передней части) пули *бок*. На промысле белки и дичи пользовались дробью *тараа ок*. Свинец для отливки пуль и пороха покупали преимущественно у русских купцов. Фунт пороха стоил 25 белок, слиток свинца — 20 белок. Кремневые ружья покупали у бурятских купцов за 200—250 белок.

В начале XX в. только несколько тоджинских охотников имели патронные ружья, да и кремневые ружья были доступны далеко не всем. Мне не раз говорили, что в этот период иногда на трех-четырех охотников приходилось одно пригодное для промысла ружье. Даже по переписи 1931 г., охотничий инвентарь имело, а следовательно, и охотилось 64,2% всех тувинских хозяйств, однако ружья были лишь у 54,3% хозяйств, т. е. свыше 15% хозяйств охотников не имели ружей. Вместе с тем некоторые охотники имели не одно, а несколько ружей: согласно переписи, на 100 хозяйств, имевших ружья, их приходилось 138,4 [ТСДП, 161].

Охотничьи принадлежности — пороховницу, мерку для пороха, мешочек для пуль и др. — носили на ремennom поясе, подвешивая их прямо к нему или к охотничьей сумке. В коллекции Ф. Кона [ГМЭ, колл. № 635—5] имеется такая сумка, сшитая из барсучьей шкурки. На нее подвешены роговая пороховница с отверстием, роговая мерка для пороха, железная копалка с клювовидным концом для очищения сковородки (котла), ключ для винтов ружья, пузырек для ружейной мази, кошелечек для пуль. Весь этот набор вместе с поясом и сумкой носил название *саадак*. Как известно, *саадак* означает также колчан; этот любопытный факт можно объяснить тем, что для охотников, начавших пользоваться на промысле ружьем, пояс с новыми охотничьими принадлежностями заменял колчан. Слово «саадак», или «саадаг», как название колчана известно как в монгольских, так и в тюркских языках.

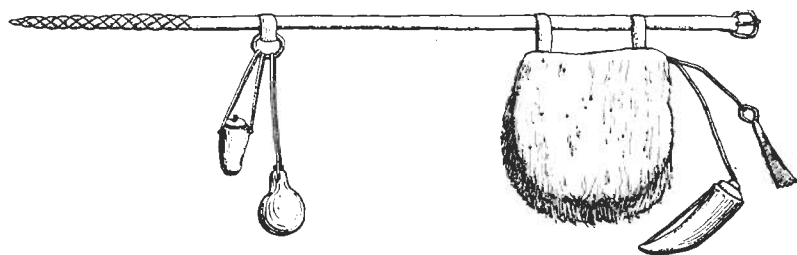


Рис. 20. Пояс с охотничьими принадлежностями (*саадак*)

Во второй половине XIX в. на промысле наряду с кремневыми ружьями еще применяли лук *ча*, но к началу XX в. он почти совершенно вышел из употребления. В конце XIX в. Катанов сообщал, что тувинцы «зверей убивают железными стрелами из деревянных луков и пулями из ружей кремневых» [АИЭЛ, ф. V, оп. 1, № 626, л. 150]. Аналогичное свидетельство, относящееся к 1916 г., мы находим у Ермолаева; однако он же, характеризуя западных тувинцев, отмечает, что «в редкой юрте нет ружей» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 30]. Название лука тюркское (ср. древнетюркское *йа*, башкирские *йэйэ*, татарское *жэя* — лук и якутское *саа* — ружье).

По рассказам моих информаторов, тувинцы из лука били зверя не только спешившись, но и на полном скаку лошади. Это было свойственно всем коневодческим народам. П. С. Паллас в связи с этим писал о бурятах и конных тунгусах, что они «столь искусны, что скача изо всей силы в цель попасть стрелой не промахнутся» [Паллас, 1788, ч. III, 280].

Тувинцам были известны луки двух типов — простые и сложные. На мелких животных и дичь охотились при помощи простых луков, сделанных из стволов ели или лиственницы. Длина таких луков доходила до 1,5 м. Для изготовления лука срубали дерево, раскалывали ствол вдоль и отбирали для луковища часть (крепь), которую затем обрабатывали ножом. Толщина луковища обычно не превышала 4 см; лишь в его средней части оставляли утолщение до 6 см. Для большей упругости к луковищу приклеивали жилу; через некоторое время его сгибали и связывали тетивой *кириш* из скрученной кожи лошади, лося или медведя. Предпочитали кожу лошади, так как она лучше сохраняла упругость во время мороза. В Государственном музее этнографии в Ленинграде [колл. № 635—27] хранится тувинский лук в виде простой дуги из сборов Ф. Кона; длина этого лука 104 см; луковище выполнено из одного слоя дерева, тетива сделана из лошадиной кожи.

На крупных животных, по рассказам моих информаторов, охотились обычно при помощи М-образных сложных луков, склеенных из нескольких кусков рога (обычно использовали рога маралов, отпавшие в марте) и слоя дерева, а также сухожилий. Луковище, длина которого достигала 2 м, обклеивалось полосками бересты. Тетиву делали из кожи, скрученной с жилой марала. Сложный лук умели делать немногие, и он ценился сравнительно высоко (40 белок и более). Подобные луки в середине XIX в. имели также алтайцы. Радлов писал, что у телеутов сложный лук состоял из четырех слоев: слой рога, затем слой дерева, затем слой сухожилий и слой бересты.

Древки (*ун*) стрел (*согун*) изготавливали из тщательно вы-

сушеных веток тальника или березы. Длина стрел часто достигала 1 м, но были стрелы и меньшего размера. На конце стрелы тувинцы делали вырез *кес* и, отступая от него на несколько сантиметров, наклеивали (немного наискось по отношению к оси стрелы) оперение *чуг*, для которого использовали перья орла или сокола. Восточные тувинцы высоко ценили бурятские стрелы, которые получали в обмен на пушнину. Буряты делали стрелы из березы, отбирая для этого куски без сучков. Брусочки высушивали тщательно и постепенно и потом уже подвергали обработке, добиваясь высокого качества стрел [Клеменц и Хангалов, 1958, 75].

В. И. Дулов писал, что тувинцы делали луки различных размеров из лиственничного дерева, причем стрелы имели железные наконечники, но не имели оперения [Дулов, 1956, 100]. Этнографические материалы свидетельствуют, однако, об ошибке Дулова — стрелы для лука всегда делались с оперением, а наконечники употреблялись не только железные, но и деревянные и роговые.

В охоте на мелких пушных зверьков тувинцы использовали роговые, костяные и деревянные наконечники; передняя часть костяных и роговых наконечников была обычно тупой, деревянных — слегка заостренной. Для изготовления наконечников использовали рог лося, марала, оленя. В охоте на крупных животных применяли стрелы с железными трехперыми или плоскими черешковыми наконечниками (*демир ок*) длиной 12—16 см. Охотясь на птиц, использовали стрелы с маленьким раздвоенным наконечником; для охоты на бобра и выдру применяли железные наконечники с жалцем.

Тувинские стрелы для лука с различными по форме наконечниками имеются в коллекции Ф. Кона [ГМЭ, колл. № 635—16, 635—17, 635—18].

Г. Ф. Миллер, описывая охоту у качинцев, отмечает, что хорошие луки и стрелы они выменивали у тувинцев (по-видимому, западных). Среди наконечников стрел он перечисляет железные узкие наконечники для охоты на крупного зверя, наконечники с шипом для охоты на бобра, а также отмечает стрелы с деревянным утолщением для охоты на мелких пушных зверьков, стрелы-свистунки (*сырлык-ок*) и др. [ЦГАДА, портфели Миллера, № 526, ч. II, № 6, л. 9 и сл.]. Следует заметить, что хакасы еще в начале XX в. для охоты на мелких пушных животных продолжали использовать лук со стрелами, имевшими утолщенный наконечник [Патачаков, 1958, 30].

В XIX в. тувинцы, пользовавшиеся на промысле луком, хранили стрелы в колчане *саадак*, который носили на ремне, перекинутом через плечо. Бедняки пользовались круглыми берестяными колчанами с деревянным дном. Попутно заметим, что берестяные колчаны применялись еще древними

тюрками в I тысячелетии н. э. [см.: Вайнштейн, 1966 в. рис. 12]; ими пользовались также монголы XII—XIII вв. [С. ск., § 230]. Более зажиточные охотники имели кожаные колчаны на деревянной основе, украшенные узорными металлическими бляхами. Такие колчаны из коллекции Ф. Кона в ГМЭ [колл. № 635—19, 635—20, 635—21] имеют для стрел с острыми железными наконечниками отдельные гнезда, набитые соломой; гнезда для тупых костяных стрел сделаны из войлока. Эти колчаны имеют длину 32—33 см, ширину 16—18 см, толщину около 8 см. Нередко на промысле пользовались колчанами в виде кожаных мешков с несколькими гнездами для стрел, подобный колчан размером 25 × 25 см также имеется в коллекции Ф. Кона [ГМЭ, колл. № 635—22].

Тоджинцы часто употребляли так называемые свистящие стрелы *хоош согун*, или *сырыглык ок*, *сыры*. В передней части древка этой стрелы под железным наконечником был установлен *молдурук* — роговая свистулька овальной или круглой формы со сквозными отверстиями, размер которой не превышал 5 см в длину и 2—3 см в ширину. Нередко свистящие стрелы делали и без железного наконечника.

Использовали свистящие стрелы чаще всего на промысле белки. Если охотник встречал белку, спрятавшуюся между ветками, он пускал свистящую стрелу выше дерева. Испугавшись свиста, белка спускалась ниже или перепрыгивала на другое дерево, и охотник бил ее обычной стрелой. Стрелы-свистунки применяли также в охоте на лося или марала: испуганный свистом зверь останавливался, и в этот момент его настигала вторая, уже обычная стрела. Их использовали и в охоте на птиц: свистящая стрела, пущенная высоко в воздух, заставляла птиц в испуге опускаться. Подобный способ охоты у якутов описан Мааком: «Когда птицы летят высоко, то охотник пускает такую стрелу выше их; стрела производит в воздухе звук, подобный крику сокола, отчего птицы опускаются и припадают к земле, тогда уж якут бьет их обыкновенными стрелами» [Маак, 1887, ч. III, 163].

Как отмечалось, свистящие стрелы применялись еще гуннами [Бичурин, 1950, ч. I, 47], а позднее тюрками, о которых «Тан-шу» сообщает, что они «имеют роговые луки со свистящими стрелами» [Бичурин, 1950, т. I, 229]. Среди находок в гуннских и древнетюркских могилах Тувы [см.: Вайнштейн, 1966б, табл. VII, рис. 6 и др.; Вайнштейн, Дьяконова, 1966, табл. III, рис. 23] часты железные наконечники с надетыми на черешок костяными шариками с отверстиями в них. Стрелы-свистунки были известны монголам XII—XIII вв. Они сохранялись у монголов до начала XIX в.; П. С. Паллас наблюдал охоту со свистящими стрелами у монголов в конце XVIII в. [Паллас, 1788, ч. III, 280].

Вплоть до конца XIX в. основным самодельным орудием,

применявшимся тувинцами, был самострел *ая*. При помощи самострела охотились на лося, марала, оленя, косулю, лису, волка, медведя, соболя, бобра, белку и других животных.

Некоторых животных, как, например, рысь, тувинцы в конце XIX — начале XX в. били исключительно самострелами. Е. К. Яковлев отмечал: «Рысь бьется зимой на приманку самоловки (самострелами. — С. В.)» [Яковлев, 1900, 64—65]. Многие охотники, в особенности старики (для них самострел служил основным орудием охоты, так как выслеживать в тайге зверя им было не под силу), имели несколько десятков самострелов: так, П. Островских сообщает об одном тоджинском охотнике, который имел 180 самострелов [Островских, 1927, 85].

Самострел состоял из деревянного ложа *кырык*, в передней части которого укреплялось луковище, называвшееся, как и весь самострел, *ая*. Тетиву, свитую из кожного ремня, устанавливали на деревянном курке *эргектээш* при помощи волосяной петли-взвода *унгаштааш*. К петле была привязана длинная, свитая из темного конского волоса нить *сээн*, перегородившая путь зверю; задев ее, он спускал стрелу. Самострелы были различных размеров, и длина ложа колебалась от 40 до 75 см.

Луковище самострела изготавливали из белого тальника или лиственницы длиной около 1,5 м, толщиной около 4 см. На его концах делались зазубрины для надевания тетивы, которую изготавливали из кожи кастрированного козла, мери-на или самца косули. Заметим, что из шкуры одного козла можно было изготовить 14—16 тетив. Чтобы изготовить тетиву, сыромятную кожу резали длинными лентами и в скрученном виде, туго натянув, сушили. Стрелы длиной около 80 см делали обычно из высушенной жимолости и некоторых других пород местных кустарников. Тыльная часть древка делалась несколько утолщенной, а передняя — более тонкой. Для укрепления железного наконечника на переднем конце древка делался небольшой разрез. Железный наконечник изготавливался без черешка, плоским и треугольным, длиной около 7—8 см. Прежде чем вставить наконечник, разрез древка густо смазывали рыбьим клеем *челим*, изготовленным из кожи налима либо ленка, а затем наконечник плотно закрепляли, обвязав конец древка тонкими сухожилиями¹.

Упрощенный маленький самострел *чергий* оригинальной конструкции применяли в охоте на мелких грызунов, в частности на сусликов. В коллекции Ф. Кона [ГМЭ, колл. № 635—44] имеется такой самострел. Он состоит из палочки длиной в 41 см с отверстием посередине. На палочке — лучок из прутика со стрелой, тетива из ремешка. Проходя через отверстие, зверек задевает спусковую нить, чем вызывает удар стрелы.

Сходные с тувинскими самострелы имели широкое распространение. Совершенно аналогичны тувинским по устройству самострелы народов Алтая. Близкие по конструкции и действительно самострелы описаны у многих сибирских охотничьих народов [Черкасов, 1884, 185—186; Каров, 1960, 34], особенно близки тувинским самострелы хакасов [см.: Патачаков, 1958, 29, рис. 11] и тофаларов.

Высота установки самострела намечалась с таким расчетом, чтобы пущенная из него стрела смертельно ранила животное. Поэтому высоту самострела охотники определяли в зависимости от вида животных, на которых велся промысел. С этой целью каждый охотник обычно имел приспособление с соответствующими замерами, называвшееся *чан* или (в Западной Туве) *кэм* (в коллекции Ф. Кона в ГМЭ хранится такое приспособление под № 635—14). Высота установки самострела на белку была 6 см, зайца — 20 см, лису — 30 см, волка — 40 см, косулю — 55 см. Устанавливали самострел на трех деревянных палочках с развилками в верхней части (*ая адагажы*).

В охоте на соболя, выдру и бобра применяли наконечники стрел с боковым шипом. При охоте на бобра и выдру к гарпунному наконечнику привязывали длинную волосяную веревку, скрепленную с поплавком. Для охоты на росомах пользовались наконечником с развилкой, каждый зуб которой имел внутренний шип. При охоте на зайца и белку иногда применяли деревянные и костяные, но чаще железные плоские ромбовидные черешковые наконечники, последние применяли также на копытных. Стрелы употреблялись без оперения.

Самострелы нередко были причиной несчастных случаев, поскольку охотник мог задеть чужой самострел и получить смертельное ранение. В начале XX в. охота с самострелами была запрещена, и они начинают выходить из употребления; однако еще в 1931 г. у тувинцев было зарегистрировано 24 448 самострелов [ТСДП, 60, 61].

Капканы тувинцам, вероятно, не были известны до второй половины XIX в., но в конце XIX в. ими уже пользовались в результате русского влияния. В коллекции Ф. Кона [ГМЭ, колл. № 635—42] имеется деревянный капкан типа плашки, именовавшийся тувинцами *капка*.

Для охоты на маралов использовали дудки (в Восточной Туве — *мургу*, в Западной — *амырга*), с помощью которых подражали крику самца. Длина мургу составляла 60—70 см. Изготавливали ее так: куску кедрового дерева придавали конусообразную форму, затем его разрезали пополам и выдалбливали каждую половину изнутри. Обе половины скрепляли клеем и обматывали берестой. Суженную часть мургу вставляли в роговой наконечник с отверстием. Дудки типа мургу

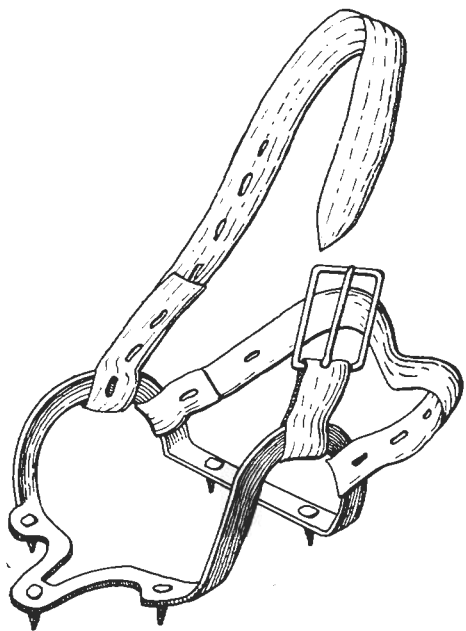


Рис. 21. Подкова (*кижи дагаа*) охотника, Западная Тува

были известны почти всем народам Саяно-Алтая: хакасам [Патачаков, 1958, 26], шорцам [МАЭ, колл. № 5072—62], тофаларам [МАЭ, колл. № 1339—223] и др.

Охотясь на косялю и кабаргу, тувинцы применяли особый звукоподражательный инструмент — пискульку эдиски, представлявший собой сложенный вдвое кусочек бересты размером приблизительно $4,5 \times 5$ см. Этот инструмент был известен также шорцам — под тем же названием и хакасам — под названием *сымысха* или *сымыскы*; знали его и киргизы, монголы.

В охоте на птиц и мелких зверьков применяли сделанные

из конского волоса затяжные петли *дузак*, которые держали в руках или привязывали к длинному шесту. Обычно ими пользовались мальчики и подростки. Подобные петли были известны и другим саяно-алтайским народам. Так, например, хакасы петлями из конского волоса ловили сусликов и хорьков; затяжные петли для ловли птиц и, вероятно, мелких зверей знали монголы XIII в., о чем свидетельствует «Сокровенное сказание» [С. ск., § 25]. Впрочем, искусство ловить птиц и зверей при помощи затяжной петли, которую держат в руках или прикрепляют к концу палки, распространено почти у всех охотничьих народов мира [Тэйлор, 1939, 111].

Принадлежностью охотника, которой он пользовался для передвижения в горных районах по оледеневшим скатам, были своеобразные железные подковы *кижи дагаа*, надевавшиеся на обувь. Они имели шипы и прикреплялись к обуви ремнями. Количество шипов могло быть различным. Так, в коллекции Ф. Кона в ГМЭ [колл. № 635—13/2] есть пара подков, привезенных из Чаа-Холя. Каждая подкова имеет три шипа. В школьном музее Чадана [колл. № 695] хранятся подковы с пятью шипами каждая. Подобные подковки под названием *пут так-каш* знали и алтайцы [ГМЭ, колл.

№ 4332—91]. На промысле в горной тайге, главным образом в восточных районах, охотники зимой нередко пользовались лыжами.

Как уже отмечалось, промысел в Туве велся как индивидуально, так и артелями охотников, в которых добыча делилась поровну между участниками. Объединение охотников в артели было у тувинцев очень древней и устойчивой традицией и подавляющее большинство тувинских охотников вели промысел артелями. Правда, в некоторых работах о Туве можно встретить утверждение, что охотничьи артели с коллективным распределением добычи в конце XIX—начале XX в. сохранялись только в Тодже. Так, например, В. И. Дулов писал: «Мы можем констатировать наличие в Тодже сохранившейся до начала XX в. охотничьей артели с коллективным распределением добычи, чего не наблюдалось в центральных и западных частях Тувы» [Дулов, 1956, 138]. Это заключение Дулова ошибочно, так как охотничьи артели с коллективным распределением добычи поровну были характерны для всей Тувы (в том числе и для ее центральных и западных районов) вплоть до начала 30-х годов XX в. Об этом свидетельствуют сведения об охотничьих артелях, собранные у их участников — моих информаторов во всех районах Тувы, архивные данные и, наконец, материалы переписи 1931 г. [ТСДП, Вводный текст, 6; Приложение II, 24].

Состав тувинских охотничьих артелей в XIX—начале XX в. не был постоянным, так как они обычно возникали к началу промысла и распадались с его окончанием, причем нередко на следующий год их члены входили уже в другие артели.

Охотничьи артели в конце XIX—начале XX в. создавались независимо от родственных отношений, главным образом на основе более или менее равных возможностей успешного участия в промысле, причем нередко в них входили представители различных аалов. Разумеется, отец с сыном или жившие в одном аале братья входили обычно в одну артель, но далеко не всегда. Во главе артели стоял наиболее опытный и старший по возрасту охотник.

Все охотники, входившие в артель, брали с собой по возможности равное количество продуктов и боеприпасов, которые становились в артелях общими и которыми пользовались в основном поровну.

Добычу делили строго поровну независимо от реального вклада каждого члена артели: равную долю получали и подросток, впервые участвовавший с отцом на промысле, и старый, опытный охотник. Лишь если при разделе получался неделимый остаток, его отдавали наиболее удачливому охотнику, но отнюдь не руководителю артели,

Артели, создававшиеся в центральных, западных и юж-

ных районах в XIX — начале XX в., уходили более или менее далеко от мест постоянного обитания, оставляя свои семьи кочевать со скотом. Промысел велся обычно в горной тайге, главным образом в Тодже, Тере-Холе, на северных склонах Западного Саяна.

Большая часть промысловых артелей включала от 6 до 10 человек, лишь в Тодже количество охотников, входивших в одну артель, было меньше и преобладали артели из 4—6 человек. Большой численный состав артелей в горно-степных районах был вызван, в частности, тем, что они уходили на значительное расстояние от мест своих кочевий, а в таких случаях считалось, что большим группам легче вести промысел.

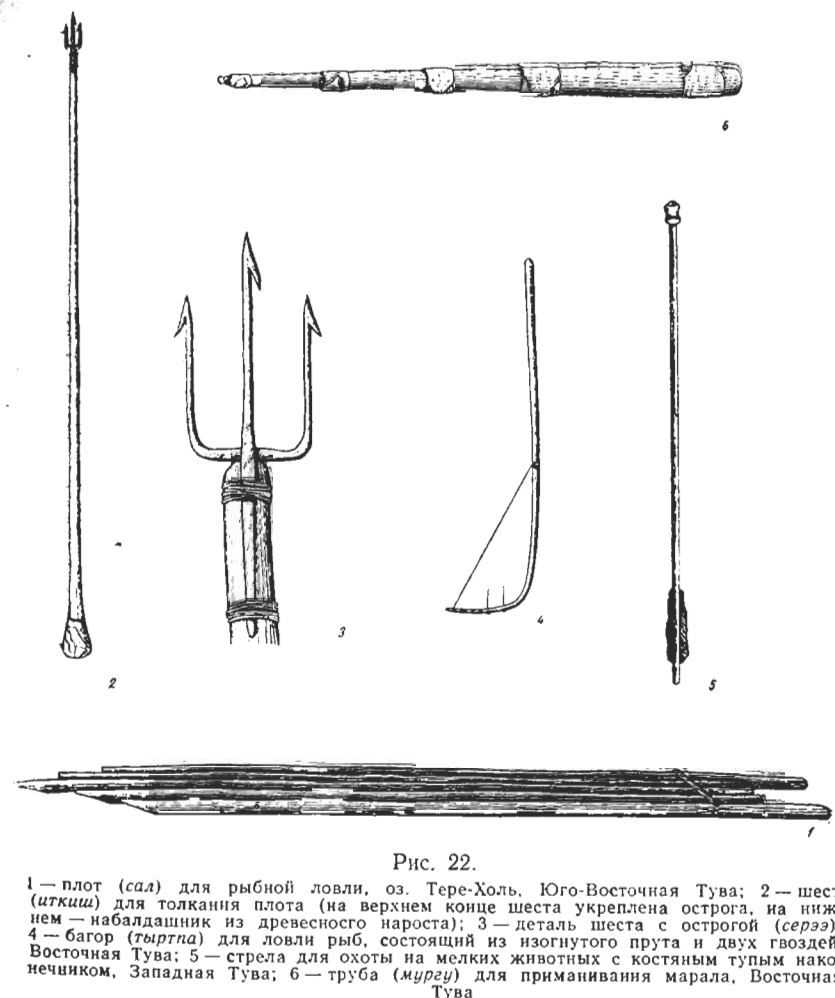
Сохранявшие сложившиеся в прошлом традиции формирования и коллективного распределения добычи охотничьи артели были учтены переписью зимой 1930—1931 гг. Данные, позволяющие судить об их количестве и численном составе в разных хошунах Тувы, приводятся в таблице 6.

Таблица 6
Количество и численный состав охотничьих артелей в Туве*

Хошун	Артели с числом членов					Всего
	до 5	от 6 до 8	от 9 до 10	11 и более	Число неизвестно	
Барун-Хемчик	11	7	30	—	2	50
Дзун-Хемчик	1	16	37	—	1	55
Улуг-Хем	5	21	17	—	2	45
Каа-Хем	8	19	14	6	1	48
Тес-Хем	3	3	23	—	2	31
Тоджа	17	24	3	—	1	45
Итого	45	90	124	6	9	274

* [ТСДП, Приложение II, 24].

Аналогичными по традициям комплектования и формам распределения добычи были охотничьи артели и у ряда других скотоводческих народов Южной Сибири. Так, охота артелями с равным распределением добычи была типична в XIX — начале XX в. и для алтайцев, о которых П. М. Юхнев писал: «Повсеместным явлением, характеризующим как промысловую охоту, так и добычу зверя на личные надобности у алтайских инородцев нужно считать применяемое ими артельное начало... инородцы всегда стремятся соеди-



няться в артели из 2—10 и более человек» [Юхнев, 1901, 99]. Он же отметил, что добыча в артелях делилась алтайскими охотниками поровну на каждого участника, причем равную долю получали даже одиннадцатилетние подростки [Юхнев, 1901, 100]. Состав алтайских артелей был непостоянен и обновлялся каждый год. «В одну и ту же артель часто входят жители различных аилов, а одного и того же аила в различные артели», — писал Юхнев. Он же отмечал, что критерием подбора в артель служат «равные способности промышленников» [Юхнев, 1901, 99].

Хакасы объединялись для охоты в артели из трех — пяти

человек, все брали равное количество припасов, а добыча между членами артели распределялась поровну [Патачаков, 1958, 31].

Неизменным спутником охотника в Восточной Туве была собака — лайка *ыл*. Как уже отмечалось выше, судя по наскальным изображениям, такая собака была известна охотникам Тувы еще в гунно-сарматское время [Вайнштейн, 1958]. Преобладали собаки с темной, преимущественно черной окраской шерсти. Подобный тип лаек был распространен у камасинцев и тофаларов.

Собаки для охоты специально не обучали. «Хорошая собака сама пойдет по следу», — обычно отвечали охотники на вопрос, как они учат собак. Собак использовали только для охоты; собак с плохим чутьем, не идущих по следу, убивали, что вело к постоянному улучшению породы. Почти у каждого тоджинского охотника были две собаки: «Одна устанет, другую возьмешь» — так охотники объясняли необходимость иметь двух собак. Обычно в аале собак не кормили и они сами находили себе пищу, главным образом среди отбросов. Хорошие собаки очень ценились. Так, в 1926 г. М. Г. Левин, собиравший сведения о собаках у тоджинцев, отметил, что за хорошую собаку промысловик отдавал ружье, и даже верхового оленя или коня [АИЭМ, ф. 41, оп. 2, № 116в, 64 об.]. «Собака ценится очень дорого, — писал Яковлев, — и считается очень хорошим подарком при сватовстве» [Яковлев, 1900, 64].

У западных тувинцев собак было мало, поэтому на промысле, по данным моих информаторов, их использовали сравнительно редко. На это обратили внимание также А. П. Ермолаев [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 31] и Е. К. Яковлев [Яковлев, 1900].

Западные тувинцы обычно выезжали на промысел верхом на лошади, реже на воле. Бедняки, не имевшие возможности арендовать коня, промышляли зверя пешком. Пешая охота была довольно распространенной, и о ней неоднократно говорится в тувинском эпосе. Так, сын героя эпоса Алдай-Буучу, возвращаясь с пешей охоты, встречает табун лошадей и задумывается: „Почему я не верхом на коне, неужели я вечно буду пешком ходить на охоту?“ [ТТ, II, 76; Гребнев, 1960, 70].

В охоте на отдельные виды животных применялись различные способы их добычи.

Как уже отмечалось, главным объектом промысла в XIX — начале XX в. была белка. О том, насколько в 1931 г. промысел белки преобладал над добычей других видов животных, говорят следующие данные о добыче зверя охотничьими артелями различных хошунов Тувы (в штуках) [ТСДП, Приложение II]:

Хошун	Белка	Соболь	Лисица	Кабарга	Косуля	Заяц	Волк
Барун-Хемчик . . .	21 455	—	20	3	8	172	5
Дзун-Хемчик . . .	14 341	1	13	13	46	1294	9
Улуг-Хем	19 474	—	18	20	126	2252	20
Каа-Хем	27 855	3	3	3	50	66	1
Тес-Хем	14 399	1	53	11	86	1063	23
Тоджа	15 581	13	2	—	10	—	1
Всего	113 105	18	109	50	326	4847	59

Восточные тувинцы-оленоводы начинали промысел белки в сентябре. На промысел они выезжали артелями в два-четыре человека на оленях или лошадях, взяв с собой собак. Промышляя белку, в основном полагались на собаку. Услышав ее лай, охотник подъезжал к дереву, среди ветвей которого скрывался зверек, слезал с оленя или лошади и, увидев белку, стрелял, стараясь попасть в голову, чтобы не испортить шкурку.

К вечеру охотники собирались у костра, пили крепкий соленый чай, ели поджаренное на палочках беличье мясо, кормили собак и послав тут же на земле несколько часов (шалаша строили обычно только при непогоде), с рассветом следующего дня вновь разъезжались по тайге.

Западные тувинцы также отправлялись на промысел обычно только с выпадением первого снега. Вели промысел, как уже отмечалось, артелями, верхом на лошадях; если были охотничьи собаки, их брали с собой. Некоторые группы западных тувинцев ездили в это время года промышлять белку очень далеко, например из района Хемчика в Тоджу. В конце XIX — начале XX в. белку били из ружья; однако некоторые из моих информаторов помнили рассказы стариков о том, что в годы их молодости (вторая половина XIX в.) отдельные тувинцы-бедняки били белку из лука. Те, кто имел собаку, промышляли белку с ее помощью. Многие вели охоту на белку и без собак. В небольших размерах промысел белки вели и с помощью волосяных петель, которые устанавливались на земле, на беличьих тропках. А. П. Ермолаев пишет в своих материалах по обследованию долины Хемчика, что хемчикские тувинцы «белку добывают ружьем с собакой, а во время течки, когда белки бегают по тропкам, на них ставят волосяные петли» [ККА, ф. 217, оп. 2, № 85, л. 31].

Промысел соболя был характерен главным образом для таежных тувинцев-оленоводов и начинался обычно с середины октября. На промысел ехали в далекую тайгу, где отстреливали попутно также белку. Обнаружив след соболя, охотник пускал по нему собаку, а сам двигался за ней верхом на олене. Преследование зверя нередко затягивалось на много часов. Спасаясь от собаки, соболь обычно забирался на дерево или прятался в россыпях камней среди скал. Охот-

ник выжидал момент, когда соболя выглянет из своего укрытия, чтобы поразить его выстрелом в голову. Если животное долго не показывалось, он разводил костер и выкуривал зверька из его убежища. В погоне за соболем охотники часто удалялись на большое расстояние от стойбища. Вернувшись через 10—15 дней в аал, они пополняли припасы и вновь уезжали в тайгу.

Название соболя (общее название киш, алды; самка — киш; самец — *иргек*) заменялось на промысле различными эфемизмами, как, например, *чараш анг* — красивый зверь. Само слово «киш» некоторые исследователи (М. Ряснен, Д. Доннер) склонны выводить из самодийских языков.

Старые охотники-оленоводы рассказывали мне, что их деды охотились на соболя только на родовых территориях, однако на рубеже XIX и XX веков этот обычай уже почти не соблюдался. В 1926 г. М. Г. Левин отметил в своем полевом дневнике, что у тоджинцев охотничьи угодья для промысла соболя находятся в фактическом владении отдельных семей и передаются по наследству от отца к сыну [ИИЭМ, ф. 121, № 41, оп. 2, л. 25]. Существование родовых охотничьих территорий засвидетельствовано в XIX в. и у тофаларов [см.: Вайнштейн, 1968а, 73—80], зауральских манси [Носилов, 1889, 65—67] и других народов таежной зоны Евразии.

В начале зимы (конец ноября — декабрь), когда снеговой покров становился глубоким и собака уже не могла долго идти по следу, промысел соболя прекращался и начиналась пешая охота на лыжах, которая велась недалеко от аала, главным образом на белку. Применяли лыжи двух типов: подшитые мехом и не подшитые (голицы), причем последними охотники пользовались только для передвижения по насту. После того как на ближайших к стоянке аала угодьях белку выбивали, аал обычно перекочевывал в новое место. Тоджинцы добывали соболя и белку не только описанным выше способом, но и при помощи самострелов.

Охота на копытных не прекращалась в течение всего года. В горно-степных и восточных таежных районах одним из основных объектов охоты были косули, которые по сравнению с другими копытными имели в Туве наибольший ареал расселения. Следует отметить, что и в других районах Саяно-Алтая косуля была основным объектом охоты среди копытных.

Косуля издавна имела для населения Тувы очень важное значение как объект охотничьего промысла. Ее кости были найдены в Туве в погребениях скифского и гуннского времени, а один из месяцев тувинского народного календаря называется *хүлбүс ай*, т. е. месяц косули. Для косули у тувинцев разработана половозрастная терминология, почти не известная в других тюркских языках. Самца называли

хүлбүс, самку — элик; новорожденный теленок назывался *анай*; теленок до года — *эзирик*, а на втором году — *сартых*. Заметим, что тувинское название самца косули «хүлбүс» имеет параллели в алтайском и хакасском языках. Кроме того, у алтайцев также имеются названия для годовалых телят косули.

Марал, как и косуля, был объектом охоты у населения Тувы с древнейших времен. Ценились не только мясо и шкура, но и рога животного и даже его атрофированные резцы, которые использовали как амулеты (атрофированные резцы марала весьма часто обнаруживаются в погребениях Тувы уже в скифское время). Отражением столь большого промыслового значения является существование в тувинском языке ряда половозрастных названий. Так, марал самец назывался сын; самка — *мыйгак*; молодой марал *быза*; до года — *тош*; на втором году — *сарадак*. Возрастные наименования марала сохраняются также в киргизском и якутском языках.

Охота на косуль обычно велась в лесистых окрестностях аалов, а для промысла маралов охотники отправлялись за десятки километров от стойбищ.

В охоте на копытных пользовались обычно только ружьем. Существовало несколько основных способов охоты. Одним из наиболее распространенных была охота из засады на солончаках и в местах водопоя, где охотник, замаскировавшись с вечера, ждал появления животного на рассвете. Весьма распространенной в горных районах была также охота на копытных на лыжах по насту. Используя крутые склоны, охотник мог развить на лыжах большую скорость и настичь животное; однако нередко преследование выбивающегося из сил животного продолжалось очень долго, много часов подряд, а иногда и несколько суток.

Такой способ охоты, называвшийся *сүрүйн, өлүрер*, жители Тувы применяли издавна. Еще Рашид ад-дин писал о лесных урянкатах: «Они так гоняются на лыжах по степи и равнине, по спускам и подъемам, что настигают быка и других животных и убивают их» [Рашид-ад-дин, 1952, т. I, 124]. Гоньба по насту на лыжах за копытными была распространена и у других саяно-алтайских народов. К. М. Патачаков описывает случай, когда охотник-хакас гнался за маралом несколько суток [Патачаков, 1958, 26].

Те же способы охоты были известны другим народам Саяно-Алтая, эвенкам и якутам. В. Серошевский писал: «Оленей и сохатых (якуты. — С. В.) гоняют по весне на лыжах; осенью подстерегают на кормовищах и переправах: зимой ставят на них луки-самострелы» [Серошевский, 1896, 306].

Как уже отмечалось, тувинцы широко практиковали способ охоты, основанный на подманивании маралов при помощи

деревянной дудки мургу. В сентябре, когда у маралов начинался гон, охотник, спрятавшись в лесной чаще, издавал на мургу звуки, имитирующие крик самца-марала (охотник не дул в мургу, а втягивал воздух в себя). Услышав звук мургу, марал выходил, чтобы принять бой с соперником и приближался к охотнику на сравнительно близкое расстояние. Подобный способ охоты известен всем саяно-алтайским народам, в том числе алтайцам, тофаларам (у которых эта дудка носит такое же название), хакасам, шорцам и камасинцам.

В охоте на косуль и кабаргу в летнее и осеннее время использовали пискульки эдиски, при помощи которых подражали крику косуль, подманивая их: высокий звук напоминал крик козленка и привлекал косулю-самку; низкий, похожий на крик самки кабарги и ее детеныша, заманивал самца. Под тем же названием пискулька известна тофаларам, хакасам, шорцам.

В конце XIX — начале XX в., как и в более раннее время, важную роль играла коллективная облавная охота. Известно, что в Тодже еще в начале XIX в. в облавных охотах участвовали десятки людей. В конце XVIII в. Е. Пестерев был свидетелем облавной охоты тоджинцев, в которой приняло участие около ста человек, вооруженных луками, и в результате которой было добыто более тридцати маралов и косуль [Пестерев, 1793, ч. LXXX, 44].

Огромные облавные охоты, устраивавшиеся нередко и с военными целями, широко практиковались монголами в XIII в. [Владимирцов, 1934]. В XIX в. Пржевальский описал у монголов облавные охоты на дзеренов, сходные с тувинскими [Пржевальский, 1946, 57—58]. Облавные охоты у бурят подробно описаны Хангаловым и Клеменцом, главным образом на основе преданий [Клеменц, Хангалов, 1958, 33—95]; однако в литературе почти нет сведений о способах загонной охоты у кочевников Центральной Азии и Южной Сибири, несмотря на то что такие охоты устраивались еще в начале XX в.

Тувинцы практиковали облавные охоты на копытных, волков, лисиц.

В южных районах Тувы конными облавами успешно добывали сайгаков, для чего использовали заранее построенные из жердей загоны. В результате таких охот удавалось добыть до нескольких десятков животных. «...Сайгаки,— писал Е. К. Яковлев,— промышляются облавами и загонями, иногда штук по 100 в загон». Таким же образом, отмечал Яковлев, происходит охота чаще всего зимой, по глубокому снегу, и на других копытных [Яковлев, 1900, 66]. При этом, чтобы остаться незамеченными чуткими животными, тувинские охотники, подкрадываясь, иногда скрывались за

спиной верблюдов или лошадей, которых вели рядом с собой, или откапывали ямки.

Обычно для участия в облавной охоте на копытных собирались жители нескольких аалов. Выезжали на охоту на лошадях, причем ехали на определенном расстоянии один от другого (до 100—150 м). В облавах могли участвовать также женщины, но они не были вооружены. Вначале двигались по прямой линии, растянувшись на несколько километров. Охватив животных, участники облавы начинали замыкать круг и поднимали шум, пугая попавших в кольцо облавы зверей, которых затем убивали мужчины-охотники. Добычу делили поровну. Подобные охоты были известны в XVIII — начале XIX в. также бурятам и качинцам, у которых они описаны П. С. Палласом [Паллас, 1788, т. III, 279—282] и Г. Ф. Миллером. У качинцев в облаве участвовали сотни всадников, составляющих вначале одну линию, а затем в процессе облавы образующих круг. Когда круг замыкался, все участники кричали и испуганные звери бежали внутри круга, пока не устанут. Зверей убивали, а затем делили добычу поровну [ЦГАДА, Портфели Миллера, № 526, ч. II, № 6, л. 9].

В конце XIX — начале XX в. тувинцам была известна архаичная облавная охота с засекой *дес*. Изображения такой охоты найдены на петроглифах Тувы гунно-сарматского времени [Членова, 1956]. Засеки делали в XIX — начале XX в. на перевалах, в тех местах, где проходили тропы лошадей, маралов, косуль, кабарги. Они представляли собой завалы деревьев, достигавшие в высоту 1,2—1,5 м и в длину 10 (иногда и более) км. В завалах устраивали свободные проходы шириной до 3 м, в которых устанавливали самострелы, а в Восточной Туве и глубокие ловчие ямы с кольями на дне. Такие ямы (длиной до 6—8 м, шириной до 2 м, глубиной до 2,5 м) устраивались также на тропах, которыми пользовались животные [см. Вайнштейн, 1961, 47].

Участники облавы — обычно четыре-шесть человек, а иногда и больше — шли цепью в сторону засеки на значительном расстоянии друг от друга. Каждый загонщик старался громко кричать и производить как можно больше шума. В результате такой облавы иногда целые стада животных становились добычей охотников. У западных тувинцев охота с засекой также была весьма распространена. Е. К. Яковлев писал: «От декабря до марта делают засеки иногда на несколько верст, сваливая громадные деревья, такие изгороди из сваленных деревьев кончаются узким проходом, в котором и ставят самолы на разного зверя, начиная от соболя и до лося» [Яковлев, 1900, 65].

Сооружение засек стоило очень большого труда и вело к хищническому истреблению животных. Засеки стояли мно-

гие годы. Перед охотой их периодически обновляли. Засеки сооружали коллективно, причем небольшие воздвигали мужчины одного аала, а засеки значительной протяженности создавались трудом мужчин нескольких соседних аалов, а в Тодже еще в середине XIX в. засеки по преданиям строились силами рода.

Засекой обычно могли пользоваться только те, кто ее соорудил. Сходные приемы охоты с сооружением засек и установкой самострелов в их проходах были известны тофаларам, якутам, хантам, манси и другим сибирским народам. Так, по свидетельству П. С. Палласа, «Каждая вогульская семья в округе своего владения заняла на выгодном месте изгородку, простирающуюся иногда до 12 верст... В некоторых расстояниях пущены напряженные твора или ловчие ямы для ловли проходящих зверей» [Паллас, 1788, ч. II, кн. I, 227].

У тоджинцев бытовала еще одна форма коллективной охоты на копытных, носившая название *кедээр*. Охотники осенью и в начале зимы замечали по следам путь стада животных из горной тайги в долину, а весной в теплые дни, когда животные той же тропой возвращались в горы, они перерезали им путь, устраивая засаду.

Весной, обычно в конце марта, многие мужчины объединялись в группы для участия в коллективной охоте *ыдалаар* на лыжах по насту. Группа, включавшая загонщиков и стрелков, в Восточной Туве носила названия *туспаар*. Рано утром, пока сохранялся наст, стрелки прятались в низине, а загонщики, взяв с собой двух-трех лучших собак, обученных преследовать зверя по насту, поднимались на лыжах в горы. По следам пускали собак. Животные, спасаясь от преследования, устремлялись в долину, но там наталкивались на засаду. Объектом охоты *ыдалаар* были также пушные звери; в том числе соболь.

Наибольшее распространение в Туве, особенно в Тодже, имела загонная охота *туралаар* (в Центральной Туве называлась *дуралап ангнаар*, в Западной — *сегиртип ангнаар*), в которой участвовало от четырех до десяти охотников, реже до 20. Группа, например, численностью в семь человек состояла из двух загонщиков *агжылар* и пятерых стрелков *туражылар*. Туражылар поднимались на перевал и, вытягиваясь в цепочку, устраивали засады. Тем временем загонщики, ударяя палками по стволам деревьев и оглашая лес громкими криками, двигались пешком или на лошадях в сторону засады. Испуганные животные бежали сквозь заросли к перевалу, где их ждали стрелки.

При загонах на лося, косуль, сайгаков и других копытных мясо делилось между всеми загонщиками, а шкуры и рога доставались стрелявшему. Указание на такую форму

распределения добычи у тувинцев в конце XIX в. мы находим также у Е. К. Яковлева [Яковлев, 1900, 65].

Следует отметить, что имела распространение летняя коллективная охота (*соруг манаар* — у тоджинцев, *хайыр манаар* — у тувинцев других районов) на копытных, в особенности на марала, вблизи солончаков *кужур*. Такая охота была распространена во всех районах Тувы. Недалеко от солончака выкапывали яму или делали укрытия из валежника, куда прятались два, иногда три охотника. Ждали всю ночь; когда наконец животные приближались к солончаку, охотники одновременно стреляли в них. Животные часто приходили лизать соль также к берегам соленых озер. В этом случае охотники вечером взбирались на деревья, расстелив на берегах озер, и ожидали появления животных.

Облавы *аглаар*, включавшие несколько десятков вооруженных охотников, проводились в начале XX в. главным образом на волков и лисиц и реже на копытных. Охоту облавой, сообщает Ф. Кон, в большинстве случаев устраивали по предложению зажиточного тувинца, у которого появившиеся в окрестностях волки уничтожали скот. Участвовали в облаве жители ближайших аалов: более самостоятельные выезжали на собственной лошади, бедным доставлял лошадей инициатор облавы. Приехав туда, где водились волки, руководитель охоты указывал каждому место, где тот должен находиться. Охотники располагались на местности так, чтобы одна сторона, где шла облава, была не гористая и позволяла бы верхом гнаться за волками. Подготовившись таким образом, охотники, соблюдая возможную тишину, постепенно приближались к стае, а затем начинали стрельбу по ней. Если стая волков замечала охотников до их приближения, то все усилия охотников были направлены на то, чтобы загородить ей дорогу к горам и загнать на открытое место. Тогда начинается погоня, которая продолжается целый день, пока лошади не выбьются из сил. Некоторые из участвовавших в облаве были вооружены ружьями, другие — укрюками [Кон, 1934, 95—96].

Гоньба зверя верхом на лошади была известна также алтайцам, хакасам, киргизам, казахам, якутам, монголам и бурятам.

По собранным мною сведениям, в сравнительно недалеком прошлом в облавных охотах (как на волков, так и на других зверей, в том числе копытных) один из участников облавы верхом на коне ловил животное арканом, а другой убивал пойманного зверя из ружья, причем слезал для этого с коня, так как тувинцы не стреляли из ружья, находясь верхом на лошади.

Использование арканов и укрюков для охоты в XIX — начале XX в. выходило из употребления, и их брали на обла-

ву скорее по традиции, чем в практических целях; однако в более раннее время применение арканов и укрюков было широко распространенным. На Сыынчюрекской писанице в Туве, как уже отмечалось, есть изображение сцены охоты на горных баранов, которое я датирую гунно-сарматским временем: у одного из охотников в руках был длинный шест, на конце которого свисала, по-видимому, петля, т. е. был изображен укрюк [Вайнштейн, 1958, табл. I, рис. 1—2].

Заметим, что петроглиф с изображением всадника с арканом в руках, преследующего лося, был открыт А. П. Окладниковым в Восточной Сибири на Шишкинских скалах и отнесен им к искусству курыканов [Окладников, 1959, рис. 63, 64]. Использование аркана на охоте тесно связано с образом жизни и скотоводческим хозяйством степных племен, на что обратил внимание еще Н. Харузин [Харузин, 1891, ч. I, 117].

Помимо описанных выше облавных охот, на волков охотились и индивидуально, хотя и редко. Чтобы добыть волка, применяли также самострелы, которые устанавливали зимой поблизости от падали, на волчьих тропах, у нор.

На промысле никогда не называли волка словом «бөрү». О нем говорили, пользуясь такими описательными выражениями, как *көк карак* — «синеглазый», *улдурук* — «воющий», *узун кудуруктуг* — «длиннохвостый» и др. Заметим, что тюркское название волка «бөрү» восходит, вероятно, к гуннскому *фули*, сохранившемуся в китайских источниках и близкому по звучанию к названиям волка в ряде индоиранских языков [см. Кляшторный, 1964, 111].

В степных районах одним из основных объектов охоты были лисицы дилги. Наиболее распространена была обычная рыжая лиса *сарыг дилги*, но иногда встречались и очень ценились лисы-альбиносы *ак дилги*, черные *кара дилги* и даже песцы *элбээнги дилги*.

Наряду с индивидуальным промыслом лис с ружьем и самострелом были распространены коллективные охоты, которые носили название *дилги сурер* и проходили обычно в ноябре. Артель охотников от 5 до 10 человек, одни с ружьями, другие без ружей, держа собак на поводках, выезжали на лошадах рано утром, норовя поспеть к тому времени, когда «лисица ходит за поедью». Увидев лисицу, охотники спускали собак и начинали преследование. Собаки со всех сторон пересекали лисе дорогу и в большинстве случаев душили ее; если почему-либо им это не удавалось, охотник соскакивал с лошади и убивал лисицу из ружья [Кон, 1934, 94—95].

На лисиц охотились ради меха, который ценился весьма дорого, — по данным Ф. Кона, лисий мех стоил от 20 до 60 беличьих шкур [Кон, 1934, 15].

Промысел зайцев велся почти исключительно при помощи самострелов, которые устанавливали зимой на заячьих тропках. Наконечники стрел делали либо деревянными, либо костяными (из рога марала). По данным Кона, охотник добывал за зимний сезон до 60 зайцев [Кон, 1934, 88—89]. Мясо зайцев ели, шкурки использовали для шитья одеял и как подстилку в детские люльки; в некоторых случаях заячьими шкурками подшивали одежду.

Мелких пушных животных — колонков, хорьков, сусликов — ловили нередко петлями.

На медведя охотились во многих районах: в Тодже, Каа-Хеме, Тере-Холе, Сут-Холе, в горных и предгорных районах Западной и Южной Тувы. Как и волка, медведя на промысле никогда не называли своим именем «адыг», но пользовались для этой цели или эвфемизмами (например, *хайрахан* — «господин», *ирэй* — «дедушка», *ава* — «мама», *кара чувэ* — «черная вещь», *чоорганныг* — «имеющий одеяло» и др.), или монгольским названием *мажаалай*. Впрочем, само слово «адыг» иногда также считают эвфемизмом, связывая его со словом «отец» [Vambery, 1878, 24]. Дедушкой называли медведя якуты и некоторые другие народы, а словом «мать» — кыпчаки и огузы [Шербак, 1961, 130].

Интересно и то, что в тувинском языке для медведя есть возрастные наименования: медведя до года называют *бичи оглу* («маленький сын»); двухлетнего — *хунан оглу*; трехлетнего — *дөнөн оглу*; два последних названия, как мне объясняли охотники, отражают развития у зверя постоянных резцов. Двухлетний медведь у алтайцев, по данным В. Радлова, также носит название *кунан айу* [Радлов, 1899, т. II, стлб. 910].

Медведь считался у тувинцев особо почитаемым животным. Как писал Ф. Кон, уважение к медведю было настолько велико, что при допросах преступников еще в начале XX в. вместо присяги допрашиваемому показывали ноздри медведя [Кон, 1934, 96].

Определенного времени для медвежьей охоты не было. Охотились круглый год: летом, как правило, лишь при случайных встречах, а осенью и зимой организовывали коллективную охоту.

Охотник, заметивший во время промысла берлогу, сообщал об этом жителям аала. Для охоты обычно собирались шесть человек. Если дело происходило осенью, охотники сразу же выходили из стойбища: «Медлить нельзя, — объясняли они, — медведь осенью еще спит некрепко, может почувствовать запах находящегося поблизости человека и уйти».

Вблизи берлоги охотники, срубив несколько молодых деревьев, делали из них длинные и толстые колья (до 4 м дли-

ной и 25—30 см толщиной). После этого двое охотников закрывали медведю выход из берлоги пятью-шестью кольями, воткнутыми крест-накрест поперек входа; остальные в это время стояли наготове с ружьями. Затем охотники, громко крича, начинали дразнить медведя тонким шестом. Определив место, где находится его голова и туловище, они стреляли в берлогу, стремясь попасть в голову зверя. Тушу убитого медведя охотники делили между собой, после чего совершали особый обряд.

Мясо медведя употреблялось в пищу. Шкура медведя, добытого весной или летом, когда ее нельзя было продать или отдать в албан, шла обычно на ремни; зимняя шкура оценивалась от 40 до 200 белок.

В Тодже на медведя и некоторых других животных (лося, маралов, косуль) охотились также с помощью ловчих ям *тамы*. Этот вид охоты были широко распространен у тоджинцев в прошлом, однако уже в конце XIX в. он почти не применялся: старики рассказывали мне, что оленевод Уш-белдир из рода кыштаг, умерший в начале XX в., был последним охотником, применявшим ловчие ямы. Он делал ямы на берегу р. Тонмак в тех местах, где животные часто переходили через реку. На расстоянии 1—1,5 м от берега Уш-белдир и несколько его сородичей выкапывали яму, длина которой доходила до 6—8 м, глубина до 2,5—3 м, а ширина до 2 м. На дне ямы забивали много остроконечных колышков высотой до 1 м, затем яму прикрывали тонкими ветками и слоем мха. Несколько таких же ям устраивали по соседству.

В западных и южных районах Тувы была распространена охота на сурков. Этих животных, которых тувинцы называли «тарбаган», били из-за их вкусного мяса, считавшегося лакомством, и шкуры, шедшей на отделку одежды. Охотились на них ранней весной или осенью. Если охотник был один, то он, взяв ружье, прятался поблизости от норы и ждал, когда зверек выйдет. Стреляя, нужно было попасть в голову, иначе раненое животное тут же скрывалось в норе, откуда его было очень трудно извлечь. В Монгун-Тайге для того, чтобы подкрасться поближе к суркам, охотник часто надевал куртку *хоректээш тон* из козьих или тарбаганьих шкурок, вывернутых мехом наружу; голову охотник обычно прикрывал маскировочной шапкой конусовидной формы, также мехом наружу. Нередко такую шапку делали из шкуры, снятой с головы козы, косули или другого животного, оставляя на ней торчащие уши и даже рога. Приближаясь к норе зверька, охотник нередко брал в поднятую левую руку хвост сарлыка или просто кусок меха и помахивал им, привлекая любопытного сурка. Все это позволяло нередко приблизиться к суркам на очень близкое расстояние с тем,

чтобы поразить животное точно в голову. Совершенно аналогичный способ охоты на сурков применяли монголы.

Использование маскировочных костюмов известно у охотничьих народов с палеолитического времени. При этом необходимо отметить, что изображения шапки с торчащими ушами животных или рогами известны на нескольких сибирских петроглифах, в том числе на наскальных рисунках древних курыкан, о чем можно судить по изображению всадника с роговидными возвышениями над головой [Окладников, 1959, рис. 60], а также у якутов, которые пользовались масками с рогами [Окладников, 1955, рис. 88—2]. Возможно, что некоторые изображения людей с роговидными возвышениями над головой, найденные на писаницах Тувы [см.: Вайнштейн, 1958, табл. I, рис. 10], изображают не шаманов, как обычно полагают, а охотников в масках.

Поздней осенью, когда сурки впадают в спячку, на них устраивали коллективную охоту. Для охоты собирались группы мужчин и подростков, как правило, из одного аала. Отыскав сурчиные норы (в каждой из которых находилось обычно несколько зверьков), охотники разжигали рядом с их выходами костры. Это делалось для того, чтобы сурки, которые боятся дыма, пробудившись от спячки, не выскакивали из нор. После того как дым начинал застилать выходы, норы начинали раскапывать сразу в нескольких местах, и обнаруженных животных тут же убивали. Успешная охота, по свидетельству многих информаторов, позволяла добыть за короткий срок несколько десятков животных.

Об этом способе охоты у кочевников Центральной Азии впервые упоминает Рубрук, который пишет о монголах, что в местах, где они живут, «водится также много сурков, именуемых там согур, они собираются зимой в одну яму зараз в числе 20 или 30 и спят шесть месяцев; их ловят татары в большом количестве» [Рубрук, 1957, 98].

Возникает вопрос: почему Рубрук указал тюркское название сурка *согур*, а не монгольское «тарбаган» (*тарвага[я]*). У тувинцев ныне распространено монгольское название степного сурка, однако у других тюркских народов это животное носит название, близкое к тому, которое привел Рубрук: *суур* у киргизов, *сугур* у башкир и уйгуров; в слове Махмуда Кашгарского сурок также назван «сугур» [МК, т. I, 363]. Возможно, что либо Рубрук указал название со слов своего переводчика, родным языком которого был тюркский (в тексте Рубрука довольно часто встречаются именно тюркские, а не монгольские названия), либо татары, кочевавшие в пределах России, с которыми Рубрук вначале встретился, пользовались в какой-то мере тюркской речью. О том, что сурок носил у монголов в XIII в. название «тарбаган», свидетельствует текст «Сокровенного сказания», где говорится,

что юный Темучин и его родственники на южных склонах Бурхан-халдуна «промышляли ловлей сурков (тарбаган) и горной крысы (кучукур), чем и кормились» [С. ск., § 89].

Охота на боровую и водоплавающую дичь была в Туве сравнительно мало распространена. Это объясняется тем, что охота на птиц, отнимая довольно много времени, давала меньше мяса, чем охота на копытных. Охота на глухаря *кара-куш*, тетерева *күртү*, рябчика *күйшүл* и др. носила в основном случайный характер, и более или менее постоянно ею занимались только подростки, а иногда даже дети 8—10 лет. Лишь на глухарей во время токования охотились специально. Если в мае случайно обнаруживали в тайге тетеревиные тропки, на них ставили волосяные петли. Такие же петли использовали в степных районах Тувы для ловли многочисленных здесь куропаток *торлаа*. Как и в таежных районах, этим занимались подростки, ставившие петли на тропках птиц вблизи аалов. Взрослые охотники, встретив зимой стайку куропаток, также обычно старались добыть несколько штук.

В тувинских семьях мальчиков довольно рано начинали приобщать к охоте. В степных и горно-степных районах Тувы маленькие мальчики сами делали петли-силки, получали небольшие луки, которые им изготовляли старшие, и охотились поблизости от аала. Они били из лука птиц, ставили петли на птиц и мелких зверей, в особенности на сусликов, а подрастая, начинали добывать в близлежащих местах тарбаганов, охотиться на зайцев, лисиц. Когда мальчику исполнилось 10—11 лет, отец и старшие братья начинали брать его на промысел даже в отдаленные местности; годам к 13 подросток обычно получал ружье (если в семье была такая возможность) и начинал вести промысел, не отличавшийся от того, которым занимались более старшие. В артели подросток получал равный пай со взрослыми.

Такая последовательность в развитии охотничьих навыков — от добывания птиц (обычно степных куропаток) и мелких зверьков (обычно сусликов) к охоте на тарбаганов, зайцев, лисиц — весьма древняя традиция степных кочевников. Так, Сыма Цянь писал о гуннах: «Мальчик, как скоро может верхом сидеть на баране, стреляет из лука пташек и зверьков; а несколько подросши стреляет лисиц и зайцев». [Бичурин, 1950, т. I, 40]. Такие же традиции существовали у монголов. Мальчикам делали небольшие луки: маленький Темучин и брат его Хасар, как свидетельствует «Сокровенное сказание», добывали птиц, стреляя в них из детских луков [С. ск., § 77].

Эта традиция нашла отражение и в тувинском эпосе. В одном из эпических сказаний («Алдай-Буучу») маленький сын Алдай-Буучу говорит отцу: «Поохочусь-ка я на птичек,

сделай мне, отец, лук и стрелу»; вскоре он становится опытным охотником, добывая помимо птиц тарбаганов, горных козлов, косуль и других животных [Гребнев, 1960, 77].

Как уже отмечалось, роль охоты в хозяйстве тоджинцев и остальных тувинцев была различной. У оленеводов Тоджи охота составляла основу экономики наряду с оленеводством. Почти каждый благоприятный для охоты день подростки и мужчины-олeneводы находились на промысле: осенью и зимой охотились преимущественно на белку и соболя, в остальное время года — на копытных, добыча которых обеспечивала семьи оленеводов основным источником питания — мясом. Благополучие оленеводческих семей зависело от успеха промысла. В отдельные периоды, когда туманы, дожди, метели и вообще непогода не позволяли вести промысел копытных, большинство семей страдало от недоедания, в особенности в предвесенние месяцы, когда запасы сараны были исчерпаны. Такую же роль играла охота и для других оленеводов Саяно-Алтая. А. Я. Тугаринов писал о камасинцах: «Весь хозяйственный быт, передвижения, навыки и прочее целиком были связаны с основным занятием... охотой» [Тугаринов, 1926, 78]. Столь же важное значение имела охота и у тофаларов [см.: Петри, 1928].

Значение охоты для тувинцев-олeneводоов отразил их хозяйственный календарь, сходный в этом отношении с календарем тофаларов, но неизвестный тувинцам других районов. Позволю себе привести годовой цикл охоты у тувинских оленеводов.

Ак ай (белый месяц) — февраль. Первый месяц календаря. Вели промысел на лыжах вблизи аалов на белку и копытных. Отдельные охотники шли в дальнюю тайгу и там ставили самострелы на соболя. В близлежащем лесу обычно один-два раза устраивали коллективную облавную охоту на копытных с засекой.

Ол харлыг ай (месяц мокрого снега) — март. Велась пешая охота вблизи аала на косуль. В конце месяца почти все мужчины и подростки аала вели коллективную охоту на копытных по насту с собаками.

Ыдалаар ай (месяц охоты с собаками по насту) — апрель. В начале месяца аал совершал несколько небольших перекочетов в места, где больше копытных. На одном месте находились от двух до десяти дней в зависимости от возможностей охоты и корма для оленей. Охота по насту в этом месяце была основным занятием мужчин.

Шовур ай (месяц появления почек и ростков травы) — май. Вели индивидуальную охоту на крупных копытных.

Бак тозаар ай (месяц плохо снимающейся бересты) — июнь. Откочевывали к вершинам гор. Велась индивидуальная охота на копытных.

Эки тозаар ай (месяц хорошо снимающейся бересты) — июль. Мужчины уезжали из аала для коллективной охоты на крупных копытных.

Айлаар ай (месяц сбора сараны) — август. Жители аала делились на группы в две-пять семей. Каждая группа откочевывала ближе к местам, изобиловавшим сараной. Охота в этот период почти не велась.

Хүлбүс айы (месяц косули) — сентябрь. Переходили на осенние пастбища, расположенные в местах обитания соболя. Охотились на крупных копытных. В конце месяца начинали охотиться на белку.

Алдылаар ай (месяц охоты на соболя) — октябрь. Аал совершал частые перекочевки. На одном месте аал находился не более трех-пяти дней, пока охотники не выбивали в окрестной тайге белку; с середины месяца отдельные охотники уходили далеко в горную тайгу на соболиный промысел. Через 10–15 дней они возвращались в аал, который за это время успевал откочевать.

Оргүглээр ай (месяц постоянно падающего снега) — ноябрь. В конце месяца охота на соболя, как правило, прекращалась и аал перекочевывал в более низкие места, где продолжали охотиться на белку. Отдельные мужчины аала вели индивидуальную охоту на крупных копытных ради мяса, а в конце месяца начинали вести коллективные облавные охоты.

Башкы соок айы (первый холодный месяц) — декабрь. В конце месяца в поисках хороших пастбищ для оленей делали небольшие перекочевки. Глубокий снег не позволял вести охоту с собакой, поэтому ограничивались установкой в близлежащих местах самострелов.

Сонгу соок айы (последний холодный месяц) — январь. В это время охота велась главным образом с самострелами [подробнее см.: Вайнштейн, 1961, 66–68].

Мясо, шкуры, рога диких животных оленеводы использовали значительно более полно, чем скотоводы. Так, шкуры лося шли на изготовление покрышек чума; камусы с ног копытных — на шитье обуви и т. п.; пузыри, желудки, шкуры и рога диких копытных использовались для изготовления различных видов утвари.

Характерной чертой хозяйства оленеводов было участие в промысле почти всех трудоспособных мужчин, в том числе подростков. Показательны в этом отношении данные, приводимые переписью 1931 г. и характеризующие участие в охотничьем промысле тоджинских оленеводов и охотников-скотоводов. Исключив из общего числа хозяйства, занятые только скотоводством, а также хозяйства служащих государственных и кооперативных учреждений, мы получили следующие цифры [ТСДП, 30–31]:

Количество голов скота в хозяйстве (в переводе в крупный)	Общее число хозяйств	В том числе занимались охотой
До 5	65	60
От 5,01 до 10	109	99
От 10,01 до 11	182	167
От 11,01 до 20	95	89
От 20,01 до 30	44	43
От 30,01 до 40	9	7
От 40,01 до 50	504	465

Мы видим, что лишь очень незначительное число хозяйств не участвовало в охотничьем промысле. При этом необходимо отметить, что богатые оленеводы, которые по какой-либо причине не вели промысла сами, часто обеспечивали транспортными оленями, оружием и боеприпасами бедняков, которые отдавали им за это значительную часть добычи.

В других районах Тувы роль охоты в хозяйстве в значительной мере зависела не только и не столько от близости охотничьих угодий к району кочевий, сколько от имущественного положения скотовода. По свидетельству моих информаторов, богатые скотоводы, владевшие сотнями голов скота, никогда не занимались охотой ради промысла, в то время как в бедных скотом хозяйствах охота служила значительным подспорьем. Мясо и шкуры, полученные на промысле, были для таких хозяйств одним из главных, а иной раз даже главным источником существования. Часть бедняков брала в аренду оружие и транспорт у баев; часть вела пешую охоту. Заметим, кстати, что тувинский эпос описывает таких бедняков, которые, проживая недалеко от богатых скотоводов, владевших тысячными табунами коней, вынуждены были вести пешую охоту, которая была для них основным источником существования.

Богатые скотоводы, не занимаясь охотничьим промыслом, но нуждаясь в пушнине, нередко сами нанимали для участия в промысле охотников, снабжая их транспортом, оружием и боеприпасами и получая в свое распоряжение половину всей добычи. Подобное положение сохранялось в Туве еще в 1931 г., что нашло отражение в переписи [ТСДП, 5]. То же отмечает и Юхнев у алтайцев: «Богатые инородцы не идут на зверовой промысел сами, а посылают от себя опытных и хороших охотников» [Юхнев, 1901, 104]. Если же богатый скотовод и выезжал на охоту, то главным образом для развлечения. Обычно богатые скотоводы предпочитали участвовать в облавных охотах, в особенности на волков, наносивших большой урон их огромным стадам.

Значительный интерес в этом отношении представляют данные переписи 1931 г., характеризующие участие в охот-

ничьем промысле скотоводов Тувы и сведенные воедино в таблице 7 (исключена Тоджа).

Таблица 7

Участие в охотничьем промысле скотоводческих хозяйств Тувы*

Количество голов скота в хозяйстве (в переводе в крупный)	Число хозяйств (по хошунам)				
	Барун-Хемчик	Дзун-Хемчик	Улуг-Хем	Тес-Хем	Каа-Хем
До 5	503 (225)**	624 (240)	350 (136)	172 (87)	310 (171)
От 5,01 до 10	856 (455)	978 (463)	650 (357)	360 (167)	841 (474)
От 10,01 до 20	1033 (523)	1283 (553)	924 (555)	466 (237)	702 (381)
От 20,01 до 30	484 (212)	571 (237)	389 (190)	208 (708)	227 (92)
От 30,01 до 40	321 (127)	291 (81)	249 (93)	100 (38)	88 (38)
От 40,01 до 50	100 (28)	96 (10)	59 (10)	37 (7)	25 (9)

* [ТСДП, 26—31].

** В скобках указано число хозяйств, участвовавших в охотничьем промысле.

Нетрудно заметить определенную зависимость участия в охотничьем промысле отдельных хозяйств кочевых скотоводов Тувы от количества скота, которое имелось в их собственности. Так, охотничий промысел вели около 50% всех скотоводов, владевших до 30 голов скота (в переводе в крупный). Хозяйства, имевшие менее 25—30 голов скота (в переводе в крупный), являлись в условиях кочевого скотоводства недостаточно обеспеченными, и охота для них была важным источником существования. Однако уже в группах скотоводов, где количество скота превышало 30 голов, мы наблюдаем снижение числа хозяйств, ведущих промысел, в среднем с 50 до 30%, а в группах, имевших от 40 до 50 голов скота, этот процент в отдельных хошунах снижается почти до 10% (в Дзун-Хемчике). По собранным мною данным, по мере дальнейшего увеличения скота в хозяйствах процент участвовавших в промысле неуклонно снижался.

К сожалению, у других кочевых скотоводческих народов не проделано исследований, которые позволили бы установить зависимость участия в охотничьем промысле отдельных хозяйств от количества скота в их собственности. Тем не менее имеются определенные указания на то, что у скотоводов охотой в хозяйственных целях занималась преимущественно сравнительно бедная часть населения. Так, С. И. Руденко писал о приалтайских найманах (не приводя, однако, каких-либо цифр), что охота у них «не является всеобщим занятием и не имеет существенного экономического значения. Тем не менее для многих она является подсобным занятием, а для зажиточных развлечением, спортом. Некоторые, прав-

да очень немногие, живут охотничьим промыслом» [Руденко, 1930, 26].

В литературе высказывалось мнение, что для кочевников, начиная со скифского времени, охота играла очень важную роль; об этом писал, в частности, С. Семенов-Зусер [Семенов-Зусер, 1931, 12]. Противоположной точки зрения придерживается П. Д. Либеров, который пришел к выводу, что у скифов охотой занималась в основном господствующая аристократическая верхушка, для которой добыча диких зверей была не промыслом, а развлечением [Либеров, 1960, 132]. Однако такой вывод, сделанный на основе изучения остеологических материалов из скифских поселений и городищ, как нам кажется, не может быть распространен на всех кочевых скифов.

Можно с уверенностью сказать, что у всех кочевых скотоводов Евразии, где только позволяла природная среда, сравнительно бедная часть скотоводческого населения (а такая, как известно, была уже среди скифов) вела охотничий промысел, служивший подспорьем скотоводству.

Несомненно, прав Н. Н. Чебоксаров, отнесший охоту к числу характерных черт хозяйственно-культурного типа кочевников-скотоводов засушливой зоны умеренного пояса [Чебоксаров, 1965, 103].

Особенно характерны в этом отношении материалы по исторической этнографии тувинцев, алтайцев и монголов. Напомним, что у алтайцев, по данным Юхнева, охотничьим промыслом занималось 85,3% хозяйств. Важная роль охоты у монголов еще в древности отмечалась многими источниками. «Сокровенное сказание» и другие источники позволяют сделать вывод, что у монгольских скотоводов XII—XIII вв. охота играла весьма важную хозяйственную роль, а в эпоху Чингисхана она приобрела и военно-спортивное значение при проведении облавных охот. И не случайно Б. Я. Владимирцов даже называл монголов XII—XIII вв. «не просто номадами, а кочевниками-охотниками» [Владимирцов, 1934, 41].

В производственных отношениях, сложившихся на базе охотничьего промысла, сохранялись многие черты, присущие патриархально-родовому быту: уравнилельное распределение между членами аала мяса копытных, практиковавшееся в Восточной Туве; существование охотничьих артелей с коллективным распределением результатов промысла; обычай *ужа*, предусматривавший выделение части добычи встреченному на промысле человеку; традиции, связанные с существованием в недавнем прошлом у охотников-оленоводов родовых промысловых угодий, и др.

Рыболовство

Ни тувинское рыболовство в целом, ни такие частные вопросы, как орудия и способы лова или степень занятости этим видом хозяйственной деятельности в отдельных районах Тувы, не были предметом специальных исследований. Возможно, это связано с тем, что в Туве, особенно в горно-степных районах, рыболовство было развито слабо. Тем не менее в небольшой мере им занимались почти по всей Туве, особенно в Восточной. Ловили хариуса *кадыргы*, щуку *шортан*, *шуруш*, окуня *алабуга*, тайменя *бел*, ленка *мыйыт* и другие виды рыб.

Известно, что богатые скотоводы Западной Тувы к рыбе и рыбной пище относились с заметным предубеждением. Аналогичное отношение к рыбе отмечено у монголов, казахов, киргизов, якутов. В отличие от других народов, живших в таежных районах, якуты также сохранили презрительное отношение к рыболовству и рыбе, в чем В. Серошевский видит проявление традиционных чувств степняка-скотовода [Серошевский, 1896, 197]. Однако этнографические исследования у тувинцев свидетельствуют о том, что такое отношение было характерно главным образом для хозяйств богатых кочевых скотоводов горно-степных районов и зажиточных охотников-скотоводов таежной зоны Тувы, которые в изобилии имели мясную и молочную пищу. Маломущие степные и таежные скотоводы, испытывая недостаток в пище, нередко восполняли его рыбной ловлей. Аналогичная картина наблюдалась также у киргизов и казахов, у которых рыбой питались главным образом бедняки [Левшин, 1832, 209]. Что же касается таежных тувинцев-олeneводо-в, то для них рыболовство было важной стороной хозяйственной деятельности, причем ловлей рыбы не пренебрегали и богатые олeneводо-в.

Вместе с тем было бы неверно полагать, что рыболовством занимались почти все тоджинцы, как об этом обычно говорится в работах о Туве. Изучение этнографии восточных тувинцев позволило установить, что рыболовством занималось менее четверти всех хозяйств тоджинцев; при этом выявляется определенная зависимость участия отдельных хозяйств в рыболовном промысле от количества олeneй в хозяйстве.

В конце XIX — начале XX в. в Тодже было несколько совершенно безолeneных хозяйств, которые, не имея возможности кочевать, жили вблизи очень богатого рыбой оз. Азас (Тоджа), сочетая пешую охоту с рыболовством. Эта группа не была постоянной: став собственниками олeneй или арендовав их у баев, отдельные хозяйства этой группы снова

начинали кочевать в тайге, причем часть из них фактически прекращала регулярное ведение рыболовного промысла. В конце XIX — начале XX в. число таких хозяйств достигало в отдельные годы 15—20. В 30-е годы XX в. их количество сократилось до 5—7.

Охотники-скотоводы Восточной Тувы, в том числе в Тодже, занимались рыболовством в большей мере, чем кочевые скотоводы горно-степных районов, но и у них этот вид промысла, по сведениям моих информаторов, был характерен лишь для шестой части всех хозяйств, причем, как и у кочевых скотоводов горно-степной зоны, рыболовством у них занимались главным образом бедняки.

Хотя для охотников-олeneводо-в рыболовство имело большее значение, чем для охотников-скотоводо-в, тем не менее и среди первых рыбную ловлю вело лишь немногим более трети всех хозяйств. Однако в отличие от кочевых скотоводов горно-степных районов рыболовством у олeneводо-в занимались не только бедняки, но и члены многоолeneных хозяйств. Более того, среди последних число занятых рыболовным промыслом было относительно выше, чем среди малоолeneных хозяйств.

Рыболовством занимались те хозяйства олeneводо-в, которые располагались в весенне-осеннее время вблизи «рыбных» озер и рек. Чтобы специально перебраться к таким водоемам, нужно было иметь достаточное количество транспортных животных, поэтому наибольшее число хозяйств, занимавшихся рыбной ловлей, приходилось на зажиточных олeneводо-в, имевших не менее 10—15 ездовых олeneй. У тех же хозяйств, у которых таких олeneй было меньше, возможности выбора весенне-осенних пастбищ вблизи «рыбных» водоемов были более ограничены, чем у их богатых сородичей. Однако и у обеспеченных хозяйств определяющее значение при выборе маршрутов кочевки имели не потребности ведения рыбного промысла, а качество пастбищ для олeneй и возможности ведения охоты.

В этом отношении интересные данные позволяет получить перепись 1931 г. в Тодже. Из 521 хозяйства охотников-скотоводо-в и охотников-олeneводо-в, ведшего промысел, рыболовством занимались 137, причем в сумоне Азас, почти целиком состоявшем из олeneводо-в (из 242 хозяйств этого сумона олeneводо-вством занималось 240), рыболовный промысел вели 94. Переписью было также учтено число хозяйств, которые вели рыболовный промысел, в различных по обеспеченности скотом (в переводе в крупный) группах. Если мы исключим хозяйства, члены которых работали по найму, в том числе в государственных и кооперативных учреждениях, а также сами нанимали или отпускали работников, то получим следующие цифры [ТСДП, 30—31]:

Количество голов скота в хозяйстве (в переводе в крупный)	Общее число хозяйств	В том числе занимались рыболовством
До 5	65	11
От 5,01 до 10	109	17
От 10,01 до 20	182	52
От 20,01 до 30	95	29
От 30,01 до 50	44	20
50,01 и более	9	2

Из приведенных данных, видно, что даже среди беднейшей части тоджинцев, владевших менее чем 5 единицами скота (в переводе в крупный), рыболовством занималось менее 20% хозяйств. Близкое к указанному соотношение было в группе с количеством скота от 5 до 10 единиц, но повышалось в остальных группах. Наиболее высокий процент занимающихся рыболовным промыслом (около 50%) отмечен в группе, хозяйства которой имели от 30 до 50 единиц скота. В более обеспеченных скотом группах число хозяйств, ведущих промысел, снижается — около 30%. Здесь же следует отметить ошибочность встречающегося в литературе утверждения, что араатам запрещалось в конце XIX — начале XX в. ловить рыбу в оз. Азас. О том, что арааты ловили рыбу в этом озере, как и в других крупных водоемах, свидетельствуют не только мои старейшие информаторы, но и многие архивные документы, из которых укажем хотя бы отчет А. П. Ермолаева за 1915 г. [ГА ТАССР, ф. Р-123, оп. 2, № 131, л. 32].

Наконец, нужно указать на небольшую этническую группу балыкчи в Юго-Восточной Туве. Эта группа, жившая по берегам оз. Тере-Холь, почти не кочевала; озерное рыболовство издавна было для нее основой хозяйственной деятельности в течение всего весенне-летнего сезона [Вайнштейн, 1954б]. Группа балыкчи, само название которой означает «рыбак», была экзогамна и вела свое происхождение от древних жителей уйгурской крепости Пор-Бажин на оз. Тере-Холь [см.: Вайнштейн, 1964в]. Балыкчи занимались также главным образом пешей охотой, собирательством и в небольшой мере скотоводством.

Тувинцы применяли разнообразные способы лова, в том числе лов рыбы голыми руками без каких-либо приспособлений. Занимались этим обычно мужчины. Войдя в воду, рыбак старался не двигаться, чтобы не спугнуть рыбы; когда она наконец подплывала, рыбак, хватал ее и бросал на берег.

Мне удалось видеть лов рыбы голыми руками в урочище Шыктыр Чайлар недалеко от Хөндергея. Здесь течет небольшая мелководная речка Кара-Суг. В ловле участвовало три

человека: старик тувинец и два подростка, его родственники. Лов рыбы старик вел на берегу небольшой, но глубокой заводи, образованной изгибом реки. Один из подростков, взяв в руки палку и войдя в воду, поднялся метров на двести вверх по течению, чтобы оттуда гнать рыбу вниз. В это время другой вошел в речушку на несколько метров ниже заводи. Стоявший сверху начал бить по воде палкой и водить ею в воде из стороны в сторону, время от времени заталкивая ее в ямки под берегом и стараясь как можно больше мутить воду. Грязная вода шла вниз по течению. Подросток, стоявший ниже заводи, также бил в это время по воде палкой и водил ею из стороны в сторону, чтобы рыба не шла вниз. Испуганная рыба устремлялась к тихой заводи и скапливалась там. Старик между тем лег на правый бок на берегу и опустил оголенную руку с раскрытой кистью в мутную воду. Время от времени он выбрасывал на берег довольно крупную рыбу. По словам старика, он водил в воде кистью руки до тех пор, пока не чувствовал прикосновение рыбы, тогда он подводил правую кисть с отогнутым большим пальцем к боку рыбы и мгновенно сжав ее в руке, бросал на берег.

Турчанинов отметил несколько иной способ лова рыбы голыми руками. По его словам, тувинец, войдя в воду у берега, «остаётся неподвижен... затем, наметив рыбу, которую хочет поймать, начинает медленно наклоняться с вытянутыми книзу руками. Это сгибание идет так тихо, что рыба его не замечает, так же медленно и осторожно погружаются руки в воду до тех пор, пока ладонь не коснется рыбы, которая моментально схватывается» [РФ ТНИИЯЛИ, № 8, л. 67].

Этим способом лова иногда пользовались охотники, находившиеся на промысле вблизи реки. Старый житель Овюрского района К. О. Монгуш рассказывал мне, что в молодые годы он кочевал в местах, где не было рыбных рек и озер, однако на охоту ездил с товарищами в тайгу, в верховья изобиловавшей рыбой р. Чадан. В свободное от промысла время охотники ловили рыбу таким способом: два-три человека заходили в воду и гнали рыбу в какую-нибудь протоку или на мелкое место, где стоял их товарищ, который ловил рыбу руками и выбрасывал ее на берег. Так удавалось поймать до ста рыб и более.

Ловля рыб голыми руками без каких-либо приспособлений относится к числу древнейших способов рыболовства и была известна уже первобытным народам [Краусе, 1904, 22].

Нередко рыбу ловили затяжной петлей — способом, также, вероятно, уходящим в глубокую древность.

Петлю *дузак* делали из конского волоса (предпочтительно черного цвета), скрученного в тонкую нить. Диаметр петли в зависимости от того, какую рыбу предполагалось ло-

вить, колебался от 10 до 25 см. Удилище *дузак сывы* делалось из тонкого тальникового прута длиной до 1,5 м.

Мне пришлось наблюдать лов рыбы при помощи петли вблизи урочища Хөндергей. Двое тувинцев — мужчина и подросток, которых я сопровождал, шли вверх по течению небольшой горной таежной реки Анныяк Хөндергей, ища место, где вследствие затора из-за упавших на мелкое место деревьев и веток течение замедлялось и образовалась заводь (*ос*); в таких заводях нередко скопляется много рыбы. Наконец такое место было найдено; лучи солнца освещали рыб, спокойно стоявших неглубоко в воде между ветками и стволами затонувших деревьев. Мужчина снял обувь и очень осторожно, чтобы не всколыхнуть воду, встал на один из выступавших над водой затонувших стволов. Заняв удобное положение, он правой рукой опустил в воду заранее приготовленную петлю и медленным движением подвел ее к голове одной из рыб; затем он продвинул петлю дальше, так что рыба оказалась в ней. В тот момент, когда петля находилась между двумя плавниками почти неподвижной рыбы, мужчина вертикальным рывком затянул ее и быстро извлек довольно крупного хариуса. Ловко схватив левой рукой пойманную рыбу, он зубами перекусил ей затылок и бросил ее на берег, где помощник тут же подобрал ее и нанизал через жабры на острый сучок отломанной ветки. Таким же способом были пойманы еще несколько хариусов, пока из-за какого-то неосторожного движения ловца напуганные рыбы не ушли из заводи.

Для ловли рыбы при помощи петли применялся и несколько иной способ, описанный в начале XX в. наблюдавшим его Турчаниновым. Вначале рыбак пугает рыбу, «водя петлей по воде взад и вперед. Когда рыба перестает обращать внимание, то осторожно заводит петлю с головы, стараясь держать так, чтобы течением ее наносило на рыбу... как только петля проплывает плавники, резким движением ее выдергивает» [РФ ТНИИЯЛИ, № 8, л. 67].

К весьма архаичным относится и ночной лов рыбы с помощью небольшого лука. В лове участвовали обычно два человека: один освещал воду факелом, сделанным из пучка веток или бересты, привязанной к длинной палке, а другой брел по воде рядом, держа в руках лук с обращенной к воде стрелой. Увидев рыбу, рыбак бил ее стрелой. Ф. Кон указывал, что такой способ лова в начале XX в. применялся на Енисее «в малую воду» [Кон, 1934, 98—99]. Способ лова при помощи лука был известен и другим народам Саяно-Алтая. Так, Адрианов писал о шорцах в конце XIX в., что они «рыбу стреляют из небольшого лучка» [Адрианов, 1888, 320]. В Сибири ночной лов рыбы при помощи лука отмечен также у эвенков Свербеевым, который писал, что им занимаются

преимущественно подростки. «Такая ловля, — писал И. Свербеев, — продолжается всю ночь, и количество добычи обыкновенно велико» [Свербеев, 1853, 105]. Били рыбу из лука также обские угры, буряты [Хангалов, 1958, 115], эскимосы, применявшие для этого специально зазубренные стрелы [Файнберг, 1964, 94], некоторые группы индейцев [Radin, 1915—1916, 112].

Нужно заметить, что маленький лук, употреблявшийся тувинскими мальчиками для стрельбы в рыбу, применялся, по-видимому, для этих целей издавна. *Годоли* — стрела такого лука, упомянутая в «Сокровенном сказании» [С. ск., § 77, 116], была известна еще в XIX в. бурятам. Хангалов, отмечая существование таких стрел и луков у бурят, высказывает предположение, что раньше эти луки использовались взрослыми и лишь в последнее время ими стали пользоваться дети, «стреляя в маленьких рыбок» [Хангалов, 1958, 115]. Однако это не так, ибо подобные лучки были известны еще древним монголам XIII в., причем именно как детское оружие [С. ск., § 116].

И у тувинцев и у других народов стрельба из лука в рыбу была в сущности разновидностью ее добывания острой и багром, на что обратил внимание еще Тэйлор, который писал: «Бой рыбы из лука, производимый многими примитивными племенами с удивительной ловкостью, можно считать разновидностью багрения рыбы» [Тэйлор, 1939, 112].

Заметим также, что для стрельбы в рыбу тувинцы обычно использовали широкие с горизонтальной ударной частью наконечника стрелы. Подобные наконечники *калагаш*, применяли для рыбной ловли шорцы [Вербицкий, 1884, 121].

К архаичным приемам рыболовства следует отнести и практиковавшийся главным образом весной способ, заключающийся в том, что в верховьях речушек и ручьев делали из кучки веток небольшую временную плотину. В результате вода меняла направление, русло обнажалось и оказавшуюся в нем рыбу собирали руками. Аналогичный способ лова мне пришлось наблюдать у тофаларов.

У тувинцев был весьма распространен способ лова рыбы на крючок. В Западной Туве крючок называли *сырткыш*, *кармак*, в Восточной — *хөтнэ* (у оленеводов). Крючок привязывали к лесу, сделанной обычно из тальникового лыка, реже из конского волоса (леса у западных тувинцев — *сырткыш баа*, у восточных — *шылга*). Конец лесы, длина которой была до 10 м, рыболов держал в руках. Нередко лесу привязывали к шесту — удилищу *сырткыш сывы*. Крючок мог быть разной величины в зависимости от того, какую рыбу предполагалось ловить, — от 1 до 8,5 см в длину (крючок длиной 8,5 см, сделанный из сучка, хранится в коллекции Ф. Кона в ГМЭ под № 635—5). Крючки делали из рога, железа и дере-

ва, причем для изготовления деревянных крючков пользовались сучками. В качестве наживки использовали червей, мелких рыбешек (пойманных здесь же на мелком месте ручьями), насекомых.

Обычно ловлей рыб на крючок занимались мальчишки-подростки. У бурят и монголов, которым этот способ рыбной ловли был известен, им также занимались чаще всего подростки. В «Сокровенном сказании», в частности, рассказывается, как Темучин с братьями сделали крючки-удочки и, «наживляя негодную рыбешку, стали удить» [С. ск., § 75].

Еще одним способом был лов рыбы с багром. Простейший багор делали очень просто: выбирали длинную березовую ветвь (длина от 1,5 до 2,5 м), вбивали у ее конца один или два гвоздя, а затем изгибали этот конец ветви под прямым углом к остальной ее части, превращавшейся в рукоять, и привязывали к ней ремнем или волосяной веревкой. Кузнецы ковали специальные багры из железа с одним или двумя крюками. Длина такого наконечника багра достигала 20—30 см.

Лов рыбы с багром носил название *тыртпалаар* (у тофаларов *тырткылаар*). Им пользовались во всех районах Тувы. В мелких реках и озерах рыбак ставил багор в яму и, дождавшись, когда над его острием проплывет рыба, резким движением поддевал ее и вытаскивал из воды. Если рыбаков было двое, то второй в это время, стоя поодаль, бил по воде палкой, как бы загоняя рыбу в яму. Н. Ф. Веселков так описывает рыбную ловлю с багром, которую он наблюдал в конце XIX в. «На длинный шестик прикрепляется сделанный из гвоздя крючок и уранхаец, усевшись с этой удочкой на берегу озера, опускает ее на дно на такой глубине, какая доступна длине шестика, и как только заметить, что желаемая рыба подошла, то он в этот же момент ее вытаскивает, зацепив крючком» [Веселков, 1871, 34]. Нередко для ловли багром практиковался и иной прием. Опустив багор в воду, рыбак шел вдоль берега небольшой мелкой речки; заметив рыбу, проплывавшую под острием багра, он резким движением поддевал ее. Багром ловили рыбу также в полыньях и лунках подо льдом, о чем пойдет речь ниже. Лов рыбы с острогой, называвшийся *серээлээр* (такое же название он имеет у тофаларов), был распространен во всех районах Тувы. Применялся главным образом в осенние месяцы для ловли крупной рыбы. Рыбак, идя по берегу, бил рыбу острогой. Обычно этот способ применяли днем, реже в ночное время.

Острога имела форму трезубца, реже — двузубца. В коллекции Ф. Кона в ГМЭ одна трезубая острога (колл. № 636—6) имела длину 18 см, другая (колл. № 636—7) — 28 см. Мною было обмерено 35 экземпляров острог, оказавшихся длиной от 17 до 32 см. Острогу насаживали на длин-

ный шест, достигавший нередко 2,5 м в длину. В Западной Туве остроги и багры делали местные кузнецы; оленеводы Восточной Тувы приобретали их в обмен на пушнину у скотоводов.

В ночном лове участвовало обычно два-три человека. Один из них нес привязанную к длинной палке (длина 1,5—2 м) зажженную бересту или сухие лучины, освещающая воду, а другой бил рыбу острогой. Если в составе группы рыболовов был третий человек, то он нес добытую рыбу (насадив ее на ветку) и заготовленную для факела бересту или лучины.

Ловлю рыбы острогой у тувинцев отмечали многие наблюдатели их быта в XIX — начале XX в., в том числе Ф. Кон [Кон, 1934, 98].

У некоторых групп оленеводов, как и у тофаларов, иногда ловили рыбу в крупных реках с берега, привязывая к рукоятке остроги веревку. Прицелившись в плывущую рыбу, метали в нее острогу как гарпун, оставляя конец веревки в руках.

У оленеводов, как и у тофаларов, существовал своеобразный, вероятно, очень древний способ лова рыбы, применявшийся весной в начале половодья и осенью при спаде воды. Этот способ заключался в том, что по плывущей рыбе били заостренной деревянной лопаточкой *кески* длиной в 10—15 см и рукояткой длиной около 1,5 м.

Как в Восточной, так и в Западной Туве рыбу ловили также при помощи морды (верши). Этим способом (*суге-нээр*) пользовались главным образом весной в начале половодья и осенью при спаде воды на маленьких горных реках. Их перегораживали запором — плотным рядом вбитых колышков, камнями, а у некоторых групп тувинцев-оленеводов и тофаларов запор из колышков дополнительно укрепляли положенными у его основания камнями и бревнами, поставленными крест-накрест в виде козел *тангнуш*. Оленеводы и тофалары ставили морду обычно у края запора, в других районах Тувы ее помещали нередко в середине запора. Запоры строились коллективно всеми мужчинами аала.

Морду плели из веток тальника; она имела круглый обод из березового или ивового прута, к которому крепилось основание, сплетенное из плотно пригнанных ивовых прутьев длиной 1—1,2 м. К обручу прикрепляли также горло, сплетенное из прутьев. Диаметр обруча колебался от 40 до 60 см. Весной морду ставили входной частью против течения, осенью — наоборот, так как весной рыба поднималась вверх, а осенью шла вниз. В конце XIX — начале XX в. у тувинцев начал распространяться также способ изготовления морды, заимствованный у русских.

Сеть применяли в XIX — начале XX в. главным образом

в Восточной Туве (Тоджа, Тере-Холь). Ее плели из конского волоса, сплетая в одну нить до 15—20 волос. Длина сети доходила обычно до 20 м, но были сети и более длинные — до 40 м. Ее ширина была примерно 2 м, реже — 3 м, ширина ячеек *четки карак* колебалась от 3 до 5 см. Поплавки *сыырткыш* из дерева или бересты прикрепляли к пропущенной через всю сеть по верхнему краю веревке *кешти*. От сети отходили веревки *ушбаа*. Грузила *четки таджи* из гальки прикрепляли к нижнему краю сети лыком.

Изготавливали сети обычно в аалах охотников-скотоводов Восточной Тувы. Оленеводы делали их редко и преимущественно приобретали у скотоводов. Тофалары также сами не делали сети, а выменивали их у тоджинцев. Для плетения сети (ее могли плести только мужчины) использовали небольшой обруч из прутика, укрепленный на палке.

Существовало несколько способов лова при помощи сети. *Оскээр* (у тофаларов *кёксээр*) был простейшим. Его могли применять два человека и даже один. Если участвовали двое, то один шел вдоль берега, по течению маленькой реки, держа в одной руке ближний конец небольшой сети, а в другой палку, к которой привязан дальний конец сети. Второй человек шел ему навстречу по берегу и бросал в реку камни, пугая рыбу и загоняя ее в сеть. Иногда рыбак заходил в реку и тащил по воде сеть, один конец которой, привязанный к палке, был воткнут в землю на берегу. Для лова употреблялась сеть длиной до 10 м. *Чедээр*, или *балтаар*, заключался в том, что один рыбак отплывал с сетью на плоту, а другой, стоя на берегу, держал ее конец за веревку. Рыбак на плоту опускал сеть в воду и, описав в водоеме полукруг, приставал к берегу на расстоянии свыше 10 м от второго рыбака. Подождя, пока последний выберет свою половину сети, он вытаскивал ее остальную часть.

Одуганнаар, или *чырыткылаар*, — ночной лов рыбы в мелководных местах. В лове участвовали трое. Два человека, держа один конец сети, шли по воде, а третий с противоположным ее концом двигался по берегу. Пройдя некоторое расстояние, они вытаскивали сеть на берег.

Лов рыбы в стоячей воде, когда установленную в озере сеть оставляли на ночь, носил название *тикпелээр*.

В упоминавшейся выше группе балыкчи практиковались помимо описанных выше некоторые специфические приемы лова рыбы в озере Тере-Холь. Эти способы применялись до начала 50-х годов, когда мне удалось их подробно изучить. Лов велся с узких плотов, своеобразная конструкция которых была описана выше (см. главу о способах и средствах передвижения). Плоты передвигались при помощи длинных шестов с утолщением на нижнем конце. На верхнем конце шеста нередко укреплялась острога и, если поблизости от

плота была видна рыба, шест быстро переворачивали и били ее острогой. Обычно на лов рыбы выходили на двух плотках, на каждом из которых было по одному человеку. Сеть длиной до 60 м находилась на одном плоту, а веревка от одного из ее концов — в руках человека на другом плоту. Сеть опускали в воду, после чего держащий ее конец отплывал подальше и заводил ее по кругу, одновременно ударяя шестом с колотушкой о воду, чтобы загнать рыбу в сеть. После того как круг был замкнут и плоты встречались, сеть вытаскивали. Этот способ лова наблюдал у тувинцев Тере-Холя также Н. Михеев [Михеев, 1910, 85—86].

Тувинцам был знаком и подледный лов рыбы. Однако пользовались им сравнительно немногие, главным образом бедняки, так как было распространено поверье, что если ловить рыбу подо льдом (место, где подо льдом скапливалась рыба, носило название *дунчу*), то выпадет глубокий снег — тяжелое бедствие для скота, находившегося круглый год на пастбищах. Подледный лов тувинцы вели как на крупных, так и на маленьких реках и на озерах. Если лов шел в небольших речушках, то лунки долбили поближе к их устью, на больших же реках предпочитали ловить рыбу своеобразным загонным способом, восходящим к древним приемам охоты. Заранее зная расположение глубокой заводи у берега, несколько человек, вооружившись палками и растянувшись цепочкой, шли по береговому льду и били по нему, стараясь напугать рыбу, которая уходила в эту заводь, где уже заранее была приготовлена выдолбленная лунка (впрочем, иногда ее делали и после загона рыбы). Таким способом начинали ловить рыбу в крупных реках еще поздней осенью, когда у берегов вода замерзала, а в средней части реки еще шел лед. Считалось, что рыба, пугаясь грохота ледохода, скапливается в заводях у берегов. В таком лове иногда участвовали артели до 15—20 человек. Осенний подледный лов в Туве в конце XIX — начале XX в. отметили Ф. Кон [Кон, 1934, 99] и Катанов [АИЭЛ, ф. V, оп. 626, л. 119].

Таковы были способы лова рыбы и орудия рыболовства у тувинцев в XIX — начале XX в. Конечно, по сравнению с охотой рыболовство играло в хозяйстве большинства тувинцев незначительную роль, причем не только в степных, но даже в таежных районах с богатыми рыбой водоемами. Вместе с тем изучение различных способов рыбной ловли показывает, что она имела у тувинцев весьма древние традиции, многие из которых, в особенности сохранившиеся у охотников-оленьеводов Восточной Тувы, восходят к культуре охотничье-рыболовецких племен неолитической, а возможно, и мезолитической эпохи. Обращает на себя внимание и связь многих из приемов рыбной ловли тувинцев с традициями загонной охоты.

В конце XIX — начале XX в. на тувинском рыболовстве начало сказываться влияние русских традиций и способов лова. Кон по этому поводу писал: «По Енисею же заметны следы русского влияния: выделяют лодки, лучат по образцу русских, ловят неводами, ставят сети, запирают реки, раскладывают огонь на косах. Добыча рыбы в среднем: по Кемчику весной около 250 п. (пудов.— С. В.), летом 40—50 п., осенью — около 500, зимой не менее 1000» [Кон, 1934, 99]. В начале XX в. многие тоджинцы не только употребляли рыбу в пищу, но и продавали купцам. Русские купцы скупали у них в течение года около 1500 пудов рыбы, по преимуществу хариуса, сига, щуки [ГА ТАССР, ф. Р-123, оп. 2, № 131, л. 32].

Собирательство

Все наблюдатели быта тувинцев в XVIII — начале XX в. указывали на то, сколь существенную роль играло в их хозяйстве собирательство. Так, Паллас, характеризуя восточных тувинцев, замечает, что «хлебопашества у них нет, скота мало, а потому они живут кореньями» [Паллас, 1788, ч. I, кн. 3, 529]. Знаток быта тувинцев конца XVIII в., Пестерев писал, что тувинцы «с половины же августа раскочевываются по горам для промыслу сарани и зверей» [Пестерев, 1793, т. LXXX, 54]. Г. П. Сафьянов в работе, написанной в 1879 г., отмечал, что в весенние месяцы продукт собирательства — единственная пища бедняков-тувинцев [см.: Катанов, 1903, 407]. На важное хозяйственное значение собирательства у тувинцев указывали В. Радлов [Radloff, 1893, т. II, 175], Б. К. Яковлев [Яковлев, 1900, 42], П. Е. Островских [Островских, 1927, 85—86]. Г. Е. Грумм-Гржимайло, присоединяясь к мнению своих предшественников, подчеркивал, что собирательство для тувинцев имело определенно большее значение, чем для других кочевников [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 90].

Необходимо отметить, что добывание дикорастущих растений было одной из важных отраслей хозяйственной деятельности как для охотников-оленоводо- и охотников-скотоводов Восточной Тувы, так и для кочевых скотоводов горно-степных районов.

Радлов, посетивший в 1861 г. Западную Туву, писал, что тувинцы там «запасают на зиму в большом количестве корни кандыка, луковицы сараны, калбу (*Allium uiginum*) и другие дикие растения» [Radloff, 1893, т. II, 175].

Тувинцы собирали главным образом луковицы сараны *ай* (*Lilium martagon* L.), а также корни некоторых других растений: кандык *бес* (*Erythronium dens canis*); *мыйрак*, или *михер* (*Polygonum viviparum*), *шенне*, или *цээн* (*Paeonia apo-*

mala). Названия «михер» и «цээн» являются монгольскими и встречаются преимущественно в южных районах Тувы.

Отдельные семьи заготавливали кедровые орехи *кузук*. Шишки обивали, ударяя по стволу кедрового дерева коло-тушкой *докпак*, насаженной на шест длиной до 5 м. На развитие промысла кедровых орехов с конца XIX в. оказали влияние русские — как своими способами заготовки, так и тем, что русские купцы охотно покупали орех, который вывозили в Россию.

В Западной Туве собирание корней лежало в основном на плечах женщин и подростков. В Восточной Туве, у тоджинцев, заготовкой съедобных корней занимались всей семьей. Кедровые орехи как в Западной, так и в Восточной Туве заготавливали обычно мужчины.

Луковицы сараны и корни других растений извлекали с помощью специальной корнекопалки *озук*. Это была палка, толщиной в несколько сантиметров с ручкой, расположенной под прямым углом к рабочей части орудия; на конце копалки нередко укреплялся заостренный железный наконечник-сошник, а на рабочей части обычно имелся уступ для ноги, облегчающий работу. В ГМЭ (колл. № 6861—4) хранится *озук* без уступа для ноги из Тоджи. (Его длина 57 см, длина ручки 30 см, а наконечника — 21 см). Другой *озук*, с уступом, привезенный Коном (ГМЭ, колл. № 486—7), имеет длину около 1 м; площадь уступа для ноги 2,5 × 2,5 см, размер наконечника 4,5 × 5,5 см. Размеры 42 *озуков*, осмотренных мною, также близки к указанным: их длина от 60 до 103 см.

Такой же тип корнекопалки, который следует назвать саяно-алтайским, был известен шорцам и кумандинцам, у которых носил сходное название «озуп». К этому же типу относятся корнекопалки у тубаларов [ГМЭ, колл. № 6826—87], тофаларов [ИМ, колл. № 734—32] и, по-видимому, у камасинцев [Тугаринов, 1926, 80].

Известно, что землекопная техника гораздо древнее земледелия и существовала даже у наиболее примитивных племен охотников-собирателей, таких, как тасманийцы начала прошлого века. Однако большинство охотников-собирателей пользовались для выкапывания корневой части растений простой деревянной палкой, заостренной на конце. Саяно-алтайский тип корнекопалки более сложный; его конструкция, предусматривающая изогнутую под прямым углом рукоятку (ею обычно служит сук), возможно, могла сложиться под влиянием копалок типа мотыг, применявшихся земледельцами Центральной Азии. Во всяком случае корнекопалка, применяемая саяно-алтайскими народами, значительно более совершенна, чем у других народов Сибири, в том числе у народов северо-востока — чукчей [Богораз, 1901, 7, 32—33] и коряков [Jochelson, 1908, 577].

Один или несколько озуков имели все тувинские семьи, заготавливавшие на зиму и весну корни растений. Перепись 1931 г. содержит данные о количестве хозяйств, имевших корнекопалки. Если свести их воедино, мы получим следующие цифры [ТСДП, 58—61]:

Хошун	Всего хозяйств	В том числе хозяйств с корнекопалками
Барун-Хемчик	3 640	604
Дзун-Хемчик	4 369	980
Улуг-Хем	2 950	1077
Каа-Хем	2 476	846
Тес-Хем	1 645	677
Тоджа	568	528
Всего	15 648	4712

Из материалов переписи 1931 г., учитывавшей наличие озуков в отдельных хозяйствах, совершенно очевидно, что такие хозяйства, занимавшиеся собирательством, имелись во всех районах Тувы, причем число их колебалось от 18—20% (западные районы) почти до 90% (Тоджа). При этом оленеводы Тоджи имели обычно несколько озуков; мне известны хозяйства, в которых было пять-шесть корнекопалок.

Данные переписи весьма показательны. Мы видим, что в силу ряда причин роль собирательства в различных районах Тувы была неодинаковой. В Тодже собирательством занималось почти все население независимо от имущественного положения, исключая лишь сравнительно небольшое число наиболее богатых хозяйств группы охотников-скотоводов, населявших Тора-Хемскую котловину в долине Бий-Хема. В других районах Тувы собирательство играло важную роль главным образом для сравнительно бедных аратов, на что указывали В. Радлов [Radloff, 1893, ч. II, 175], Е. Яковлев [Яковлев, 1900, 42], Грумм-Гржимайло [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 90]. Наконец, кочевки какой-то части хозяйств, даже испытывавших нужду в получении дополнительного источника пищи, лежали за пределами ареала распространения основного объекта собирательства — сараны.

Вместе с тем приведенные выше данные свидетельствуют об ошибочности мнения тех авторов, которые полагали, что собирательством в конце XIX — начале XX в. занималось лишь таежное население. Эти авторы не учитывали, что при том типе кочевания, который был характерен для тувинцев, осенние пастбища располагались обычно в предгорьях или горах (или сравнительно близко от них), что позволяло недалеко от стоянок отыскивать места, где можно было без особого труда найти съедобные растения.

Обычно луковицы сараны заготавливали осенью, хотя иногда их выкапывали и весной перед цветением.

Для отделения луковицы сараны применялись *түвектээ* — специальные «женские» ножи, бронзовые или железные, которые изготавливали обычно местные мастера. Весьма любопытно, что эти ножи по форме несколько напоминали ножи эпохи поздней бронзы в Южной Сибири, на что обратил внимание еще П. Е. Островских [Островских, 1927, 85]. Один из таких ножей, имеющий в длину 18 см, хранится в коллекции МАЭ [колл. № 391—24]. Выкопанные луковицы складывали в сплетенные из сухожилий сумки *кымзар*, которые носили на поясе. Такая сумка также имеется в ГМЭ, в коллекции Ф. Кона [колл. № 469—63].

Запасы сараны на зиму достигали обычно нескольких десятков килограммов, а у тоджинцев, для которых собирательство имело особенно важное значение, каждая семья заготавливала в среднем до 100 кг.

Заготовка луковиц сараны в августе становилась основным занятием оленеводов Тоджи. Уже в начале августа жители аала делились на группы в пять-семь семей. Каждая группа откочевывала в места, изобиловавшие сараной, которые были хорошо известны и посещались из года в год. Охота в этот период почти не велась. С раннего утра до захода солнца женщины, дети и мужчины собирали сарану, причем не покидали стоянку до тех пор, пока необходимое количество сараны не было собрано. В больших количествах заготавливали луковицы сараны и съедобные корни других растений и охотники-скотоводы таежной зоны Восточной Тувы, причем участвовали в сборе сараны все члены семьи.

Западные тувинцы также иногда выезжали на копку сараны целыми семьями, однако чаще всего основная работа ложилась на женщин. Е. К. Яковлев писал, что у тувинцев «особенно женщины отбывают прямо таки страду с озугом в руках, выкапывая сарану, кандык, черемшу, ища мышинные норы и расхищая их магазины с теми кореньями» [Яковлев, 1930, 42].

Известно, что у большинства народов, у которых собирательство является одной из форм хозяйства, заготовка съедобных растений является обычно женским делом. По сведениям, приводимым Потаповым, у шорцев, тубаларов, челканцев и верхних кумандинцев копка корней — дело «исключительно женское» (курсив мой.—С. В.) [Потапов, 1935, 82]. Однако у тувинцев (особенно у тоджинцев) в конце XIX — начале XX в. в страдную пору в заготовке луковиц участвовали все трудоспособные члены семей, хотя основная нагрузка и ложилась на женщин. Участие в копке сараны не только женщин, но и мужчин было характерно также для тофаларов.

Судя, однако, по фольклорным материалам, в более отдаленном прошлом и у тувинцев собирательство было исклю-

ДОМАШНЕЕ ПРОИЗВОДСТВО И РЕМЕСЛО. РОЛЬ И СПЕЦИФИКА РЕМЕСЛА У КОЧЕВНИКОВ

ИЗ ИСТОРИИ ДОМАШНЕГО ПРОИЗВОДСТВА И РЕМЕСЛА У КОЧЕВНИКОВ ТУВЫ

чительно женским занятием. Отражением традиций, связанных с особой ролью женщин в собирательстве у народов Саяно-Алтая, можно считать существовавший у шорцев обычай, согласно которому во время камлания, связанного с отправлением души умершей женщины в загробный мир, шаман обязательно держал в руках корнекопалку [Дыренкова, Потапов, 1928, 108]. Так же можно рассматривать и тот отмеченный выше факт, что нож *tüvektээ*, применявшийся для обрезания клубней сараны, тувинцы считали женским. А текст «Сокровенного сказания» косвенно указывает на то, что и у древних монголов собирательство было женским делом; там говорится, что мать Чингисхана вскормила своих детей корнями растений: «У праведной матери Учжин корнями растений вскормленные дети стали справедливыми и мудрыми» [С. ск., § 75].

Собирание луковиц сараны, корней кандыка и других растений было весьма распространенной формой хозяйственной деятельности у народов Южной Сибири и Центральной Азии, причем у последних собирательство также было свойственно отнюдь не только таежному населению, но и степному, в частности ордосским монголам [Потанин, 1950, 129—131].

У тувинцев собирательство, в особенности заготовка клубней сараны, было очень древним занятием, что нашло отражение в названии августа «айлаар ай», т. е. месяц сбора сараны. О древности собирательства у населения Тувы свидетельствует и упоминавшееся выше сообщение «Тан-шу», относящееся ко второй половине II тысячелетия н. э., из которого следует, что у саянского племени туба (дубо) «много сараны: собирали ее коренья...» [Бичурин, 1950, т. I, 348].

Собирательство сохраняло свое значение для тувинцев вплоть до начала XX в., причем отнюдь не только для таежных охотников-оленоводов, но, как было показано выше, и для кочевых скотоводов горно-степных районов, что необходимо иметь в виду при изучении хозяйственно-культурных типов Центральной Азии и Южной Сибири.

У ранних кочевников Тувы, как и в сопредельных районах Центральной Азии и Южной Сибири, домашнее производство было сравнительно развитым; существовало и ремесло. Можно полагать, что большую часть сырья, использовавшегося для изготовления жилища, одежды, утвари, орудий труда, каждое скотоводческое хозяйство производило и перерабатывало либо собственными силами, либо пользуясь помощью членов общины, в которую оно входило, подобно тому как это наблюдалось у кочевников-скотоводов столетия спустя. Однако многие изделия ранних кочевников, требовавшие специализации производства, выполнялись мастерами-профессионалами по заказу. Об этом позволяет судить не только сравнительно высокий технологический уровень производства таких изделий, но и ограниченность их типов и часто их несомненная идентичность.

Судя по этим изделиям, среди ранних кочевников Тувы были кузнецы, литейщики и ювелиры; мастера, занимавшиеся добычей медной и железной руды; резчики по камню; мастера художественной обработки кожи, дерева, войлока. Известные ныне археологические источники позволяют прийти к выводу, что для экономической структуры раннекочевго скотоводческого общества, как и для общества поздних кочевников, был характерен не только межплеменной, но и межродовой и внутриобщинный обмен. Наряду с мастерами, которые в результате некоторой дифференциации производства в общине выполняли заказы других ее членов, получая взамен продукты их труда, были и ремесленники-профессионалы, обслуживавшие не столько рядовых общинников, сколько родо-племенную верхушку, причем их изделия в результате межплеменного обмена попадали далеко за пределы

племени. Экстраполируя этнографические материалы, характеризующие хозяйство ремесленников у кочевых скотоводов XIX — начала XX в., на более раннее время, можно полагать, что у ранних, как и у поздних, кочевников ремесло не было отделено от сельского хозяйства.

Занятием большей части мастеров-профессионалов были кузнечное, литейное и ювелирное дело, нередко, вероятно, совмещавшиеся, как это часто бывало у кочевых скотоводов в недавнем прошлом. В памятниках казылганской культуры Тувы найдены великолепные образцы бронзового литья, в том числе ножи, кинжалы, кельты, стрелы, зеркала, а также весьма совершенные художественные изделия, выполненные главным образом путем литья в разъемных формах [см.: Вайнштейн, 1955; его же, 1964а; его же, 1966а; Маннай-оол, 1970].

В VI в. до н. э. племена ранних кочевников Саяно-Алтая познакомились с железом, но еще в течение нескольких веков у казылганских племен господствовали орудия труда и оружие, сделанные из бронзы. Лишь в самом конце I тысячелетия до н. э., в гунно-сарматское время, изделия из железа начали вытеснять бронзовые.

Добыча и плавка медной и в особенности железной руды требовали также определенной специализации. У казылганских племен Тувы было довольно развитое горное дело. В Туве до наших дней сохранились остатки медеплавильных и железоплавильных сооружений казылганцев и орудия труда, использовавшиеся ими при добыче и плавке руды [Сунчугашев, 1969]. В степях Тувы сохранились и монументальные каменные культовые памятники того времени — «коленные камни» с выбитыми на их плоскостях фигурками животных и оружием. Изучение этих памятников не оставляет сомнений в том, что их сооружали главным образом профессиональные каменотесы. К ремесленным изделиям, выполненным в основной своей массе, вероятно, на заказ, относятся и высокохудожественные образцы декоративно-прикладного искусства, найденные в курганах Тувы и Алтая.

Силами домашнего хозяйства велась у казылганцев обработка дерева, предназначенного для постройки срубных сооружений, в том числе погребальных камер, изготовления утвари и др. Для обработки дерева использовались различные инструменты, среди которых были топоры-тесла, ножи, сверла, найденные археологами. О приемах обработки дерева дают достаточно полное представление находки бревен в погребальных срубах казылганских курганов Тувы.

В условиях главным образом домашнего производства изготавливалась, вероятно, разнообразная керамика и велась переработка кожного сырья и шерсти; при этом уже ранние кочевники освоили такие приемы их переработки, которые

сохранялись в основном на всем протяжении кочевничества. Распространение на более раннее время особенностей организации домашнего производства у кочевых скотоводов XIX — начала XX в., на которых мы остановимся подробнее ниже, позволяет прийти к выводу о существовании у ранних кочевников двух его форм — семейной и общинной.

В гунно-сарматскую эпоху у раннекочевых племен Тувы, как и у близких им в хозяйственном и культурном отношении племен гуннов Центральной Азии, наряду с домашним производством было развито и ремесло. В это время благодаря успехам металлургии большую часть орудий и оружия уже делают из железа, хотя и бронза еще не утратила в этой сфере производства своего значения. Так, среди находок в могильниках сынчюрекской культуры Тувы наряду с преобладающими железными наконечниками стрел нами были обнаружены и бронзовые [подробнее см.: Вайнштейн, 1954; Вайнштейн, Дьяконова, 1966].

В руках ремесленников были сосредоточены добыча и плавка руд, обработка черных и цветных металлов, ювелирное дело. Заметим кстати, что высказывавшееся в литературе предположение, будто у кочевых скотоводческих племен гуннского мира не могло быть собственного металлургического производства и что свои весьма совершенные железные и бронзовые изделия они получали от оседлых народов Восточной Азии, главным образом из Китая, было ошибочным. Как показали специальные исследования, химический состав этих изделий не дает оснований видеть в них (кроме зеркал) импортных китайских вещей [Руденко, 1962, 62].

В условиях домашнего производства развивались ставшие уже традиционными для степных скотоводов методы переработки кожи, шерсти, дерева, способы приготовления пищи из мяса, молока, зерна. Некоторые достижения кочевого домашнего производства того времени были столь приспособлены к условиям кочевого хозяйства, что в течение веков почти не менялись, сохранившись у тувинцев и некоторых других скотоводческих народов до недавнего времени. Такова, например, технология изготовления войлочных ковров, шитые орнаменты которых у тувинцев имеют прямые аналогии с найденными в гуннских курганах Ноин-Улы. Многие приемы изготовления деревянной утвари и ее типы в это время также очень близки тем, которые бытовали у кочевников Тувы в XIX — начале XX в. (блюда на четырех ножках, сосуды в виде цилиндрических бочонков со сливом в верхней части и др.).

В могильнике Кокэль в женском погребении гуннского времени был обнаружен votивный набор инструментов для обработки кожи, и это позволяет прийти к выводу о том, что уже у ранних кочевников скифского времени, как и в начале

XX в., обработка кожи была главным образом делом женщин. Особого внимания заслуживает тот факт, что найденные вотивные изделия полностью соответствовали тем орудиям, которые использовались тувинцами для обработки кожи вплоть до недавнего времени. Таков, например, скребок, состоящий из изогнутого железного лезвия и деревянной рукоятки [см.: Вайнштейн, Дьяконова, 1966, рис. 69].

В середине I тысячелетия н. э. в условиях сложившегося у населения Тувы хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов домашнее производство и ремесло были уже полностью приспособлены к кочевому быту, ставшему в это время значительно более подвижным. Одним из проявлений этого явилось почти полное прекращение изготовления хрупкой и малоприспособленной к подвижному быту разнообразной керамики, которую заменила утварь из металла, кожи и дерева.

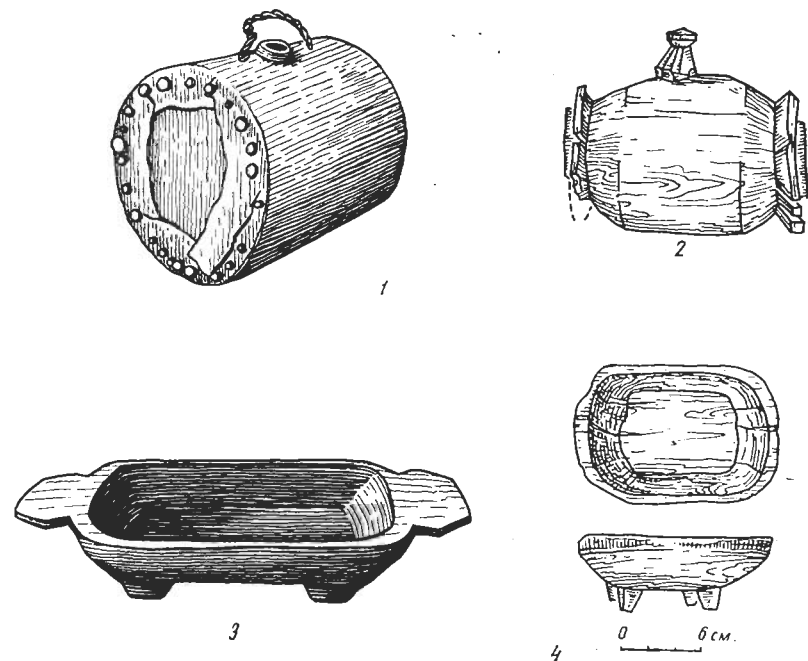


Рис. 23. Современная и древняя утварь кочевых скотоводов Тувы, изготовлявшаяся в условиях домашнего производства:

1 — деревянный бочонок со сливом, начало XX в., Западная Тува; 2 — деревянный бочонок со сливом, гуно-сарматское время, Западная Тува (могильник Кокэль, курган № 26, раскопки автора); 3 — деревянное блюдо на четырех ножках, начало XX в., Западная Тува; 4 — деревянное блюдо на ножках, гуно-сарматское время, Западная Тува (могильник Кокэль, курган № 26, раскопки автора)

Известно, что древние алтайские тюрки, племена которых в VI в. н. э. проникли в Туву, славились как первоклассные кузнецы и литейщики. В этой связи нелишне вспомнить, что жужани рассматривали алтайских тюрков как поставщиков металлических изделий. «Ты, мой плавильщик», — так презрительно обращался правитель жужаней к тюркскому кагану Тумыню в 536 г. [Бичурин, 1950, т. I, 227—228]. В Туве в погребениях древних тюрков найдены не только великолепные железные изделия, но и высокохудожественные ювелирные украшения из цветных металлов [подробнее см.: Вайнштейн, 1966в].

Встречающиеся в степях Тувы каменные изваяния древних тюрков также, вероятно, выполнялись по специальным заказам мастерами-профессионалами, которые должны были не только освоить камнетесную технику, но и обладать определенными художественными навыками.

Ремесленники трудились не только ради удовлетворения потребностей разбогатевшей в военных походах знати, но и выполняли заказы соплеменников, изготавливая сложные боевые луки и стрелы, седла, каркасы разборных юрт и многое другое. Нужно сказать, что древние тюрки, в особенности их кочевая верхушка, пользовались также в довольно больших размерах производством ремесленников городов Средней, Центральной и Восточной Азии. Однако даже в период господства здесь тюркских каганатов, когда в руки знати попадали импортные предметы утвари, украшения, ткани и т. п., основная масса рядовых общинников продолжала пользоваться, судя по многочисленным археологическим раскопкам, изделиями местных ремесленников и продуктами домашнего производства, в сферу которого, как и прежде, входили обработка кожи и шерсти, шитье одежды, изготовление войлока, деревянной утвари, а также немногочисленной и грубой баночной посуды из глины.

Для кыргызских скотоводческих племен, проникших на территорию Тувы в IX в., был характерен особенно высокий уровень развития металлообрабатывающих ремесел. Исключительного совершенства в условиях господства кочевого хозяйства достигло у них кузнечное ремесло и ювелирное дело, многие приемы которого сохранились в традициях декоративного искусства тувинцев до наших дней.

Можно полагать, что уже к концу I тысячелетия н. э. у кочевых скотоводческих племен Тувы завершилось сложение обусловленных кочевым скотоводческим хозяйством и местной природной средой основных черт технологии и организации домашнего производства и ремесла.

Монгольская экспансия в XIII в. и проникновение в Туву монгольских племен не привело к существенным изменениям в технологии домашнего производства и ремесла у местных

тюркских племен. Можно даже с уверенностью сказать, что более высокий уровень культуры местных племен в то время способствовал ассимиляции и тюркизации пришельцев.

Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют прийти к выводу, что на раннем этапе формирующегося хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов технология и организация домашней промышленности и ремесла быстро развивались, приспосабливаясь к новым формам хозяйства, а в условиях сложившегося позднекочевнического хозяйственно-культурного типа в силу его застойного характера их развитие шло чрезвычайно медленно. Главным образом этим обстоятельством объясняется, казалось бы, удивительное сохранение в домашнем производстве и ремесле тувинцев в XIX—начале XX в. многих черт, прослеживаемых у их кочевых предков в далеком прошлом.

ДОМАШНИЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛО У ТУВИНЦЕВ В XIX—НАЧАЛЕ XX в.

Домашние промыслы наряду со скотоводством составляли основу хозяйственной деятельности тувинцев; важную роль играло и ремесло. Тем не менее как домашнее производство, так и ремесло у тувинцев оставались почти неизученными. Посвященные им несколько страниц в работе Ф. Я. Кона [Кон, 1934, 109—113], содержащие ценные, но весьма краткие и отрывочные сведения, были основным источником для суждения о тувинском домашнем производстве и ремеслах в трудах последующих исследователей.

Эта важная тема недостаточно изучена и у других народов Южной Сибири и Центральной Азии, как, впрочем, и у кочевников вообще. Указанное обстоятельство заставляет нас подробно остановиться на рассмотрении вопросов, посвященных данной тематике, и особенно на вопросе о роли и специфике ремесла в кочевом хозяйстве.

Начнем с рассмотрения техники домашнего и ремесленного производства у тувинцев.

Кузнечное и литейное дело

Как известно, металлургическое производство, требовавшее большого опыта лиц, им занимавшихся, очень рано выделилось из общехозяйственных занятий в родовых коллективах, и именно кузнецы явились первыми ремесленниками-специалистами.

Тувинские кузнецы изготавливали из железа разнообразные орудия труда, утварь, украшения — ножи, сошники для андазына, наконечники корнекопалок, тесла, топоры, гвозди,

наконечники стрел, замки, таганы, части конской упряжи (удила, стремяна, бляхи, накладки на седло и др.), кольца, браслеты и др. Лучшие кузнецы, по рассказам моих информаторов, делали даже фитильные ружья.

В конце XIX — начале XX в. кузнецы изготавливали заказанные им железные изделия главным образом путем перековки старых, ненужных железных вещей — проржавевших котлов, сломанных таганов, топоров и др. Сырье кузнецы либо доставали сами, либо получали от заказчиков. Нередко кузнецы приобретали железный лом у русских крестьян, иногда у купцов. По сообщению Е. К. Яковлева, кузнецы в конце XIX в. скупали старое железо у русских и китайских купцов [Яковлев, 1900, 63]; Ф. Я. Кон справедливо замечает по этому поводу, что купцам было невыгодно специально привозить старое железо, однако соглашается, что основным источником поступления железа в начале XX в. было приобретение его у русских [Кон, 1934, 109].

В литературе встречаются указания на то, что тувинцы в XIX в. были знакомы с получением железа путем плавки руды [Reclus, 1881, 712—715]. Однако никто из путешественников XIX в. таких сведений не приводит; нет их и в архивных документах. Среди многочисленных информаторов, опрошенных мною, лишь в одном случае мне рассказали, что старый кузнец из урочища Бай-Сют Каа-Хемского района утверждал, что его дед, живший в XIX в., добывал железную руду и плавил ее в ямах, пользуясь глиняными соплами, в которые он нагнетал воздух мехами. Сам по себе этот факт не должен представляться нам невероятным, так как в XVIII в. тувинцы, по свидетельству письменных источников, продавали железо алтайцам [МИС, 113—114] и, вероятно, умели получать его из руды. Плавка рудного железа у скотоводческих народов Сибири в XVIII—XIX вв. зафиксирована и рядом исследователей. У алтайцев в XVIII в. ее отметил И. Г. Георги [Георги, 1799, ч. II, 163, 167—168], а в XIX в. — Н. М. Ядринцев [Ядринцев, 1881, 239]. Сведения о плавке рудного железа у якутов в XIX в. мы находим у В. Серошевского [Серошевский, 1896, 382—383], а в начале XX в. — у А. А. Гайдук [Гайдук, 1911, 293—294].

Сырьем для ювелирных работ служили серебряные и медные вещи, а также серебро, полудрагоценные камни, эмаль, которые приобретали у купцов как сами кузнецы, так и заказчики.

В XIX — начале XX в. среди кочевых тувинских скотоводов горно-степных районов было довольно значительное количество кузнецов и они составляли самую многочисленную группу ремесленников. Имелись кузнецы и среди охотников-скотоводов таежно-степной зоны, и лишь в составе охотников-оленоводо- их в рассматриваемое время не было, а пе-

обходимые последним тувинские изделия из металла они приобретали у соседей — охотников-скотоводов либо у скотоводов горно-степных районов Западной Тувы.

Количество кузнецов в разных группах тувинского кочевого скотоводческого населения колебалось от 2—3 до 25—30 в одном сумоне, на чем мы остановимся подробнее ниже.

Тувинское название кузнеца *дарган*, аналогично монгольскому *дархан* и киргизскому *даркан*.

Кузнецы оружейники и ювелиры пользовались у тувинских аратов особым почетом и уважением. Мастерство искусных кузнецов с восхищением воспевается в тувинских героических сказаниях. Считалось, что кузнец обладает некоторыми сверхъестественными способностями и может противостоять шаману. Почтительное отношение к кузнецу нашло отражение, в частности, в том, что он мог во время работы не приветствовать даже чиновника, хотя остальным тувинцам приходилось делать это в самой унижительной форме. Ф. Я. Кон пишет в этой связи: «Когда кузнец за работой, а в юрту входит чиновник, мастер не должен отрываться от работы для его приветствия: „работа кузнеца старше“» [Кон, 1934, 109]. Об этом же свидетельствовал А. А. Турчанинов [РФ ТНИИЯЛИ, № 8, л. 55].

Особое отношение к кузнецу — широко распространенное явление почти у всех народов мира, как кочевых, так и оседлых [Рыбаков, 1948, 122; Котляревский, 1865, 42—70; Покровский, 1936, 35]. Кузнец-оружейник *дарган* (тарган) пользовался почти у всех тюрко-монгольских народов, в том числе у жителей Саяно-Алтая, особыми правами и привилегиями. Так, Радлов писал о том, что алтайские кузнецы «везде пользуются большим почетом» [Radloff, 1893, т. I, 293—294]. Поныне в киргизском языке слово «даркан» означает одновременно и «кузнец» и «уважаемый, почитаемый, славный человек», что нашло отражение, как указывает Юдахин, в «Манасе» и во многих фольклорных произведениях киргизов [КРС, 186].

Кузнечное и литейное дело в XIX в. было весьма развито у алтайцев [Radloff, 1893, т. I, 293—294; Ядринцев, 1881, 239; Токарев, 1936, 120] и тувинцев, в чем можно видеть продолжение древних традиций в области металлургии у народов Саяно-Алтая. Все наблюдатели тувинского быта в XIX — начале XX в. единодушно отмечали высокое качество изделий тувинских кузнецов. Об этом писали Е. К. Яковлев [Яковлев, 1900, 47], Кон [Кон, 1934, 109—110], Грумм-Гржимайло и другие [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 84], причем все они подчеркивали, что тувинские кузнецы обычно были также и ювелирами — серебряных дел мастерами. Однако большинство кузнецов все же ювелирной работой не занималось, а те из них, кто выполнял только заказы на «грубые» железные

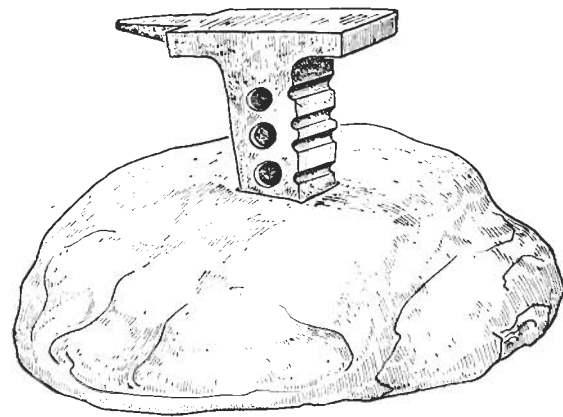


Рис. 24. Наковальня (дöж)

изделия, носили название *кара дарган*, в отличие от *нарын дарган*, работавших преимущественно по серебру. Последних было сравнительно немного, и на каждого кузнеца, бравшего заказы на изготовление серебряных украшений, приходилось до семи-восьми кузнецов, занимавшихся преимущественно работой по железу. В этом отношении интересны данные переписи 1931 г.: на 546 хозяйств с кузнечным инвентарем приходилось всего 75 хозяйств с ювелирными инструментами [ТСДП, 60—61].

Особенно была развита обработка металла, в том числе художественная, у тувинцев, живших в долине Хемчика. Это обстоятельство отмечали почти все путешественники, побывавшие здесь [Кон, 1934, 109; Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 84]. «По Кемчику,— писал Ф. Кон,— кузнечные изделия поражают своей красотой. Мне приходилось видеть удила с выкованными конскими головами вместо крюков; таганы с бараньими головами и другим орнаментом; по Улу-Хэму (Улуг-Хему.— С. В.) работа кузнецов гораздо грубее» [Кон, 1934, 109]. В числе 546 хозяйств с кузнечным инвентарем, отмеченных переписью 1931 г., на хошуны Барун-Хемчик и Дзун-Хемчик, включавшие население долины Хемчика, приходилось 328 хозяйств [ТСДП, 60—61].

Кузнецами были исключительно мужчины. Обычно секреты мастерства сохранялись в тайне и передавались по наследству от отца к сыну или племяннику, а если и делалось исключение, то в пределах лиц, принадлежащих к одной родственной группе. Многие тувинские потомственные кузнецы, с которыми мне приходилось беседовать, говорили, что не только их отцы, но и деды и прадеды также были кузне-

цами. Аналогичную картину (характерную, кстати, для большинства народов мира) можно было наблюдать и у других саяно-алтайских народов. Так, С. А. Токарев отмечает, что у алтайцев «кузнечное мастерство обычно составляло наследственную профессию отдельных семей и больших семейно-родовых групп» [Токарев, 1936, 120].

Кузнечное и ювелирное дело для большинства тувинских кузнецов являлось основным занятием и основным источником существования, хотя все они занимались скотоводством, а некоторые также земледелием и охотой. Мои информаторы утверждали, что в конце XIX — начале XX в. заказами кузнецы были полностью обеспечены. Аналогичное свидетельство в отношении алтайцев приводит С. А. Токарев [Токарев, 1936, 120].

Большинство железных изделий изготовляли методом горячейковки *согар*. Этим способом дарганы выковывали главным образом ножи, сошники, серпы, тесла, таганы (последние нередко с орнаментом и изображениями бараньих голов), удила, нередко с псалиями в виде конских голов и др.

Набор инструментов кузнеца начала XX в. был сравнительно велик. В него входили: мехи *хөрүк*, горн *хөрүктүг одаа*, большая и маленькая наковальни *дбжү*, несколько молотков *маска*, или *алага*, несколько клещей *кыскаш*, или *аспак*, ножницы *хачы*, долото *шууче*, специальный инструмент для насечек по железу *демир шокарлаар алага*, набор чеканов *кески*, ложки для плавки свинца и олова *калгак*, железные и деревянные тиски *кызыткы* и *сапсылга*, приспособления для выдавливания углублений *кулугу*, инструмент для пробивания отверстий *йтээш*, различные подпилки *эгээ*, железные пластинки с отверстиями для протягивания проволоки, различные штампы. Такими же инструментами пользовались кузнецы и у ряда других скотоводческих народов, например у монголов в XVIII в. [Pallas, 1776, рис. 5] и киргизов [Бурковский, 1958]. Некоторые инструменты в начале XX в. приобретались тувинскими кузнецами у русских.

Мастер хранил инструменты в небольшом ящичке с выдвижной крышкой; один из таких ящичков, хранящийся в ГМЭ (колл. № 626—4а, б), имеет размеры 18 × 20 × 38,5 см. Следует заметить, что деревянные ящички-шкатулки применялись для хранения инструментов еще ранними кочевниками. В одном из сынычюрекских погребений, раскопанных мною, была обнаружена модель такого ящичка для инструментов [Вайнштейн, Дьяконова, 1966, рис. 69].

Не имея возможности останавливаться на анализе названий всех терминов, связанных с кузнечным и литейным делом, укажем лишь, что среди них встречаются как чисто тюркские, так и монгольские и общие тюрко-монгольские на-

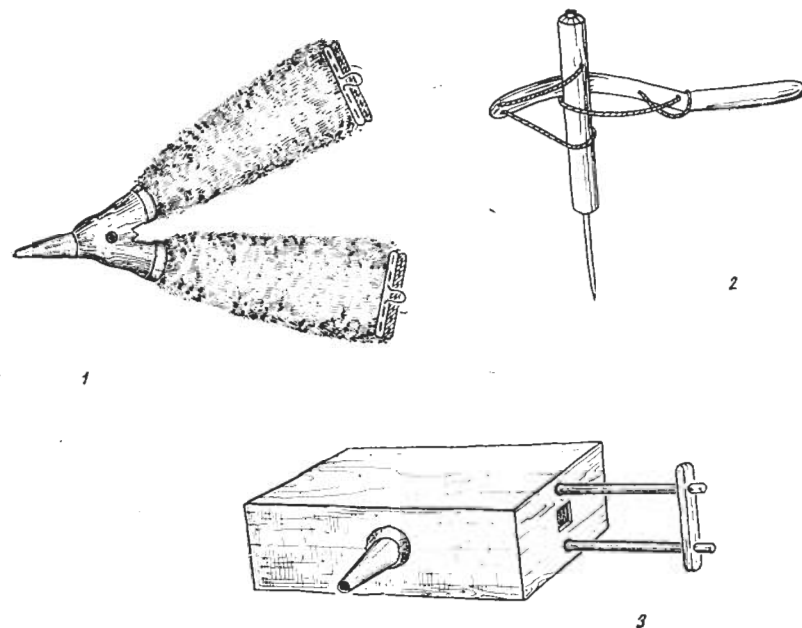


Рис. 25:
1, 3 — мехи (*хөрүк*); 2 — сверло (*друим*)

звания. Так, например, название кузнечных мехов «хөрүк» является общим для тюркских и монгольских языков и известно во всех этих языках с небольшими фонетическими отклонениями. Напротив, тувинское название клещей «кыскаш» — тюркское и встречается в тюркских языках (алтайское и киргизское *кычкач*, казахское *кыскаш*, каракалпакское *кыскаш*, узбекское *кискич*, уйгурское *кискуч* и др.), в то время как в монгольском клещи называются *хавчуур*, *хачиг*; монгольские названия образованы от «хавчих» — «ущемлять, жать». Название наковальни «дбжү» встречается как в тюркских, так и в монгольских языках — хакасское *тос*, алтайское *дбжю*, казахское *тос*, монгольское *дош*.

Мехи применялись двух типов — кожаные и деревянные. Наиболее древними для Тувы были, вероятно, кожаные мехи *тулуп хөрүк* в виде двух штанин, которые шили главным образом из шкур козы и косули. У широкой части мехов были пришиты планки, служившие клапанами (*хөрүк кыскаш*). Узкие концы каждого меха были надеты на полую деревянную развилку, заканчивающуюся глиняной или железной трубкой. Для работы мехи укреплялись при помощи больших железных гвоздей, заколачиваемых в землю в место развилки деревянных трубок. Длина мехов была около 1 м.

Подобные мехи широко распространены у кочевников Центральной и Средней Азии. Совершенно аналогичные по устройству кожаные мехи используют, например, алтайские и киргизские кузнецы. Известны они и якутам. Такие мехи легко было перевозить и переносить. В «Сокровенном сказании» Чингисхан говорит об одном из своих сподвижников, что он пришел к нему «с кузнечным мехом за плечами» [С. ск., § 211].

Наряду с кожаными использовали деревянные мехи: *хааржак хөрүк*, состоявшие из дощатого ящика продолговатой формы (измеренные мною мехи имели размер около $20 \times 20 \times 60$ см) с системой простых клапанов. Струя воздуха выходила через боковую трубку при движении дощечки-поршня в оба направления.

Для ювелирных работ каждый мастер пользовался специальной небольшой наковаленкой *биче дөжү* высотой 10—15 см. На двух боковых сторонах ее основания были полусферические углубления разного диаметра для изготовления пуговиц и круглых блях, на двух других боковых сторонах — продольные полукруглые канавки различной ширины, предназначенные для изготовления колец, перстней, круглых металлических накладок на трубки, на узду и др. Такую наковальню укрепляли в массивной деревянной подставке, которую обычно делали из особенно плотной и тяжелой корневой части лиственницы. Подобные наковальни были вообще характерны для кузнечных наборов кочевых скотоводов Евразии. Есть они у монголов, бурят, тюркских народов Средней Азии.

В ювелирных работах по металлу кузнецы пользовались обычно несколькими молоточками различной формы. В качестве примера укажу на хранящиеся в коллекции Кона в ГМЭ четыре молоточка одного кузнеца: 1) маленький молоток с длиной ручки 11 см и головки — 6,5 см (колл. № 626—9); 2) молоток с головкой еще меньших размеров, имеющей в длину 4,5 см (колл. № 626—10); 3) сравнительно большой молоток: ручка — 17 см, головка — 8 см в длину (колл. № 626—11); 4) молоток с железной головкой размером $1,1 \times 1,4 \times 5,4$ см и ручкой длиной 19,5 см (колл. № 626—8). Кроме того, почти каждый кузнец имел молоток с матрицами для насечек. Такой молоток также имеется в коллекции Кона (колл. № 626—12): с одной стороны его головки расположены параллельные борозды, с другой — мелкие шипы; длина головки 11 см, ручки — 16 см.

Кузнец, если у него не было взрослого сына или племянника, работал в одиночку. Если у кузнеца был помощник, то работу вели вдвоем. Специальных рабочих помещений у мастеров не было, что характерно и для других кочевых народов Южной Сибири и Средней и Центральной Азии.

Лишь в редких случаях некоторые кузнецы сооружали летом навес над местом работы. Зимой трудились в тех же юртах, где и жили.

Угли для горна готовили с особой тщательностью (процесс их заготовки носил название *хөмдүр өжүрер*), выезжая для этого в лес и сжигая плотные, сухие куски лиственного дерева в специальных кострах, так как для кузнечных работ применялся только уголь лиственницы *пар ыяш*, в особенности обгорелые корни, которые удавалось раздобыть на лесных пожарищах.

Кузнец во время работы обычно сидел на тонком куске войлока или кожи, поджав под себя или вытянув ноги. Справа от него находился горн *хөрүктүг одаа* и мехи *хөрүк*, перед мастером стояла наковальня в деревянной колоде, а слева — в коробочках и просто на земле — были разложены инструменты и материалы.

Особое место в обработке металла занимало литье. Путешественники, посетившие Туву в конце XIX — начале XX в., отмечали бытование здесь меднолитейного производства, однако ограничивали его распространение долиной Хемчика: по сообщению Г. Е. Грумм-Гржимайло, «литейное дело сохранилось только по Кемчику, но здесь оно еще далеко от упадка» [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 85]. С этим утверждением нельзя согласиться. Как показали этнографические исследования последних лет, в начале XX в. литье из бронзы было известно не только по Хемчику, но и в районе западной части Тувы (Монгун-Тайга), в центре края (Чаа-Холь, Улуг-Хем, Каа-Хем), на юге его (Овюр, Эрзин) и в некоторых других районах.

Основными металлами, применявшимися для литья, служили медь (*чес*), бронза (*хулер*), сплав олова с серебром (*хола*) и свинец (*коргулчун*). В последнее время используется также алюминий (*ак-демир*).

Тувинцам известны два способа металлического литья. Одним из них является литье при помощи каменных или металлических литейных форм; другим — литье при помощи глиняных форм, полученных путем выжигания деревянной модели. Каменные формы состояли из двух половинок, совпадающих совершенно точно. Острым ножом вырезали соответствующие части формы и тонкие каналы для заливки форм металлом. Перед употреблением форму смазывали бараньим салом, «чтобы не портился камень».

Литье в каменных формах было связано с рядом суеверий. Так, лить украшения для свадебного головного убора *баштангы* не мог кузнец, обезображенный оспой. При литье этих украшений не позволялось присутствовать никому, кроме мастера и заказчика; считалось, что иначе украшение выйдет неудачным [Кон, 1934, 110].

Наряду с формами, вырезанными из камня, применялись аналогичные формы, отлитые из бронзы. М. П. Грязнов считает, что еще в древности после появления металлических литейных форм они должны были вытеснить формы, сделанные из камня [Грязнов, 1941, 254]. Однако, по-видимому, каменные формы полностью не исчезли, и их продолжали применять для отливки простых изделий — некоторых украшений, а впоследствии пуль и дробы для кремневых ружей.

Второй способ литья, в глиняной форме со сгорающей деревянной моделью, в принципе сходен с литьем в глине по восковым моделям «с утратой формы», получившим широкое распространение еще в древности у многих народов мира, в том числе и в средневековой Руси [Рыбаков, 1948, 118—121]. Был известен этот способ и в Восточной Азии. Вопрос существования литья по сжигаемой деревянной модели в древности совершенно не затронут в археологической литературе, хотя ясно, что в то время, когда возникли древнейшие приемы литья, использование дерева для различных поделок было хорошо известно, а идея использования воска в качестве модели, скорее всего, пришла значительно позднее. Следы использования дерева в литье отмечены по археологическим материалам В. Н. Чернецовым [Чернецов, 1953, 165] и М. П. Грязновым [Грязнов, 1956, 91] лишь для конца I тысячелетия до н. э. на нижней Оби и Алтае. В настоящее время этот способ литья выявлен также у бурят [Тумахани, 1961, 23] и монголов [Кочешков, 1966, 144].

Второй способ литья применяется тувинцами до настоящего времени. Им изготавливают стремена *эзенги*, металлические части узды *чүген дерии*, украшения *оттук* для сумки с огнивом, бронзовые рукоятки *сын* для стальных ножей, металлические части для деревянных ножен, футляры *хеп* для иголок, цепочки *илчирбе*, различные статуэтки, шахматы *шыдыраа*, металлические бляхи *базыткыш* для седел. Модель вырезают обычно из коры тополя *чөвүрээ* остро заточенным ножом *кестик*.

Форма *хеп* изготавливается из глины *пор*, смешанной с асбестом *даг дүгү*. Асбест добывают в горах; его месторождения хорошо известны местному населению. Глину предварительно сушат, растирают и пропускают через мелкое сито. Куски асбеста мнут рукой до вязкого состояния, а глину смешивают с водой и толченой каменной солью *дус*. Образовавшийся комок вязкой глины смешивают с асбестом (одна часть асбеста на две части глины). Полученной смесью облепляют модель; в получившейся форме оставляют несколько отверстий: с одной стороны одно большое, диаметром 0,7—0,8 см, с другой стороны несколько маленьких, диаметром 0,2—0,3 см.

Вместе с моделью форму закладывают в костер, разду-

ваемый кузнечными мехами *хөрүк* и держат там до покраснения глины и полного сгорания модели. Затем форму извлекают и через отверстия тщательно выдувают золу, образовавшуюся от сгорания модели. Форма считается готовой, если в ней совершенно не осталось золы.

Бронзу плавят в железных, глиняных или каменных плоскостях (*калгак*). Кусочки бронзы закладывают в плоску, которую сверху облепляют глиной, чтобы не происходило соприкосновения бронзы с наружным воздухом. Затем плоску ставят на раскаленные древесные угли и раздувают их кузнечным мехом. Убедившись, что бронза расплавилась, мастер вынимает плоску, разбивает глиняную крышку и заливает расплавленную бронзу в форму, нагретую предварительно в костре. Затем железными клещами кыскаш форму опускают в воду. После охлаждения ее разбивают и извлекают изделие, которое подвергают окончательной обработке ножом, затем сглаживают шероховатости, шлифуют и полируют до блеска куском кожи. Если получившееся изделие не удовлетворяло мастера, весь процесс литья повторялся заново, начиная с приготовления деревянной модели.

Хороших мастеров-литейщиков было сравнительно немного, и их имена были широко известны среди местных жителей. По сообщению моих информаторов, бронзовые литейные изделия ценились сравнительно высоко: например, уздечку, украшенную орнаментированными бронзовыми бляхами, в начале XX в. обменивали на годовалого бычка. Мастера-литейщики стремились сохранить свои профессиональные приемы литья в тайне.

Для литья в начале XX в. применяли лом бронзы, но еще в конце XIX в. медь для литья получали, по-видимому, путем плавки руды. По словам кузнеца Х. Барымзаа (Чаа-Хольский район), ему пришлось слышать от стариков, как раньше добывали и плавил руду, чтобы получить медь. Медную руду — «зеленые камни» (*ногаан даштар*) добывали главным образом в урочище Ишти-Хем, в Центральной Туве, а также по р. Чыргак вблизи г. Чадана. Для плавки руды копали небольшую яму и обмазывали ее стенки глиной. В яму складывали древесный уголь, на слой угля насыпали толченую и растертую камнями руду, а поверх руды опять накладывали уголь. Затем подкладывали в яму раскаленные угли из очага и раздували огонь мехами. Дутье велось непрерывно, пока на дно не оседала расплавленная медь.

По данным моих информаторов из Каа-Хемского района, там в конце XIX в. добывали и плавил медную руду главным образом в урочище Бай-Сют, где поныне сохранились древние меднорудные выработки и медеплавильни.

Добывание тувинцами медной руды для выплавки из нее меди в конце XIX в. подтверждает М. Сафьянов, который

пишет: «Тувинцы добывают медную руду по Аннгату, при-току Кемчика, плавят ее в глиняных печах и выделяют из нее шахматы, удила, бляхи и стремяна» [Сафьянов, 1926, 26]. Однако в начале XX в. Ф. Кон отмечал, что «от рудного дела, раньше процветавшего в долине р. Кемчика, теперь остались разве жалкие остатки» [Кон, 1934, 110].

Древними и поныне наиболее распространенными способами художественной обработки металла являются гравировка *сиилбир* и чеканка *хевирлеп шуткууру*. Ими украшали накладки и бляхи для конской упряжи, поясные пряжки, серьги, браслеты, игольники и др.

Для производства круглых бронзовых и серебряных блях *базыткыыш*, украшавших седло, служили специальные формы *базыткыыш хеви* в виде роговой пластины с несколькими полусферическими углублениями, в которые вкладывался круглый листок металла и выколачивался ударами молотка по роговому стержню с круглой рабочей частью, упирающейся в формуемый кусок металла. При изготовлении блях использовались также специальные железные штампы *хевирлеп шуткуур хеп* с двумя узорными матрицами — нижней, вогнутой, и верхней, выпуклой.

Орнаментированная бляха, сделанная штамповкой, считалась выполненной лишь начерно и нуждалась в дополнительной отделке чеканкой и гравировкой.

Для гравировки использовали резцы и молоточки разного размера. Применялись резцы с прямым рабочим краем, заостренные, вильчатые и др. Для чеканки пользовались стальными чеканами с закругленным рабочим краем *борбак кески* и стержнями-пуансонами *хээлеп хевирлэр кески* (в южных районах их называли *хецур*) с матрицей — рельефным изображением элементов узора на рабочем конце.

В конце XIX — начале XX в., прежде чем выгравировать узор на металле, мастер рисовал его на бумаге, либо пользовался для этого деревянными штампами с рельефным узором, который оттискивался на бумаге. Инкрустация полудрагоценными камнями также была очень распространена в Туве в прошлом. Камни вставляли в перстни, серьги, бляхи, крышки игольников и др.

Серебряные *мөнгүнээр* в Туве повсеместно велось методом покрывания железа серебряным листом, причем поверхность железного предмета делалась предварительно шероховатой путем нанесения на нее тонких пересекающихся бороздок специальным инструментом *шокарлаар кески*, состоявшим из деревянной рукоятки длиной до 20 см, к верхней части которой были прикреплены 8—10 прямоугольных железных пластинок.

Для изготовления украшений, в особенности серег, иногда пользовались филигранной техникой *угулзалаар*, о су-

ществовании которой в этнографической литературе о Южной Сибири и Центральной Азии вообще нет упоминаний. Чтобы изготовить филигранный узор, делали трафарет из бумаги, накладывали его на пластинку и коптили на огне. Затем по следу копоти накладывали проволоку, покрывали ее тоненькой полоской особого сплава *кангыыр* (1 часть серебра, 2 части меди) и припаивали.

Для получения серебряной проволоки имелись специальные железные пластины *суурукчу* с отверстиями различного диаметра — от 1 мм до 4 см.

Мастера долины Хемчика были знакомы также с техникой выемчатой и перегородчатой эмали. На серебряную пластинку-основу копчением наносили с помощью трафарета рисунок, затем по контурам копоти делали чеканом небольшие углубления и заливали их эмалью.

Кузнечная техника, методы серебрения, чеканки и гравировки, которыми пользуются тувинские дарганы, распространены довольно широко и имеют черты сходства с применяемыми у народов Южной Сибири, Центральной и Средней Азии и Поволжья.

Обработка дерева и бересты

Деревянные изделия издавна и весьма широко применялись в быту тувинцев. Причиной тому была не только доступность дерева и простота его обработки, но и легкость этого материала — свойство столь важное для кочевника. Нельзя не учитывать и того, что значительную часть территории Тувы (около трети) занимают леса, и даже кочующий в степных районах в случае нужды в древесине мог без труда добраться до небольших лесов, расположенных в долинах рек и на склонах близлежащих гор.

О широком использовании дерева предками тувинцев в средние века позволяют судить не только многочисленные археологические находки, но и письменные источники. Так, Юань-ши свидетельствует, что у населявших Туву «нескольких местных племен чаши и всю прочую домашнюю посуду делали из дерева». Здесь же сообщается, что некоторые виды утвари жители Тувы изготавливали долблением: «У дерева выдалбливали ствол и изготавливали корыта, в которых держали воду» [Юань-ши, гл. 63].

Большая часть утвари из дерева и бересты изготавливалась в условиях домашнего производства. В каждом тувинском хозяйстве делали деревянные чашки, ступки, корыта, сосуды для молока и др., обрабатывали при необходимости бересту, а в Восточной Туве из нее делали не только многие виды утвари, но и покрывки для жилищ [см.: Вайнштейн, 1961, 85 и сл.]. В большинстве хозяйств имелись основные

столярные инструменты. Вместе с тем некоторые изделия из дерева изготавливались главным образом мастерами-ремесленниками, выполнявшими заказы своих соседей по аалу или арбану. К такого рода изделиям столяров *чазаныкчы* относились части остова юрты, седла, парные сундуки, кровати и некоторые другие предметы утвари.

По словам Ф. Кона, столярным делом занимались в начале XX в. преимущественно ламы [Кон, 1934, 110]. Действительно — среди низших лам в конце XIX — начале XX в. было немало столяров; однако, по имеющимся у нас материалам, столярное дело было сосредоточено в руках лам лишь в районе нескольких крупных монастырей. Значительную часть столярных работ, в особенности изготовление деталей юрты, утвари, сундуков, а также их орнаментацию, выполняли мастера, не имевшие духовного сана.

Столярное ремесло нередко сочеталось с кузнечным, но преобладали мастера, специализировавшиеся только в столярном деле.

При этом некоторые столяры-ремесленники специализировались в изготовлении утвари, другие делали главным образом седла, третьи — почти исключительно каркасы юрт. Такое разграничение известно и у других кочевнических народов. Так, у казахов некоторые столяры занимались лишь производством каркасов юрт (их даже называли по-особому — *уйшу*), другие — изготовлением седел [Маргулан и Муканов, 1967, 146], третьи — лодок [Валиханов, 1904, 357].

Столярное мастерство, как и другие ремесла, обычно передавалось по наследству. Работали мастера, как правило, на заказ, причем к ним приезжали нередко из отдаленных аалов. Скотоводы платили в расчете на овец, а восточные тувинцы — главным образом пушниной.

Тувинцы пользовались для поделок различными породами дерева. Излюбленным материалом тувинских столяров, служила лиственница, которая шла даже на изготовление самострелов, стрел и других снарядов охотничьего и рыбного промыслов. Особое значение лиственницы как материала для изделий из дерева известно у всех сибирских народов, на что указывал в свое время В. Серошевский: «Впереди всех и по количеству и по разнообразию изготавливаемых из него предметов стоит, конечно, лиственничное дерево» [Серошевский, 1896, 336]. Для более ценных изделий, таких, как сундуки и всякого рода резные вещицы, употреблялся кедр. Для изготовления деревянной посуды, в том числе чашек, брали обыкновенно тополь, лучше других древесных пород поддающийся долблению.

Г. Е. Грумм-Гржимайло писал, что березу тувинцы для поделок использовали редко. Однако это утверждение не вполне верно, так как береза, в том числе ее корень, была

широко распространенным материалом для различных поделок. Сибирская этнография также свидетельствует, что береза по праву занимает следующее за лиственницей место по ее использованию для изготовления деревянных изделий. Так у якутов, например, «второе место после лиственницы занимает береза. Все пластичное и гнутое делается из этого дерева» [Серошевский, 1896, 365].

Основными инструментами для обработки дерева служили топор *балды*, или *сүге*, тесло *кержек*, сверло *өрүм*, струг *хаарылга*, долото *шүүчө*, пилы *хирээ* (большая и маленькая), ножи *бижек* нескольких размеров, напильник *эгээ* и молоток *алага*. Этими инструментами пользовались для таких операций, как рубка, строгание, долбление, сверление, сгибание и выжигание.

Топор использовали для рубки и более грубой черной обработки. В конце XIX — начале XX в. применялся топор русского образца, приобретавшийся у купцов. Ранее у тувинцев был распространен топор с поперечным по отношению к рукоятке длинным лезвием, т. е. нечто вроде мотыги, — форма, сохранявшаяся до недавнего времени у киргизов [Антипина, 1962, рис. 80—а]. Такой топор был известен тувинцам и их кочевым тюркоязычным предкам издавна. Слово «балды» широко распространено в тюркских языках [Радлов, 1911, т. IV, стлб. 1502]; известно оно и в тувинском эпосе. У монголов же топор носил название *сүх*, и это слово недавно проникло и в тувинский язык в форме *сүге*.

Наиболее широко употреблялись для обработки дерева тесла, которыми тесали вдоль волокон дерева, а также долбили. Существовало два типа тесел: с прямой рукоятью (*шүнгемек-кержек*) и с рукоятью, расположенной под прямым углом к лезвию (*калбак-кержек*). Обычный размер ударной части тесла: ширина 5—7 см, длина — 7—9 см. В ГМЭ (колл. № 626—27) хранится шумек-кержек, имеющее следующие размеры: длина ручки 27 см, длина тесла 8 см, ширина — 5,2 см. Тесло было известно как деревообрабатывающее орудие уже ранним кочевникам, в том числе и в Туве. Так, на бревнах раскопанных мной погребальных камер скифского и гуннского времени в Туве отчетливо видны следы их обработки теслом [см.: Вайнштейн и Дьяконова, 1966, рис. 14]. Подобные тувинским тесла известны киргизам, которые называют их *керки* [Антипина, 1962, рис. 80б, в, г], и другим кочевым народам Средней и Центральной Азии. Струг также широко известен кочевникам, причем фонетические параллели к тувинскому названию известны весьма широко в тюркском мире и даже проникли в венгерский язык [Nemeth, 1965, 56—60].

Пилы, которые не встречались пока в археологических памятниках кочевников Центральной Азии и Южной Сиби-

ри, по-видимому, также были известны тувинцам ранее XIX в. В конце XIX—начале XX в. тувинцы пользовались пилами русского образца, однако тот факт, что название пилы в близких вариантах было известно широкому кругу тюрко-монгольских народов, может в определенной мере указывать на древность у этих народов данного инструмента: монг. — *хөрөө*, уйг. — *хери*, кирг. — *араа*, туркмен. — *ары*.

Ножи применялись преимущественно двух типов: с искривленным лезвием (использовались для обработки долбленых сосудов) и с узким заостренным — для резьбы. Нож для резьбы обычно имел длину лезвия 7—9 см. Такой нож в ГМЭ (колл. № 626—30) имеет ручку длиной 12 см и лезвие длиной 8,5 см.

Были известны и гвозди — деревянные *шопту* и железные *кадаг*, но последними пользовались редко. Разграничение их названий может служить указанием на древность обеих разновидностей гвоздей. Кроме того, железные гвозди являются частой находкой в древних кочевнических погребениях Тувы.

Изделия тувинских столяров, несмотря на ограниченность инструментов, были весьма высокого качества. Правда, Р. Кабо придерживался иного мнения, утверждая, что «столярные изделия отличались грубостью ввиду, во-первых, отсутствия подходящих пород, а во-вторых, примитивного устройства необходимых приспособлений» [Кабо, 1934, 68]. Но это неверно — древесина для поделок, в частности такие ее породы, как береза, были доступны мастерам почти на всей территории Тувы, что же касается инструментов, то они были вполне пригодны для высококачественной обработки дерева.

Необходимо заметить, что приводившееся различными авторами мнение Ф. Кона о неразвитости тувинского столярного ремесла [Кон, 1934, 110] относилось лишь к техническим приемам обработки дерева. И сам Кон [Архив ГМЭ, ф. 1, оп. 1, дело 341, л. 4] и другие исследователи с восхищением говорили о прекрасных работах тувинских резчиков по дереву и о высокой степени совершенства деревянной пластики тувинских мастеров.

Тувинцы украшали резьбой и росписью преимущественно те деревянные предметы, которые чаще были на виду — сундуки, передние стенки кроватей, дверцы юрт, посудные ящички, сосуды для молока и др.

Для изготовления решеток юрты использовали преимущественно древесину тополя или иву. Седла делали обычно из березы. Детали юрты и седла изготовлялись по строго определенным, установившимся традициям.

Чтобы изготовить остоу юрты, мастер вначале подбирал необходимую древесину и сушил ее в тени юрты или в роще,

после чего придавал заготовке нужную толщину и форму. Лишь дымовой круг и планки перекрытия делали из сырой древесины, а затем выгибали на земле при помощи колышков и в таком виде сушили. Отверстия в планках решетки делали лучковым сверлом *өрүм*. Планки скреплялись сырымятными ремешками. Заметим, что, судя по имеющимся описаниям, аналогичным образом изготовляли каркас юрты монголы, буряты, южные алтайцы, киргизы, хотя приемы последних [Антипина, 1962, 156—160] и имеют определенное отличие от тувинских.

Лучковые сверла *өрүм* применялись двух типов. Сверло первого типа было относительно небольших размеров и имело в верхней части прижимающий колпачок; это сверло было сходно в своих основных чертах со сверлом, получившим распространение в древнетюркской среде [см.: Вайнштейн, 1966б, 322—323]. Сверло второго типа было довольно длинным и без зажима. Аналогичные сверла с тем же названием известны мне у алтайцев, теленгитов и шорцев.

Излюбленным материалом для изготовления утвари у тувинцев, особенно у оленеводов Тоджи, была береста. Из нее делали небольшие чашки *шомук*, корытца *одуш* и небольшие, расширяющиеся ко дну ведерки *соо* для хранения оленьего молока и воды. Она же шла на изготовление покрышек чума.

Бересту сдирали с молодых деревьев и тут же под деревом свертывали ее внутренней стороной наружу. Обработывали бересту варкой. Для этого несколько кусков бересты наматывали на пучок травы — один кусок бересты поверх другого, затем обвязывали сверток тремя узкими полосками ивовой коры *хаак карты* и клали в котел, прикрыв сверху куском дерна травой вниз. Поверх дерна клали камень. Котел с берестой устанавливали на очаг, устроенный поблизости от чума. Варили бересту двое-трое суток, после чего рулон извлекали и разматывали. Затем каждый кусок бересты свертывали отдельно и хранили до начала изготовления покрышек. Для покрытия чума требовалось от 21 до 33 кусков бересты [подробнее см.: Вайнштейн, 1961, 80, 86—87].

Применение бересты для различных хозяйственных целей известно всем таежным народам Сибири, у саяно-алтайских народов береста издавна использовалась для изготовления посуды, колчанов, покрытий для жилищ. Варка бересты также распространена по всей таежной зоне Сибири. Среди соседей тувинцев она известна тофаларам, хакасам, камасинцам, северным алтайцам, дархатам.

Изготовление изделий из шерсти, волоса и сухожилий

Использование шерсти, волоса и сухожилий, известное кочевым скотоводам с древнейших времен, зафиксировано археологическими раскопками по крайней мере со скифского времени. Изделия из указанных материалов (по всей вероятности местного производства) были найдены, как отмечалось выше, в погребениях ранних кочевников на Алтае и в Туве.

Одним из замечательных достижений древних скотоводов было изобретение способа приготовления войлока. Войлочные изделия, широко применявшиеся еще в скифское время, и поныне используются всеми кочевыми скотоводами Евразии. Очень важное значение имел войлок *кидис* и в быту тувинцев. Им покрывали юрту, он служил постелью, ковриком, шел на изготовление некоторых видов одежды, потников и т. д.

Специальных мастеров-профессионалов по изготовлению войлока среди тувинцев не было. Производство войлока можно рассматривать как общинный вид домашнего производства. Силами одной семьи переработать шерсть, чтобы получить войлок, было почти невозможно, так как этот процесс требовал усилий многих людей. Участие членов кочевой общины в производстве войлока отмечено также у монголов, казахов, киргизов, калмыков, бурят. У тувинцев войлок изготовлялся обычно сообща всеми хозяйствами из шерсти овец одного хозяйства, которому принадлежала изготовленная продукция. Богатые хозяйства при этом получали определенный выигрыш, так как при большом количестве производимого для них войлока их относительный трудовой вклад в его производство был невысок.

К сожалению, в литературе о тувинском способе изготовления войлока нет подробных сведений, а в опубликованных кратких наблюдениях [Веселков, 1871а, 37—38] много неточностей, что делает необходимым привести здесь детальную характеристику этого древнейшего вида домашнего производства кочевых скотоводов.

В зависимости от шерсти войлок был сравнительно грубым (из шерсти весенней стрижки) или тонким (из шерсти молодняка осенней стрижки). Из более грубого и толстого (двухслойного) войлока делали покрытия юрт, коврики, матрацы для постелей. Более тонкий войлок шел на изготовление одежды, в частности головных уборов, чулок, плащей. Такое же разделение войлока в зависимости от качества шерсти знали и древние монголы, о которых Рубрук писал: «Из более грубой шерсти они делают войлок для покрытия своих домов, сундуков, а также постелей» [Рубрук, 1957, 99].

Для получения войлока требовалось значительное количество шерсти. По собранным мною данным, для того чтобы скатать один небольшой войлочный коврик *ширте*, была необходима шерсть не менее 10 овец весенней стрижки, а для изготовления войлока на покрытие одной юрты требовалась шерсть почти от 200 овец. Собранную, отсортированную по цвету, вымытую и начесанную шерсть хранили в парных сумах барба, причем предназначенную для войлока шерсть белого и черного цвета хранили отдельно в течение одного-полутора месяцев после весенней стрижки; в июне — июле, уже на летних стоянках приступали к катанию войлока. В этой работе принимали участие все жители аала, которые сообща в течение нескольких дней поочередно изготовляли войлок для всех хозяйств.

Прежде чем пригласить людей на катку войлока, хозяин шерсти делал несколько десятков специальных палок *савааш* для взбивания шерсти длиной около двух метров. Палки почти обязательно должны были быть из ивы, и хозяину приходилось иногда ездить для их заготовки в дальние места. Когда шерсть и палки были приготовлены, хозяин сообщал жителям своего аала о дне, когда он приглашал их на катку войлока. Если в аале было мало людей, то приглашались люди даже из соседних аалов.

Первый этап сложной и трудоемкой работы по изготовлению войлока носил название *дүйк кагар* («бить шерсть»). Обычно участвовали в *дүйк кагар* только мужчины.

Работу начинали ранним утром, тотчас же после дойки скота. На земле расстилали коровьи или конские шкуры, располагая их на некотором расстоянии одна от другой и закрепляя по краям колышками. Вокруг каждой шкуры садились обычно 5—6 человек, иногда и больше — до 10. На середину шкуры клали охапку шерсти и, взяв в каждую руку по палке, начинали бить шерсть обеими руками; чтобы удары были ритмичными, обычно работали под песню. В конце работы, когда шерсть была взбита и становилась мягкой, ее обрабатывали легкими ударами палок попеременно обеими руками.

Готовую, взбитую шерсть каждые два работника, сидящие друг против друга, свивали в толстые жгуты и откладывали в сторону, а на шкуру клали новую охапку.

Так продолжалось до тех пор, пока вся шерсть не была окончательно взбита. Затем начинался (иногда через несколько дней) следующий процесс — *дүйк салыр* («салыр» означает «класть»). Жгуты распускались и раскладывались на полотнище *энчек*, сделанное из старого войлока. При этом старались, чтобы шерсть легла ровным слоем по размеру требуемого куска войлока. Эта работа, требовавшая большой тщательности, выполнялась только женщинами.

Обычно войлок был двухслойным, лишь для изготовления одежды (главным образом чулок и головных уборов) катали тонкий однослойный войлок из шерсти молодняка осенней стрижки. Если шерсть была разных цветов, то первый слой делали из шерсти одного цвета, а второй — из шерсти другого цвета.

Тщательно разложенную шерсть равномерно смачивали теплой водой (процесс назывался *суглаар*). Затем на край разостланной шерсти клали очищенное от коры и сучков круглое бревно толщиной до 15—20 см; длина бревна должна была превышать ширину катаемого войлока не менее чем на 20 см. На это бревно накручивали разложенную шерсть вместе со старым войлоком, обматывали полученный рулон куском кожи и крепко связывали. Края бревна, выступающие из рулона, вставляли в отверстия специальных овальных деревяшек — катков. Двумя арканами, привязанными к седлу коня, катки закрепляли, после чего прокатывали рулон по возможно более ровному месту. Этот процесс именовали *дйк сеертйр* («тащить шерсть»). В хозяйствах бедняков, имевших мало шерсти, рулоны катали вручную, не пользуясь лошадьми, что характерно и для ряда других скотоводческих народов.

Рулон с шерстью катали в течение промежутка времени, за который могут вскипеть два котла чая, т. е. 40—50 минут, после чего шерсть скатывали с бревна. Потом бревно поворачивали, вновь обматывали шерстью и начинали катать заново. Наконец, шерсть окончательно снимали с бревна, отделяли от полотнища старого войлока и сворачивали в рулон. Рулон подкатывали к цепочке мужчин, которые, сидя на коленях, начинали мять его обеими руками особым приемом, то закатывая рулон на колени, то опуская рулон. Этот процесс *кидис ойер* («ойер» — «мять») длился до двух-двух с половиной часов. После этого войлок расстилали на сухой земле и сушили; на следующий день войлок считался готовым.

Войлок, предназначавшийся для покрытия юрты, должен был быть белого цвета. Однако бедняки, у которых овец было немного, не имели столько белой шерсти и использовали также темную шерсть. Поэтому юрта, покрытая темными войлочными покрывками, пусть даже и новыми, свидетельствовала об относительной бедности ее хозяев. Нередко, чтобы сохранить светлый цвет войлока при недостатке светлой шерсти, покрывки, как уже отмечалось, делали двухслойными: нижний слой из темной шерсти, верхний из светлой.

Из имеющихся кратких описаний процесса изготовления войлока у других кочевых скотоводов можно сделать вывод, что принцип изготовления войлока был одним и тем же, но

процесс отличался рядом деталей. Так, например, у монголов-халха ремни, которыми был привязан рулон, два всадника держали в руках и тянули его то в одну, то в другую сторону [Вяткина, 1960, 177]. Ряд отличий имелся и в способе производства войлока у казахов [Масанов, 1959, 107—112] и киргизов [Куфтин, 1926, 28; Востров, 1956, 21—22]. Из тюрко-монгольских скотоводческих народов с изготовлением войлока не были знакомы лишь якуты; это объясняется, вероятно, тем, что они не разводили овец.

При изготовлении из войлока ковриков ширтек использовали один, либо два куска готовой кошмы, в зависимости от того, какой толщины должен был быть коврик. Кошму кроили в соответствии с размерами юрты. Затем, нанеся на кошму охрой или углем контуры орнамента, которым коврик украшался, их прошивали (что также было весьма трудоемким процессом), а затем по краям (за исключением края, обращенного к стенке юрты) коврик обшивали цветной тканью, предпочитая красную.

Материалом для витя веревок *аргамчы* служил волос из гривы или хвоста лошади. Волос из хвоста считался наиболее ценным, менее ценился волос гривы. Подобное же отношение к конскому волосу отмечено и у других скотоводческих народов.

Волос теребили в руках (этот процесс назывался *дйк дыдар*), складывали в кучу. После этого вытягивали из кучи шесть-семь пучков *дыдар* и сучили их между ладонями, а полученные толстые нити прикручивали к колышкам. Взяв небольшую доску или палку с тремя отверстиями, свободные концы каждой нити пропускали в отверстия и связывали узлом (иногда одну палку с тремя отверстиями заменяли тремя колышками, но характер процесса от этого не менялся). Заостренным концом доску или палку втыкали в землю, предельно натянув нити. Поочередно вынимая колышки из земли, скручивали каждую нить в шнур и, натянув, снова втыкали колышки в землю. Затем три шнура свивали в одну веревку: три человека, вращая в руках колышки, скручивали натянутые шнуры, а четвертый свивал веревку с другого конца.

Помимо волосяных веревок *цеп аргамчы* из волоса скотаводы выделяли тесьму, сшивая для этого несколько веревок разного цвета; иногда волосяные тесьмы делали в виде шнурков, плетеными в косу. Тесьма имела ширину до 2 см и предназначалась главным образом для подпруг. Подобным же образом изготавливали тесьму алтайцы, буряты, якуты и монголы.

У тувинцев практиковалось изготовление нитей двумя способами — сучением и прядением. Сучение, считающееся наиболее архаичной техникой, не требовало никаких приспособ-

соблений и выполнялось только руками. Этим способом делали нити из сухожилий.

Для сухожильных ниток *каткан сиир* тувинцы, как и другие скотоводы Центральной Азии и Южной Сибири, использовали спинные и ножные сухожилия крупного рогатого скота, лошадей и крупных копытных. Высушенные в течение четырех-шести дней у дымового отверстия жилы клали на камень и расщепляли ударами палки. После этого их разделяли на две группы. В одну клали тонкие сухожилия *ээн сиир*, из которых делали нити *чинге сиир* для шитья шапок и зимних шуб; в другую — более толстые *даяк сиир*, из которых изготавливали нити *чоон сиир* для шитья обуви. Расщепление жил и изготовление из них нитей было женским делом. О том, что эта работа входила в обязанности женщин еще в древнемонгольском обществе, сообщает Рубрук: «Именно они (женщины.— С. В.) разделяют жилы на тонкие нитки и сплетают их в одну длинную нить» [Рубрук, 1957, 100—101]. У всех других кочевых скотоводов Евразии приготовление нитей из сухожилий также было делом женщин.

Нить сучили руками на голом колене или бедре. Взяв три сухожилия, их скручивали поочередно между большим и указательным пальцами вначале одной, а затем другой руки, слегка увлажняя волокна слюной. По мере утончения нити к ней добавляли еще несколько сухожилий. Нить оканчивалась одним сухожилием, которое предназначалось для введения его в игольное ушко. Общая длина нити была равна 40—50 см. Сходные способы изготовления нитей применяются алтайцами, эвенками, угорскими народами и кетами. Сучение нити этим способом было известно также якутам, которые «нити и даже толстые веревки... сучат рукою на голом колене» [Серошевский, 1896, 375]. Монголы и буряты применяли несколько иной способ сучения жильных нитей [Попов, 1955, 82—83].

Для прядения нитей использовали только шерсть. Шерстяные нити *чйнг* делали с помощью веретена, представлявшего из себя стержень длиной в 18—22 см, и сделанных из дерева пряслиц диаметром 7—10 см (в МАЭ в колл. № 5072—205 имеется тувинское пряслице диаметром 9 см). Заметим, что прядение нитей при помощи веретена известно всем скотоводческим народам Сибири и Центральной Азии, а также кетам и некоторым группам селькупов и забайкальским эвенкам.

Сухожильные нити использовались главным образом для шитья одежды из шкур и кожаной утвари. Нелишне напомнить, что древние монголы, как сообщает Рубрук, также шили кожи только жильными нитями [Рубрук, 1957, 99], что было характерно и для других кочевников вплоть до этнографической современности.

Наконец, следует отметить, что тувинцам-оленоводам, как и хакасам и тофаларам, было известно плетение сумок из тонких сухожильных шнурков. Сумки использовались для переноски клубней сараны. Плетение подобных сумок из сухожилий не было известно другим народам Сибири и Центральной Азии. У тувинцев и тофаларов сумки плели женщины. Вначале изготовлялся пучок неплетеных шнурков, который с передней и задней стороны переплетался шнурками ячеяного плетения сумки.

Обработка кожи

Тувинцы-скотоводы издавна славились как непревзойденные мастера обработки кожи. Тувинцы изготавливали из кожи (преимущественно собственной выделки) одежду, обувь, конскую сбрую, колчаны, налучья, сосуды для хранения и перевозки жидкости, своеобразные валиковые подушки. Кожаные изделия тувинцев, как правило, украшены очень выразительными орнаментальными узорами, с большим вкусом выполненными техникой аппликации или тиснением.

Нужно сказать, что главную роль в весьма трудоемком процессе выделки кожи играли женщины.

В условиях домашнего производства обработке подвергались шкуры всех домашних животных, шкуры диких копытных (косули, кабарги, марала, лося), а также пушных животных. Поскольку обработка кожи у тувинцев не описана в литературе, я позволю себе остановиться на этом вопросе подробнее.

Процесс обработки начинался с очистки кожи от остатков мяса и жира при помощи либо скребка *хыргы*, состоявшего из деревянной ручки и рабочей части в виде плоского железного кольца, изогнутого в середине, либо длинного ножа. Взяв *хыргы* обеими руками, скребли шкуру движениями на себя. Затем шкуру при помощи деревянных колышков растягивали на земле, обмазывали мездру *кыртыш* дубящим составом *ирик* — кашеобразной массой из гнилушек лиственницы или ели и теплой воды — и свертывали для дубления. Через день мездру вновь скребли другим инструментом, *сыы* (у некоторых групп оленеводов он называется *соо*), сходным с первым, но с выпрямленной рабочей частью. Затем, положив шкуру на плоский кусок дерева, ее мяти круговыми и прямыми движениями кожемалки *эдирээ* (ср. монгольское и бурятское название *эдронг*) — деревянной палки с прямым железным лезвием или без него, но с зубчатыми краями.

Выше уже отмечалось, что подобное *эдирээ* орудие с железной рабочей частью было известно племенам Тувы уже в гунно-сарматское время, о чем свидетельствует находка модели такого орудия в кургане сынчюрекской культуры

в могильнике Кокэль [см.: Вайнштейн, Дьяконова, 1966, рис. 69—4]. Шкуру мяли женщины; это была очень трудная работа, которая занимала несколько дней. Завершался процесс обработки растягиванием шкуры и дымлением *ыштаар* у дымового отверстия чума или в специальной яме.

Оленеводы вырабатывали кожу главным образом из шкур лошадей, коров, лосей, оленей, маралов. Вначале, положив снятую шкуру на колено, срезали ножом шерсть. Затем, высушив шкуру (зимой это делали в чуме, летом — на открытом воздухе), ее смазывали кислым оленьим молоком и квасили в течение нескольких дней в свернутом виде. После этого с помощью хыргы соскабливали остатки шерсти и счищали мездру; при этом один человек держал шкуру, другой ее скреб. Очищенную кожу вновь смазывали кислым молоком и, продержав в свернутом виде несколько дней, начинали мять.

Скотоводы пользовались кожемялкой *далгыг* — обрубком бревна длиной около 1,5 м и толщиной 25—30 см, в середине которого был сделан вильчатый вырез с зубцами по краю внутренних стенок. Под край кожемялки подкладывали небольшую чурку, а в вырез просовывали длинную (более 1 м) палку-рычаг *дыл* («язык»). Обрабатываемую кожу клали между палкой-рычагом и вырезом. Левой рукой перемещали шкуру, а правой попеременно то сильно нажимали рычагом на шкуру, то отпускали. Далгыг этого типа был распространен во всей Туве, а также у якутов, хакасов, алтайцев и других народов Южной Сибири. В Тодже бытовал также далгыг несколько иной конструкции — корытообразной формы. Оленеводы мяли кожу иначе. Один человек держал свернутую кожу на врытом в землю столбе, а другой бил по ней в продолжение нескольких часов деревянной колотушкой *мон*; затем кожу оставляли в свернутом виде на ночь, а утром смазывали дубящей смесью ирик, обрабатывали при помощи эдирээ и дымили.

В Восточной Туве для обработки шкур крупных животных применялась также массивная кожемялка, состоявшая из врытого в землю толстого столба и двух укрепленных на нем вращающихся горизонтальных плах. Один конец шкуры привязывали к столбу, другой — к плахам; вращая последние, растягивали и мяли шкуру. Используя как рычаг вставленную в промежуток между плахами длинную жердь, вращать такую кожемялку мог даже один человек. Мне удалось увидеть и описать подобную кожемялку во время экспедиции в Восточных Саянах в 1951 г. у оленеводов Тоджи. По рассказам стариков тоджинцев, этот тип кожемялки был заимствован восточными тувинцами у бурят в конце XIX в., что вполне вероятно, так как бурятам такие кожемялки действительно были известны в XIX в., они назывались *ирылге*

или *эригулге*; знали их хакасы, а также русское население Восточной Сибири, которое, возможно, и положило начало их распространению.

Для изготовления овчины тувинцы-скотоводы сушили свежеснятую шкуру овцы или козы один-два дня. Летом ее растягивали на земле мездрой вверх и закрепляли вбитыми в землю колышками, а зимой в течение двух-трех часов морозили на снегу и затем сушили на деревянном сооружении *арткы*, состоящем из перекладины, уложенной на вертикальные столбы с развилками в верхней части. Высушенные шкуры хранили в жилище. После того как накапливалось несколько шкур, начинали их обработку. Предварительно шкуру со стороны мездры смачивали чаем, а затем, положив на колено, в течение нескольких часов очищали от мездры и мяли при помощи эдирээ. Очищенную от мездры овчину растягивали на земле и несколько раз в течение дня смачивали молочнокислой сывороткой *божа*, оставшейся после перегонки кислого забродившего молока *хойтнак* [см.: Вайнштейн, 1961, 104]. Если не было *божа*, то пользовались скисшим молоком. Обычай использовать кисломолочные продукты для обработки кожи возник еще у ранних кочевников; им широко пользовались, в частности, средневековые монголы, о которых Рубрук писал, что «кожи приготавливают они при помощи... кислого молока» [Рубрук, 1957, 100]. Об употреблении кисломолочных продуктов для выделки кожи у кочевых скотоводов, в частности у казахов, мы находим краткие сведения у путешественников XVIII в. [Паллас, 1788, ч. I, 570—571], а у этнографов конца XIX — начала XX в. приведены на этот счет более подробные сведения.

Смоченную шкуру клали в юрте шерстью вверх на земляной пол. Через сутки шкуру вновь мяли при помощи *хедерге* — деревянного бруска с зубчатыми вырезами; потом в течение четырех-пяти дней ее подвергали дымлению и дубили (этот процесс иазывается *баартаар*), натирая внутреннюю сторону кашицей из вареной печени и молочной сыворотки, растертой в ступе и смешанной с крепким чаем. Завершалась обработка разминанием кожемялкой эдирээ.

Выделка шкур козленка и ягненка была менее сложной. После просушки шкуры ее шерсть мыли водой, внутреннюю сторону шкуры смазывали кислым молоком, снимали мездру при помощи хыргы и обрабатывали кожемялкой *хедерге*. Шкуру косули подвешивали внутри чума на два-три дня, потом ее растягивали на земле, посыпали сверху гнилушками ели и свертывали. Примерно через час ее развешивали и обрабатывали кожемялкой эдирээ.

Для изготовления ремней пользовались кожей крупных животных. Арканы сыдым аргамчы для ловли лошадей делали из шкуры быка, лося или марала. Из свежеснятой шку-

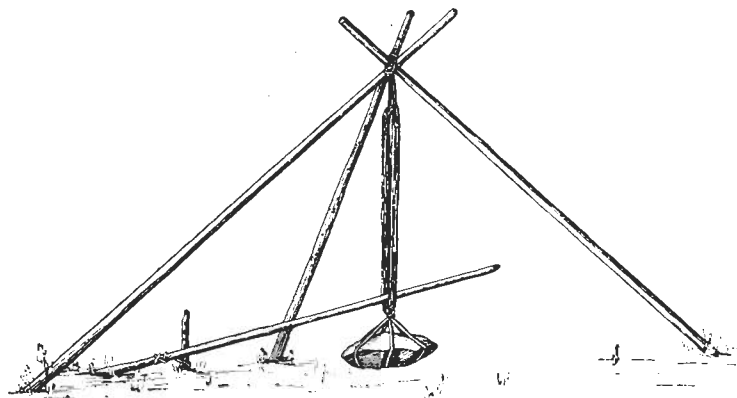


Рис. 26. Кожемялка (*тээрме*), служившая для изготовления арканов, Тере-Холь

ры вырезали большой круг и разрезали его по спирали, получая ленту, с которой затем ножом очищали шерсть, растягивали и, просушив, отрезали кусок размером до 6,5 кулаш. В Восточной Туве аркан после этого размягчали в продолжении нескольких часов при помощи далгыг и били колоушкой *докнак*, после чего его обильно смачивали кислым молоком, смазывали коровьим маслом или салом и дымили в юрте шесть-восемь дней. В других районах Тувы для обработки ремней применяли своеобразную кожемялку *тээрме* в виде треножника из жердей, к вершине которого подвешивали кожаную петлю. Через нее 25—30 раз пропускали ремень, образовывавший вторую петлю, к которой и привязывали тяжелый камень или деревянный круг *ээргиш*. Затем, вращая камень правой рукой, ремень закручивали, а в оставшееся незакрученным пространство продевали рычаг *дыл*, привязанный одним концом к колышку, забитому в землю. Надавливая на свободный конец рычага или поднимая его (это делали левой рукой), заставляли ремни то скручиваться, то раскручиваться. Сходное орудие известно также якутам [Попов, 1955, тб. V—Л].

Если обычная обработка кожи производилась в каждом хозяйстве, то выделка таких кожаных изделий, как чепраки и тебеньки высокого качества, а также орнаментированные сложными тисненными узорами фляги, находилась преимущественно в руках специальных мастеров. Кожаных дел мастеров — шорников, которые работали на заказы, поступавшие из соседних аалов и арбанов, а иногда даже из других хошунов, было сравнительно немного: на всю Туву в начале XX в. их насчитывалось не более 30—40. О существовании

в Туве шорного ремесла в начале XX в. сообщает Ф. Кон [Кон, 1934, 109]. Некоторые шорники выделывали кожи (главным образом овчину) на продажу за пределы Тувы. Так, имеются сведения о шорнике Чимба из Торгалыка, который продавал монголам в конце XIX в. по 80—90 овчин в год [РФ ТНИИЯЛИ, № 3, л. 24].

Среди шорников, специализировавшихся на производстве конской упряжи, были прекрасные мастера художественной обработки кожи, изделиями которых пользовались главным образом бай и чиновники.

Для тиснения кожи и изготовления аппликаций тувинские мастера использовали специальные деревянные матрицы *хеп* с вырезанным на них орнаментом. Матрицы делались из досок, имевших обычно прямоугольную форму. Орнамент вырезался на них ножом и имел вид глубоких канавок. Для тиснения мастер брал предварительно вымоченный кусок выделанной кожи, клал его на форму и выдавливал узор при помощи стержня из рога косули или самца дзерена. Когда тиснение узора было закончено, кожу вместе с формой сушили на воздухе; после этого из заготовки ножом вырезали оттиснутый на ней узор. Предназначенные для аппликации части узора протыкали по краю шилом и приклеивали к украшаемому изделию.

Использование кожи для изготовления сосудов, предназначенных для перевозки и хранения жидкости — одно из древнейших изобретений скотоводов-кочевников. Сосуды из кожи знали уже ранние кочевники в I тысячелетии до н. э. Они получили распространение у всех кочевников Евразии.

Тувинцы делали фляги *көгээржик* (для кумыса или молочной водки) из кожи крупного рогатого скота. Кожу в течение нескольких дней вымачивали в *сарыг суг* (молочная сыворотка); затем с нее счищали шерсть и мездру и выкраивали две половины фляги. Обе половины сшивали с внутренней стороны, вывернутой наизнанку, специальным швом *ыскыттап даараар* с кожаной прокладкой. Незашитой оставалась лишь горловина сосуда. Затем флягу выворачивали на лицевую сторону, сшивали горловину и туго набивали флягу сеном, землей, а иногда и навозом. На еще сырых стенках фляги выдавливали узор стержнем или нагретым железным утюжком либо просто процарапывали орнамент острием ножа. Затем сосуд подвешивали над очагом для копчения, наблюдая за тем, чтобы кожа не пересохла и сохранила упругость.

Отметим попутно, что кожаные фляги с выворотным швом умели делать уже ранние кочевники, о чем свидетельствует найденный в одном из погребений казылганской культуры фрагмент такого сосуда [см.: Вайнштейн, 1955].

Узоры, украшавшие фляги, сделанные мастерами-про-

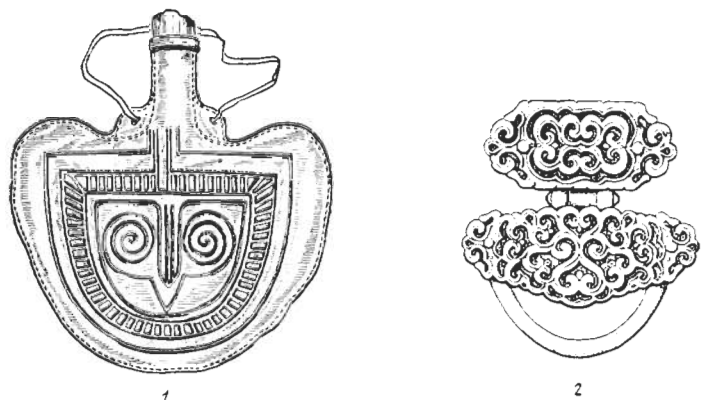


Рис. 27. Изделия ремесленников:

1 — кожаный сосуд (*көгээржик*) для перевозки кумыса и молочной водки;
2 — серебряная подвесная поясная пряжка (*дерги*), Западная Тува

фессионалами, отличались, как правило, очень высоким художественным уровнем их исполнения. Менее качественные фляги, также обычно орнаментированные, делали почти в каждом домашнем хозяйстве. Если в аале был умелец, изготавливавший фляги с большим мастерством, чем его соседи по аалу, то он делал *көгээржики* и для них либо помогал им при изготовлении фляг, обычно не получая за это какую-либо конкретную плату, хотя в процессе повседневной жизни аала его труд все же компенсировался каким-либо образом.

Большие фляги *көгээр*, предназначенные для хранения сквашенного молока *хойтпак*, выкраивались из почти целых коровьих шкур, из которых исключались только части шкуры, снятые с ног. Шкура, снятая с шеи животного, служила горловиной сосуда. Сшивались такие фляги, как и *көгээржик*, выворотным швом.

Завершая рассмотрение техники домашних производств и ремесел тувинцев, следует отметить, что одни из них являются чисто мужскими — таковы кузнечество и работа по дереву, взбивание шерсти при изготовлении войлока; другие — по преимуществу женскими, в которых мужчины почти не участвуют — шитье одежды, изготовление войлочных ковров; наконец, есть производства, в которых участвуют как те, так и другие — катание войлока, плетение веревок, выделка кожи, обработка бересты.

Естественное разделение труда было известно и другим кочевым скотоводческим народам Евразии, однако в этом отношении имеются некоторые различия между отдельными тюрко-монгольскими народами. Так, в конце XIX — начале XX в. шерсть для изготовления войлока у тувинцев, как и

у монголов-дэрбэтов, взбивали мужчины, а у хакасов [Патачаков, 1958], алтайцев [Radloff, 1893], халха-монголов [Вяткина, 1960, 77] только женщины, у калмыков же как те, так и другие [Эрдниев, 1970, 95]. Можно полагать, что у всех древних скотоводов взбивание шерсти было только женским делом и лишь позднее этой работой начали заниматься мужчины. Так, судя по средневековым источникам, мужчины у монголов вообще не участвовали в процессе изготовления войлока [Карпини, 1957, 36]. Отражением этой древней традиции служит, на наш взгляд, то, что, хотя у калмыков во взбивании шерсти для войлока участвовали как мужчины, так и женщины, руководить процессом должна была обязательно женщина [Эрдниев, 1970, 95]. У казахов в XVIII в. изготовление войлока было исключительно женским делом [Георги, 1799, ч. II, 130], а в конце XIX — начале XX в. его производством занимались и мужчины, причем у казахов отмечен переход и ряда других женских занятий в руки мужчин [Масанов, 1958, 33]. Аналогичный процесс в XIX — начале XX в. имел место и у тувинцев и ряда других народов. Мы считаем возможным объяснить эту закономерность, характерную для кочевых скотоводов, уменьшением в последние столетия роли таких занятий, как охота и в особенности военное дело, которые являлись наряду с пастушеством главными занятиями мужчины в прошлом. Невольно вспоминаются в связи с этим слова наблюдательного свидетеля монгольского быта XIII в. Плано Карпини, что у монголов мужчины «ничего вовсе не делают, за исключением стрел, а также имеют отчасти попечение о стадах; но охотятся и упражняются в стрельбе...» [Карпини, 1957, 36].

Изучение домашнего производства кочевых скотоводческих народов позволяет выделить в нем и разграничить семейные и общинные формы. Так, например, обработка кожи, витие веревок и другие занятия выполнялись силами одной семьи и потому могут быть отнесены к семейным формам домашнего производства, а обработка шерсти для войлока велась всем аалом и являлась общинной формой домашнего производства. Разделение хозяйства на общинные и семейные формы прослеживается и в скотоводстве, и в охоте, и в рыбной ловле, о чем уже шла речь выше.

РОЛЬ И СПЕЦИФИКА РЕМЕСЛА В ХОЗЯЙСТВЕ КОЧЕВЫХ СКОТОВОДОВ

В исторической и социально-экономической литературе о кочевниках-скотоводах Евразии преобладает мнение, что одним из признаков кочевого хозяйства является отсутствие ремесел; в новейшей литературе эта точка зрения нашла отражение в труде Г. А. Федорова-Давыдова, посвященном

кочевникам Восточной Европы [Федоров-Давыдов, 1966, 197—198]. Относящиеся же к данному вопросу археологические и этнографические материалы в трудах дореволюционных и современных исследователей весьма разноречивы. К тому же специальных обобщающих исследований о роли и специфике ремесел в хозяйстве кочевников нет.

Имеющиеся в литературе столь существенные расхождения в оценке роли ремесла (как и вопрос о самом его существовании) у конкретных кочевых скотоводческих народов, в том числе и у тувинцев, следует объяснять, по-видимому, прежде всего тем, что в понятие ремесла вкладывается различное содержание. Некоторые авторы отождествляют ремесло у кочевников с домашним хозяйством, другие считают возможным относить к ремесленникам только тех производителей, хозяйство которых полностью отделилось от сельского хозяйства и которые выделились в особое сословие.

Между тем хорошо известно, что в процессе исторического развития ремесло прошло несколько стадий, причем основное отличие его ранних форм от домашнего хозяйства заключалось в специализации и производстве изделий главным образом на заказ или на рынок, а не для потребления в собственном хозяйстве. Такое производство, даже если оно было тесно связано с домашним хозяйством, может рассматриваться как ремесло. Известно определение В. И. Ленина, что ремеслом является производство изделий по заказу потребителя из материала заказчика или ремесленника с оплатой труда деньгами или натурой, а домашняя промышленность перерабатывает сырые материалы в том самом хозяйстве, которое их добывает [В. И. Ленин, т. 3, 328—329]. Из этих предпосылок и исходил автор при изучении вопроса о выделении у тувинцев ремесленного производства из общехозяйственных занятий.

Как было показано выше, важнейшее значение в хозяйстве тувинцев играло домашнее производство, удовлетворявшее ряд основных потребностей в изделиях из кожи (переработка и выделка шкур, в особенности овчин; шитье одежды из кожи домашних и диких животных), шерсти и конского волоса (катание войлока и изготовление из него покрытий для юрты и ковриков, витые волосных арканов, нитей и др.), дерева (изготовление утвари). Домашнее производство было тесно связано с сельским хозяйством, в первую очередь со скотоводством, а в Восточной Туве с оленеводством и охотой, являясь составной частью господствовавшего в Туве натурального хозяйства.

В байских хозяйствах обычно стремились переложить на зависимых от них бедняков выполнение работ, связанных с домашним производством, — изготовление одежды, выделку

кожи и др. Салчак Тока вспоминает в своей автобиографической повести «Слово арата»: «По соседству с нами было много жителей, но они были такие же бедняки и жили в таких же чумах. Богачи, у которых было много скота, сторонились бедняков. Если в наш чум и заходил кто-либо из окрестных богатеев или чиновников, то лишь со словами: „На, выделай мне эту кожу“, „Сшей мне эту шубу“, „Подбей мне эти идики“. Придя потом за изделием, часто били: „Не так сделано, не вовремя, платить не будем“» [Тока, 1957, 8]. Однако выполнение таких «домашних» работ, не требовавших специализации и не носивших регулярный характер, нельзя рассматривать как ремесло.

Вместе с тем тувинцы-скотоводы приобретали целый ряд изделий, необходимых в хозяйстве (решетки остова юрты, кузнечные изделия и др.), у отдельных мастеров-ремесленников, работавших на заказ.

В отчете Русского переселенческого управления за 1915 г. говорится о существовании у тувинцев «кустарных промыслов», в числе которых названы «кузнечное, ювелирное (изделия из серебра), столярное, резное (из дерева и камня) и кожевенное (выделка кож и изделия из кожи)» [РФТНИИЯЛИ, № 8, л. 55]. Этнографические материалы подтверждают это свидетельство. У тувинцев в конце XIX — начале XX в. существовали следующие ремесла: кузнечное (со специализацией части кузнецов в ювелирной работе по серебру); столярное (со специализацией мастеров: одни из них производили главным образом решетки юрты, другие — сёдла, третьи — утварь, преимущественно сундуки, орнаментированные росписью); шорное (со специализацией мастеров: одни из них делали кожаные сосуды, черпаки, тебеньки, тисненные узорами, другие выделявали овчины, главным образом на продажу за пределы Тувы). Наконец, несколько ремесленников изготавливали резные изделия из камня и дерева, главным образом шахматы.

В литературе высказывалось мнение, что в Туве ремесленников было мало. Так, например, В. И. Дулов писал, что среди тувинцев в конце XIX — начале XX в. «ремесленников-кузнецов было не так много; на крупный сумон приходилось примерно два-три кузнеца», в целом же по Туве их число, по его мнению, «едва ли достигало сотни человек» [Дулов, 1956, 108]. Учета кузнецов-ремесленников в Туве до революции не проводилось, однако путем специального опроса лиц старшего поколения мне удалось установить, что В. И. Дулов несомненно допустил существенную ошибку в оценке численности кузнецов, преуменьшив их число в несколько раз. В конце XIX — начале XX в. наиболее крупные сумоны имели не 2—3, а до 20—30 кузнецов, во всей же Туве лишь одних кузнецов было свыше 500 человек, работавших глав-

ным образом на заказы. В среднем на каждые 20—30 хозяйств приходился один кузнец.

Основная масса ремесленников была сосредоточена в Западной Туве, в долине Хемчика, где жило большинство тувинцев и где кочевали наиболее богатые хозяйства, делавшие крупные заказы на дорогие, в том числе ювелирные, изделия. В Восточной Туве, в особенности в Тодже, кузнецов было очень мало; по сведениям моих информаторов, в Тодже в начале XX в. жило всего шесть кузнецов в группе охотников-скотоводов, а столяров и шорников, работавших на заказ, вообще не было.

Уже в 20-е годы некоторые кустарные изделия местных мастеров начали постепенно вытесняться более высококачественной продукцией, поступавшей в Туву из СССР и распространявшейся через торговую сеть, созданную кооперацией во всех районах республики. С изделиями кустарей конкурировали привозные седла, уздечные бляхи, стремяна, таганы, металлическая и фаянсовая утварь, серьги, кольца, и другие товары.

Постепенно, вместе с распространением новых форм культуры, некоторые изделия ремесленников начали утрачивать свое значение. Потребность в них сокращалась, а это в свою очередь приводило к уменьшению числа заказов и снижению численности ремесленников. По сообщениям моих информаторов, многие кузнецы в эти годы, сохраняя кузнечный инвентарь, фактически перестали работать на заказ; более того, они сами приобретали в государственных и кооперативных магазинах некоторые металлические изделия, заменившие им те, которые они раньше ковали из железа. Так, по свидетельству моих информаторов, в самом начале XX в. (1900—1905) в сумоне Сют-Холь в Западной Туве было около 30 кузнецов, работавших на заказ, а в конце 20-х годов их осталось лишь шесть, в начале же 30-х годов на заказ работало главным образом три кузнеца-ювелира, хотя свыше 20 хозяйств сохраняли кузнечный инвентарь. В Тодже в группе охотников-скотоводов в самом начале XX в. было шесть кузнецов-ремесленников, а в конце 20-х годов только два, и хотя кузнецы имелись еще в трех хозяйствах, они получали столь мало заказов, что по существу к началу 30-х годов прекратили занятия ремеслом. Однако в целом по Туве в начале 30-х годов общая численность ремесленников, в том числе кузнецов, среди кочевого населения была еще сравнительно велика, так как в условиях кочевого хозяйства многие традиционные элементы культуры, приспособленные к подвижному быту (решетки юрт, парные сундуки, таганы, вьючные седла и др.), сохраняли еще свое значение. Лишь в начале 50-х годов после массового перехода на оседлость и коллективизации вместе с коренным преобразованием быта

спрос на многие изделия тувинских ремесленников резко упал, а сами ремесленники в большинстве случаев, вступив в колхоз, начинали осваивать новые сельскохозяйственные специальности.

О количестве хозяйств ремесленников в различных хошунах Тувы в конце 20-х — начале 30-х годов XX в. можно судить по данным переписи 1931 г., которая установила, что хозяйств кустарей, в числе которых учтены кузнецы-ювелиры, кустари по дереву, камнерезы и др., было 509 и распределялись они следующим образом [ТСДП, 28—31]:

Хошун	Количество хозяйств
Барун-Хемчик	139
Дзун-Хемчик	178
Улуг-Хем	111
Каа-Хем	32
Тес-Хем	49
Тоджа	—
Всего	509

Таким образом, на 15 648 тувинских хозяйств по переписи 1931 г. приходилось 509 кустарей, т. е. в среднем одно хозяйство кустаря обслуживало 30 других хозяйств. Однако численность хозяйств, обслуживавшихся кустарями, в различных сумонах Тувы была разной. Так, например, по переписи 1931 г., в Дзун-Хемчикском хошуне в сумоне Хор-Тайга на одно хозяйство кустаря приходилось 112 других хозяйств (всего в сумоне насчитывалось 224 хозяйства, из них с кустарями — 2), а в сумоне Чыргакы того же хошуна — 12 хозяйств, т. е. почти в 10 раз меньше (всего в этом сумоне было 286 хозяйств, из них с кустарями — 23) [ТСДП, 26—27].

Мы видим, что хозяйства ремесленников составляли около 4% общего числа тувинских хозяйств. На Центральную и Западную Туву приходилось свыше 80% кустарей. Большинство кустарей (60%) населяло два района долины Хемчика, в то время как на два юго-восточных хошуна приходилось менее 15%, а в Тодже вообще не было зарегистрировано ни одного кустаря.

Необходимо отметить, что вопреки приведенному выше мнению Дулова в отдельных крупных сумонах западных хошунов были десятки кустарей: так, в сумоне Баян-Чурек Дзун-Хемчикского района перепись зарегистрировала 31 кустаря, а в сумоне Баян-Тугай того же хошуна — 39 кустарей [ТСДП, 30—31], главным образом кузнецов.

Оплата заказанных изделий производилась в подавляющем большинстве случаев натурой, хотя уже в начале XX в.

за ювелирные изделия некоторые мастера предпочитали брать серебро (деньги).

Хозяйство ремесленников в Туве было связано со скотоводством, в меньшей мере с охотой и земледелием, причем удельный вес ремесленного производства в хозяйстве колебался от подсобного занятия, дополнявшего скотоводство, охоту, земледелие, до основного источника дохода.

Как правило, даже те ремесленники, основным источником дохода которых было занятие ремеслом, имели скот и кочевали (исключение составляли ремесленники-ламы, жившие при монастырях). В качестве характерного примера приведу сведения, полученные мною от старого кузнеца-ювелира М. Ондара из Сут-Холя, который занимался своим ремеслом и до революции (его отец также был кузнецом). Их семья кочевала вместе с другими хозяйствами аала (зимой в аал входило обычно две семьи, летом — четыре-пять). Скота было сравнительно мало: перед революцией М. Ондар имел только одну лошадь и три коровы. Хозяйство совершало четыре перекочки в год; земледелием не занимались.

Когда М. Ондар получал заказ, он обычно просил за работу то, в чем нуждался в это время, — в оплату могли войти войлок, кожа, сыр, масло и т. п., а за ювелирные изделия он получал иногда даже овец. Богатые скотоводы и чиновники давали мастеру за ювелирные изделия и серебро, т. е. деньги, на которые он покупал у купцов для своей семьи чай, ткани на одежду, кожу — юфть, из которой жена шила хорошую обувь, и т. п. М. Ондар занимался своим ремеслом с весны до поздней осени, и в течение всего этого времени был полностью обеспечен заказами, причем к нему приезжали даже из других сумонов. Он считал, что основным источником его доходов было кузнечество, включая ювелирные работы.

Старый мастер столяр Монгуш Эдэр-оол (пос. Хөндергей) делал в начале XX в. на заказ утварь, главным образом деревянные орнаментированные сундуки. Эта работа, по его словам, служила основным источником дохода. Однако он был не только ремесленником, но также скотоводом, землепашцем и охотником. В течение года М. Эдэр-оол совершал две-три кочевки; постоянных жилых и хозяйственных построек у него не было. Ремеслом он занимался только в теплое время года, на летних и осенних стоянках, когда можно было сушить дерево на открытом воздухе. Нужно заметить, что на зимниках кустари обычно своим ремеслом не занимались, так как у них не было специальных помещений. Перед революцией у Эдэр-оола было две-три коровы, однако ни мелкого рогатого скота, ни вола, ни лошади он не имел. Он засеивал два шана просом, причем за аренду вола, необходимого для перекочек и пахоты, отдавал сосед-

нему скотоводу урожай с одного шана. Зимой он охотился, поэтому осенью откочевывал ближе к тайге. В отдельные годы Эдэр-оол ходил на промысел пешком, но чаще арендовал на охотничий сезон лошадь, за что отдавал баю от 10 до 20 белок. В качестве платы за свои ремесленные изделия он предпочитал брать выделанные овчины, которые в свою очередь менял на нужные ему товары у местных жителей и купцов.

О том, что ремесленники имели обычно мало скота, рассказывали и другие информаторы. Это подтверждается данными переписи 1931 г., согласно которой большинство хозяйств ремесленников имело от 5 до 20 голов скота (в переводе в крупный). Среди ремесленников было выявлено лишь 4 хозяйства, в собственности которых было свыше 50 голов скота. В этом отношении представляют интерес следующие данные переписи, позволяющие судить о распределении хозяйств кустарей по группам в зависимости от численности их скота [ТСДП, 30—31]:

Количество голов скота в хозяйстве (в переводе в крупный)	Количество хозяйств
До 5	90
От 5,01 до 10	138
От 10,01 до 20	153
От 20,01 до 30	48
От 30,01 до 50	24
50,01 и более	4

Обширные материалы, характеризующие специфику ремесла у тувинцев, нет ни возможности, ни необходимости приводить здесь целиком, и поэтому я позволю себе ограничиться суммированием выводов.

Для основной массы хозяйств тувинских кочевых ремесленников-скотоводов были характерны следующие черты. Существовала специализация в одном из видов производства (кузнечество, изготовление решеток юрты и др.).

Отсутствовали специальные помещения для мастерских.

Занятие ремеслом обычно длилось только часть года — с весны до осени.

Ремесло не являлось единственным источником существования, а дополнялось скотоводством, реже земледелием и охотой; нередко ремесленное производство само служило подспорьем сельскому хозяйству.

Хотя ремесленное производство и было отделено от домашнего производства в социально-экономическом отношении, мастер продолжал участвовать в домашнем производстве, и указанная дифференциация не была достаточно четко

выражена, тем более что условия труда мастера в ремесленном и домашнем производстве почти не различалась.

В ремесленном производстве были заняты почти исключительно мужчины, в домашнем — преимущественно женщины.

«Секреты» техники ремесленного производства передавались обычно по наследству сыновьями и ближайшим родственникам по мужской линии.

Ремесленник принимал участие в хозяйственной жизни аала наравне с остальными его членами — мужчинами, не имея в этом отношении каких-либо преимуществ. Продукция ремесленного производства, производившаяся по заказам, потреблялась как внутри аала, так и за его пределами и обычно оплачивалась натурой теми, кто ее заказывал.

Большинство мастеров, для которых ремесло составляло основу существования, имели мало скота (менее 20 голов в переводе в крупный). Мастера, сравнительно богатые скотом (более 40—50 голов в переводе в крупный), уделяли значительно меньше внимания и времени занятию ремесленным производством, и оно не было для них основным источником существования.

Ремесленники в условиях Тувы не оседали, а продолжали вести кочевой образ жизни, находясь в составе аалов кочевых скотоводов.

Для характеристики роли ремесла у тувинцев представляет значительный интерес вопрос о том, в какой мере отдельные тувинские хозяйства пользовались изделиями, выполненными кустарями.

К сожалению, точно учтенных данных, в какой мере пользовались тувинские хозяйства продуктами местных ремесленников в конце XIX — начале XX в., нет (как нет таких данных и в отношении других скотоводческих народов). Конечно, отсутствие этих данных нельзя заменить сведениями, полученными мною от информаторов десятилетия спустя, однако я все же позволю себе привести вполне типичный перечень предметов, приобретенных у ремесленников и купцов тувинцем-скотоводом Монгушем Аккысом (1886 г. рождения) из местности Шеми в Центральной Туве. Семья М. Аккыса состояла накануне революции из 5 человек (он сам, жена и дети); в хозяйстве было 5—7 голов крупного рогатого скота, 6 лошадей и около 80 овец (не считая молодняка), т. е. это было среднее по числу скота хозяйство. Кроме того, Аккыс имел посевы и занимался охотничьим промыслом. Необходимые ему изделия он приобретал у ремесленников в обмен на скот и зерно, а у купцов — в обмен на пушнину. Приводимые ниже данные о количестве купленных вещей в хозяйстве М. Аккыса относятся примерно к 1915—1917 гг.:

Название изделия	Количество	Источник приобретения
Решетки юрты	1	Местный мастер
Верхний круг остова юрты . . .	1	" "
Орнаментированные сумки <i>ап-тара</i>	4	" "
Орнаментированные ящички <i>хаар-жак</i>	4	" "
Передняя орнаментированная доска для кровати	1	" "
Таган	1	" "
Огнива	2	" "
Пряжки подвесные	1	Купец (китайский)
Чугунный котел для варки пищи	1	" "
Поварешка медная	1	" "
Ковш медный	1	" "
Ножи стальные	3	Местный мастер
Топор-тесло	1	" "
Замки металлические	4	" "
Крюк для извлечения мяса (железный)	1	" "
Ножницы для стрижки овец (железные)	2	Купец (русский)
Топор	1	" "
Боеприпасы	1	Купец (китайский)
Серпы	2	Купец (русский)
Ружья	2	Купец (китайский)
Седла	3	Местный мастер
Узда (комплекты)	3	" "
Стремена (пары)	3	Купец (китайский)—2
Чепраки	1	Местный мастер—1 Местный мастер
Фляги <i>кёгээржик</i> с тисненым орнаментом	2	" "
Ткань на шитье одежды для членов семьи (в том числе на <i>дэрлик тон</i> , <i>кышкы тон</i> , кушаки, шапки)	Сколько всего приобрел ткани, точно не помнит. Приблизительно за три-четыре года до революции—около 10—15 м далямбы и 2 м шелка	Далемба куплена у русского купца, шелк—у китайского
Пуговицы	20	Купец (китайский)
Иглы	...	" "
Нитки	...	" "
Серьги (пары)	2	Местный мастер
Перстень	1	" "
Музыкальный инструмент <i>игиль</i>	1	" "
Шахматы бронзовые	1	" "
Чай	...	Купец (китайский)
Табак	...	Купец (русский)
Соль	...	" "

В условиях домашнего производства силами семьи были изготовлены три войлочных ковра, три войлочных матраца и войлочные покрышки юрты из шерсти своих овец, вся деревянная посуда, в том числе три ведерка для молока, бочонок для кислого молока, десять чашек, некоторые кожаные части конской упряжи, в том числе два кожаных чепрака, выючное седло, две кожаные фляги для кумыса и араки, кожаные арканы и волосяные веревки, деревянная дверь юрты, одежда (пять зимних и пять осенних шуб, сшитых из шкур собственной выделки, пять летних халатов из покупной ткани), десять пар летней и зимней обуви, сшитой из кожи собственной выделки, пять пар войлочных чулок из своего войлока и некоторые другие предметы одежды и утвари.

Близкие к этим данные были получены мною и от других информаторов из числа скотоводов Западной Тувы. Более обеспеченные скотоводы дополнительно покупали у купцов также ножи, курительные принадлежности, поясные наборы, ткань и др. Бедняки имели значительно меньше приобретенных вещей. При учете изложенных данных необходимо иметь в виду, что срок службы различных изделий очень существенно отличался. Так, чугунные котлы, таганы, ружья и некоторые другие вещи могли служить в течение нескольких десятков лет, и их приобретали один-два раза в течение всей жизни (а некоторые из них переходили по наследству от родителей), решетки же юрты требовали ремонта или замены через два-три года. Что же касается чая, табака, боеприпасов, тканей, пуговиц и некоторых других предметов, то потребность в них возобновлялась ежегодно. Детали юрты и утварь — решетки остова, дымовой круг, сундуки, ящички и т. д. заменялись в зависимости от срока службы через пять-десять лет [ср.: Майский, 1959, 304—310] и приобретались в различные годы. Многие тувинцы сами ездили за солью в районы ее разработок или получали ее в обмен от других местных жителей, не обращаясь к купцам. Тем не менее из приведенного перечня видно, что значительная часть необходимых в хозяйстве изделий не изготовлялась в условиях домашнего хозяйства, а приобреталась у ремесленников и купцов.

Восточные тувинцы (в особенности оленеводы) обходились меньшим количеством утвари и предметов, которые им приходилось приобретать на стороне. Покупали в основном медные котлы для варки пищи (у купцов), цепи для их подвески (у западнотувинских мастеров), ружья и боеприпасы (в начале XX в. — у русских и бурятских купцов), табак и чай (у китайских купцов), некоторые железные изделия — ножи и др. (у местных и западнотувинских кузнецов, а также русских купцов), украшения (главным образом у западнотувинских мастеров).

Таким образом, почти каждое тувинское хозяйство приобретало в большей или меньшей мере те или иные изделия как у купцов, так и у тувинских ремесленников, причем, что важно отметить, товары, доставлявшиеся в Туву русскими, монгольскими или китайскими купцами, отнюдь не могли заменить определенные виды продукции ремесленников, необходимые в кочевом быту (например, выделанные решетки юрты или орнаментированные кожаные фляги). О том, что у алтайцев и хакасов изделия фабричного производства также сравнительно долго не могли заменить всю продукцию местных кустарей, писал С. А. Токарев [Токарев, 1936, 125].

Наблюдатели тувинского быта отмечали как существование обмена между тувинцами — жителями различных сумонов и хошунов, так и торговлю тувинцев с соседними народами. В основе внутреннего обмена, по свидетельству всех моих информаторов, была главным образом продукция тувинских ремесленников, которую они меняли на скот, пушнину, чай, соль и т. д. Это обстоятельство почти совершенно не нашло отражения в работе Дулова, хотя он и признает существование в Туве внутреннего обмена [Дулов, 1956, 307—312]. Следует отметить, что и в обмене с соседними народами фигурировали изделия тувинских ремесленников. Приведу несколько примеров. Западные тувинцы еще в XVIII в. везли на обмен к южным алтайцам «железо» (вероятно, железные изделия) [МИС, 113—114]. В конце XIX — начале XX в. один шорник, живший в Западной Туве, выделывал ежегодно десятки овчин и продавал их в конце XIX в. монголам-дербэтам в обмен на чай, табак и др. [РФ ТНИИЯЛИ, № 3, л. 24]. Житель Южной Тувы С. Монгуш (Тес-Хем) рассказывал мне, что его отец, кузнец-ювелир, до революции систематически продавал монголам в обмен на чай, табак и серебро ювелирные изделия. О различных формах торговли тувинцев с соседними народами писали и многие наблюдатели тувинского быта, отмечая при этом, что среди тувинских товаров помимо пушнины и скота — главных объектов обмена — были и изделия ремесленников, в особенности выделанные кожи. Во второй половине XIX в. в торговле с тувинцами, носившей главным образом меновой характер, участвовали русские, китайцы, монголы, дархаты, буряты, алтайцы, тофалары, причем в районе границы с Алтаем существовала даже своеобразная ярмарка, оборот которой достигал 20 тыс. руб. [Принтц, 1865; Радлов, 1871; Веселков, 1871а; Шишмарев, 1881; Потанин, 1882, т. III; Сафьянов, 1883; Катанов, 1891].

В связи с этим нельзя не отметить, что вряд ли правильно определение В. И. Дуловым тувинского хозяйства конца XIX — начала XX в. как замкнутого натурального [Дулов, 1956, 111]. Нельзя согласиться и с его выводом, что между

тувинскими хошунами не существовало экономических связей [там же, 308—316]. Сам Дулов приводит различные факты, противоречащие этому заключению. В частности, он признает, что тувинцами в конце XIX—начале XX в. велась интенсивная торговля с русскими, китайскими, монгольскими и другими купцами. Что же касается экономических связей между хошунами, то вопреки своему утверждению об их отсутствии, он сам отмечает, что «каждый (курсив мой.— С. В.) тувинский хошун поддерживал обмен со своими ближайшими соседями» [Дулов, 1956, 308]. Думается, что такая противоречивость в выводах была, в частности, вызвана определенной недооценкой ремесленного производства у тувинцев и связанного с ним внутреннего обмена.

Известно, что В. И. Ленин давал натуральному хозяйству такую характеристику: «При натуральном хозяйстве общество состояло из массы однородных хозяйственных единиц (патриархальных крестьянских семей, примитивных сельских общин; феодальных поместий), и каждая такая единица производила все виды хозяйственных работ, начиная от добывания разных видов сырья и кончая окончательной подготовкой их к потреблению» [В. И. Ленин, т. 3, 21—22]. Совершенно очевидно, что тувинское хозяйство конца XIX—начала XX в. не может рассматриваться как замкнутое натуральное. В Туве, конечно, господствовало натуральное хозяйство, ибо большая часть потребляемой продукции производилась в пределах отдельных патриархальных хозяйств и их групп — аалов. Однако хозяйство тувинцев не было замкнутым. В нем важную роль играли элементы товарного хозяйства, в развитии которых наряду с другими факторами определенное значение имело ремесло.

Итак, предметы материальной культуры, которыми пользовались кочевые тувинцы-скотоводы, имели три основных источника поступления: 1) изготовлялись в домашнем хозяйстве; 2) приобретались у кочевых тувинских ремесленников; 3) приобретались у купцов (изготовлялись главным образом вне Тувы). Предметы, приобретаемые у ремесленников и купцов, не производились в большинстве домашних хозяйств; при этом изделия, которые заказывали местным ремесленникам, либо совсем не поставлялись купцами (а если и поставлялись, то недостаточно соответствовали традиционным требованиям, предъявляемым к этим вещам), либо у ремесленников их можно было приобрести в обмен на те изделия домашнего хозяйства, скотоводства, охоты и земледелия, которые не имели товарной ценности для купцов. У купцов приобретали только такие товары, которые не производились местными ремесленниками или были лучше и дешевле местных. В свою очередь изделия тувинских ремесленников находили сбыт не только у населения ближай-

ших аалов, но и в соседних арбанах, сумонах, хошунах, а также за пределами Тувы.

Представляет значительный интерес вопрос о том, в какой мере материалы о ремесле у тувинцев отражают общие закономерности в развитии ремесленного производства у кочевых скотоводов Евразии.

Привлечем для сопоставления материалы по этнографии сопредельных народов, прежде всего монголов, которые вплоть до недавнего времени жили в условиях хозяйственно-культурного типа, близкого тувинским кочевым скотоводам.

Специальных исследований ремесла у монголов в интересующем нас аспекте нет. В работе К. В. Вяткиной о монголах речь идет лишь об обработке у них шерсти и кожи в условиях домашнего производства [Вяткина, 1960, 177—179]. В социально-экономической и исторической литературе, посвященной кочевым монголам, господствует точка зрения о том, что ремесла у них в конце XIX—начале XX в. не было либо что оно имелось лишь в отдельных этнографических группах, притом находилось на чрезвычайно низком уровне и обслуживало почти исключительно нужды буддийского культа [Владимирцов, 1934, 191; Майский, 1959, 190]. Так, М. М. Майский считал, что для монголов в начале XX в. было характерно лишь домашнее производство. «Здесь почти каждая юрта являлась мастерской, ремесленная специализация не успела выкристаллизоваться в сколько-нибудь законченные формы» [Майский, 1959, 190]. При этом он отмечал, что лишь в Кобдоском районе Монголии имелись кое-какие ремесленники, но в целом это производство было настолько слабым, что о его народнохозяйственном значении говорить трудно. Указывая на неразвитость ремесла, он писал, что принцип разделения труда отсутствовал, выделять кожу или ткать материю монголы не умели и подчеркивал важность для Монголии того времени китайских ремесленных производств [Майский, 1959, 190].

Г. Н. Потанин также отмечал, что ордосские монголы даже «железные вещи... получают большею частью готовые от китайцев. Их делают по вкусу монголов, главным образом в городах» [Потанин, 1950, 132]. В отношении же кочевых монголов-халха он писал, что у них были хорошие серебряных дел мастера, работавшие на заказ [Потанин, 1881, вып. II, 106]. Г. Е. Грумм-Гржимайло на основе своих наблюдений также пришел к выводу, что производство ювелирных изделий «туземной выделки» — одно из «немногих ремесел» халхасцев [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 323].

Из бесед со стариками монголами, жившими в районе оз. Убсу-Нур и принадлежавшими к группе дэрбэтов, мне удалось выяснить, что в конце XIX—начале XX в. у северо-

западных кочевых монголов-дэрбэтов были кузнецы, делавшие по заказам жителей различных айлов отдельные железные вещи, а также ювелирные украшения из серебра; были у них и мастера, изготавливавшие на заказ решетки юрт и некоторые виды деревянной утвари. О существовании среди кочевых монголов в конце XIX — начале XX в. кузнецов-ювелиров, мастеров, работавших по дереву, мастеров-художников, занимавшихся мелкой пластикой, и др. имеются указания и в литературе [Кочешков, 1966].

Таким образом, у монголов, так же как у тувинцев, источниками поступления предметов материальной культуры были: 1) домашнее хозяйство; 2) производство ремесленников в собственной кочевой среде; 3) поступления от купцов, главным образом китайских, живших преимущественно в городах. По-видимому, у основной массы кочевых монголов в XIX — начале XX в. ремесленное производство было менее развито, чем у тувинцев. Это объясняется скорее всего тем, что многие виды изделий, которые тувинцы приобретали у «своих» ремесленников, были у монголов вытеснены продукцией оседлых китайцев, работавших в расчете на обеспечение нужд кочевого населения и успешно конкурировавших с местными монгольскими ремесленниками, продукцию которых они тем самым энергично вытесняли.

Так же как и у тувинцев, ремесленное производство у кочевых монголов было неразрывно связано с сельским хозяйством и домашним производством. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы позволяют полагать, что в XIX — начале XX в. оно характеризовалось теми же чертами, которые были отмечены выше при характеристике тувинского ремесла.

Материалы по ремесленному производству у сопредельных с тувинцами народов Саяно-Алтая в конце XIX — начале XX в. очень неполны, однако все же дают возможность для некоторых выводов.

У алтайцев выделилось из домашних производств прежде всего кузнечное ремесло, причем, по свидетельству В. В. Радлова, относящемуся к середине XIX в., алтайские кузнецы изготавливали не только удила, ножи, топоры и огнива, но даже ружья [Radloff, 1893, т. I, 293—294]. Впрочем, кузнецов было сравнительно немного, и значительную часть железных изделий алтайцы приобретали у русских купцов [Radloff, 1893, т. I, 293—294; Токарев, 1936, 120—122]. Столярные изделия у алтайцев, отмечал Радлов, также частично изготавливались ремесленниками, переезжавшими из одного стойбища в другое [Radloff, 1893, т. I, 293].

В целом, по мнению С. А. Токарева, ремесло у алтайцев, за исключением кузнечного, было развито слабо [Токарев, 1936, 120—128]. По данным П. М. Юхнева, в конце XIX в. у

алтайцев ремеслом занималось около 4% всех хозяйств [Юхнев, 1901, 17], т. е. примерно столько же, сколько и у тувинцев. Вместе с тем следует указать, что хотя общий процент хозяйств, занимавшихся ремеслом, у алтайцев и тувинцев почти одинаков, однако у тувинцев ремесленное производство в конце XIX — начале XX в. было несомненно более развито, несмотря на то что у них были более подвижные формы кочевого быта, чем у алтайцев, в том числе и южных. Это лишний раз доказывает, что меньшая развитость кочевых форм быта сама по себе не влечет расширения ремесленного производства. Так, у сагайцев и бельтиров, которые в конце XIX в. по сравнению с тувинцами и южными алтайцами кочевали значительно меньше (у них господствовал полукочевой и полуседлый быт), ремесло тем не менее было развито слабо. Ремесленники у них составляли всего около 2% всех хозяйств [Катанов, 1893, 566, 567], причем в конце XIX — начале XX в. кузнецов среди хакасов, по-видимому, было очень мало, так как о них не сообщает Н. Ф. Катанов, перечисляя специализацию ремесленников [Катанов, 1893, 566—567]. К. М. Патачаков при характеристике хакасских ремесел [Патачаков, 1958, 40] указывает, что кузнецы появились лишь во второй половине XIX в. под влиянием русских.

Роль ремесленного производства у кочевников Средней Азии в конце XIX — начале XX в. также недостаточно изучена. Ремесло и его роль у народов Средней Азии изучались преимущественно у оседлого [Пещерева, 1960, 39 и сл.], а не кочевого населения, притом главным образом с точки зрения его техники. Тем не менее из имеющихся работ можно сделать определенный вывод, что в среде кочевников Средней Азии ремесленное производство было распространено достаточно широко.

О существовании у казахов-кочевников кузнецов, работавших на заказ, писал в XVIII в. П. С. Паллас [Паллас, 1773, ч. I, 571]. В среде кочевых казахов в XIX — начале XX в. имелись ремесленники, изготавливавшие на заказ металлические изделия, утварь, решетки юрт и др. [Масанов, 1958, 31—49]. О специальных мастерах у кочевых казахов в начале XX в., производивших на заказ деревянные части юрты, сообщают и другие авторы [Руденко, 1930, 64]. Подобные мастера-ремесленники были и у кочевых киргизов; их кузнецы изготавливали топоры, ножи, сошники, а наиболее искусные даже фитильные ружья. Серебряных дел мастера делали на заказ украшения, а войлок был одним из товаров, которые кочевые киргизы меняли на привозные русские изделия [История Киргизии, 1956, т. I, 211—212]. В большинстве случаев работали на заказ киргизские мастера по дереву [Антипина, 1962, 145].

Ремесленники были и среди кочевых калмыков, в частно-

сти шорники, кузнецы, столяры, серебряных дел мастера и др. В отчете «главного попечителя калмыцкого народа» за 1872 г. отмечается, что в калмыцких улусах было 307 ремесленников и что их занятия ремеслом давали им некоторые средства к жизни [Эрдниев, 1970, 111]. Если мы обратимся к материалам, характеризующим кочевых туркмен, то, согласно данным Ф. Михайлова и статистическим сведениям конца XIX в., среди них были ремесленники, изготавливавшие седла и деревянные части юрты, а также ювелиры. Лишь в предреволюционные годы почти все эти ремесла исчезли и ремесленный характер сохраняло только изготовление женских украшений [Васильева, 1954, 116].

Существовало ремесло и у кочевых скотоводов Передней Азии. Многочисленные свидетельства наблюдателей и исследователей быта кочевников-арабов не оставляют сомнений в том, что их весьма развитые кочевые формы хозяйства отнюдь не исключали ремесла. Так, у кочевых арабов Северной Аравии в XIX—начале XX в. существовали различные виды старинных ремесел: ткачество (ткань шла не только на удовлетворение внутренних нужд семьи, но и на продажу), изготовление кожаной, деревянной и каменной утвари, седел и др. Среди бедуинских кочевых племен были и кочевые ремесленники—сунна [Burckhardt, 1831, 52—54, 196 и сл.; Musil, 1928, 124 и сл.]. На каждые 200—300 человек кочевников шамаров было три-четыре кочевых ремесленника [Першиц, 1961, 33], т. е. примерно столько же, сколько и у кочевых тувинцев в конце XIX—начале XX в. Заметим, что у кочевых арабов этнографы отмечают ряд обычаев, восходящих к традициям содержания ремесленников всей общины; однако и у арабов труд ремесленников не был отделен от сельского хозяйства и каждая семья ремесленника-кочевника имела небольшое собственное хозяйство.

Таким образом, в конце XIX—начале XX в. у всех рассмотренных нами кочевых скотоводческих народов имелось несколько различавшееся по уровню своего развития ремесленное производство, тесно связанное со скотоводством. Кочевое хозяйство не исключало ремесла, и тезис об отсутствии ремесла как признаке развитого кочевого хозяйства должен быть признан ошибочным.

Вместе с тем для всех кочевых скотоводческих народов было характерно сравнительно слабое по сравнению с оседлыми народами развитие ремесла. Кроме того, в условиях кочевого быта ремесло было неотделимо от скотоводства, это было характерной чертой на всем протяжении существования кочевых форм скотоводческого хозяйства, и поэтому ремесло у скотоводов-кочевников может быть сопоставлено с ранним этапом развития ремесленного производства у оседлых народов.

Впрочем, некоторые авторы, признавая существование ремесла у кочевников в XIX—начале XX в., отрицают это для более раннего времени. Так, Э. Масанов считает, что ремесленное производство в казахской кочевой среде появляется лишь в XIX в. под влиянием развития капиталистических отношений в России [Масанов, 1958, 31].

В исторической литературе, в особенности в последние годы, высказывалась и диаметрально противоположная точка зрения о том, что у кочевников процесс дифференциации и выделения ремесел развивался так же, как и у оседлых народов, и лишь под влиянием капиталистических отношений и конкуренции промышленных изделий ремесло у них зашироилось.

Вопрос этот представляет значительный общеисторический интерес, и на нем следует остановиться несколько подробнее.

Прежде всего обратимся к материалам, характеризующим развитие ремесла у монголов, средневековая история которых наиболее полно освещена источниками. До недавнего времени общепринятой была точка зрения о том, что у средневековых монголов не было своего ремесленного производства и что в эпоху Чингисхана и его преемников это компенсировалось захватом ремесленников в покоренных странах. Так, Б. Я. Владимирцов, характеризуя хозяйство монголов в XIII в., говорит о существовании у монголов ремесленников-рабов, вывезенных из покоренных стран, но совершенно не упоминает о ремесленниках-монголах [Владимирцов, 1934, 115, 119].

В последние годы археологами, в первую очередь С. В. Киселевым, была выдвинута иная точка зрения, согласно которой «в Центральной Азии проявлялись основные закономерности развития феодальной формации... В области дифференциации производства в Монголии также проявлялось развитие ремесел, а ремесленники, как и в других странах, были не только зависимыми от феодала, но и свободными горожанами, работавшими на рынок». Он же рассматривает возникавшие, падавшие и возрождавшиеся у них города и слободы как «центры торговли и ремесла» [ДМГ, 20].

Однако в коллективном исследовании, посвященном монгольским городам, предисловие С. В. Киселева к которому только что цитировалось, не приведено никаких доказательств того, что монгольские «города и слободы» складывались (наподобие средневековых европейских городов) как ремесленные и торговые центры в процессе той дифференциации ремесленного производства от сельского хозяйства, когда ремесленники, первоначально жившие в крестьянской среде, создавали слободы и городские поселения, где жили

как феодально-зависимые, так и свободные горожане, работавшие на рынок. Более того, один из авторов цитируемой работы, В. П. Левашова, в разделе о бусах, найденных в Каракоруме, совершенно справедливо признает, что среди каракорумских находок совершенно нет оригинальных бус, и делает предположение, что «среди пленных ремесленников (курсив мой.— С. В.), обслуживавших столицу монгольского хана, были мастера, отцы которых делали такие же бусы в городах Средней Азии, откуда образцы этих украшений проникали путем торговли вплоть до Руси» [ДМГ, 307].

Конечно, пленные ремесленники и их ближайшие потомки, находившиеся в неволе в Каракоруме, изготавливали не только бусы, но и ковали из железа хозяйственную утварь, трудились над ювелирными украшениями, делали оружие, в том числе традиционные «монгольские луки». Укажем в отношении последних, что их производство также, насколько это известно из письменных источников, находилось в Каракоруме (во всяком случае частично) в руках пленных мастеров. В этом отношении чрезвычайно показательны свидетельство «Юань-ши», где приводится биография одного из мастеров по изготовлению луков, тангута по происхождению. Его дед Сяочоу после покорения Чингисханом государства Си Ся попал в Монголию и скончался в Каракоруме. Все потомки Сяочоу занимались изготовлением луков [Юань-ши, гл. 134; см. также Кычанов, 1965, 157].

Вывод некоторых археологов о том, что в монгольском обществе уже в средние века шел общенациональный процесс выделения ремесла из сельского хозяйства, что центрами ремесла становились города и слободы, где наряду с феодально-зависимыми жили свободные горожане-ремесленники, работавшие на рынок, не находит подтверждения в фактических материалах, касающихся монгольского общества XIII—XIV вв., которое по праву получило название кочевой империи с характерной для монголов «азиатской военной системой», по выражению К. Маркса [К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 29, 154]. Именно эта военная система и обеспечила формирование ремесленных поселений из рабов, захваченных в плен на Руси, в Средней Азии, Закавказье, Крыму и других районах, ставших жертвой «татарского ига». Положение этих ремесленников, если проводить параллели с «другими странами», скорее напоминало положение рабов древности, чем феодально-зависимых ремесленников средневековой Европы.

К. Маркс указывал на необходимость в исторических исследованиях выявлять роль военной системы и армии в развитии социально-экономических отношений [К. Маркс и Ф. Энгельс, т. 29, 154], столь ярко проявившуюся в монгольской действительности эпохи Чингисхана и его преемников. Стоило этой системе ослабнуть и рухнуть, как в степях за-

хирели и исчезли кочевнические «городские поселения ремесленников», что достаточно ярко отражает различие между дифференциацией ремесленного производства и развитием городов у оседлого населения и характером ремесла у монгольских кочевников эпохи их степной империи.

Вместе с тем было бы ошибкой отрицать самую возможность существования у средневековых монголов ремесла, тесно связанного со скотоводством.

Сведения, имеющиеся в свидетельствах путешественников, выросших в среде оседлых народов и потому недостаточно знакомых со спецификой кочевнического быта, очень скупо рисуют ремесленное производство у средневековых монголов XIII—XIV вв. Сравнительно немного данных можно почерпнуть в этом отношении и из собственно монгольских, а также персидских источников. Тем не менее их анализ позволяет прийти к выводу, что у средневековых монголов, по всей вероятности, существовало не только домашнее, но и (хотя и слабо развитое) ремесленное производство.

Карпини пишет, что мужчины у «татар» ничего не делали, за исключением стрел [Карпини, 1957, 36]. Однако у Рубрука мы находим свидетельство о том, что татарские мужчины изготавливали также стремена, уздечки, седла, дома и повозки [Рубрук, 1957, 110]. Не объясняется ли это расхождение между Карпини и Рубруком тем, что стрелы делались каждым мужчиной в условиях домашнего производства, а седла, стремена, уздечки, повозки — отдельными мастерами-специалистами? Ни Карпини, ни Рубрук не упоминают кузнечного производства в занятиях мужчин, но на основании других источников можно сделать вывод, что оно было известно в монгольской кочевой среде.

По-видимому, в кочевых аилах средневековых монголов были как кузнецы, перевозившие свое громоздкое оборудование на повозках и работавшие во время более или менее длительных стоянок, так и кузнецы, переносившие с собой свой небольшой кузнечный инструмент из одного кочевого стойбища в другое, где они выполняли небольшие заказы, подобно тому как это делали, по описанию Радлова, некоторые столыры на Алтае много веков спустя [Radloff, 1893, т. I, 293]. В «Сокровенном сказании» упоминается, видимо, такой кузнец Чжардчиудай-Евген, пришедший в аил новорожденного Чингисхана «с кузнечным мехом за плечами» [С. ск., § 211].

Кузнецы делали железные наконечники стрел, части телег и различные орудия труда. В «Сокровенном сказании» упоминается, что в 1207 г., при завоевании лесных народов Саяно-Алтая, монголы, пробиваясь к туматскому племени, расчищали себе путь в тайге топорами, тесаками, долотами и пилами. В это время еще не было созданных монголами ремесленных поселений из зависимого населения, и указанные орудия, по

всей вероятности, изготавливались в монгольской кочевой среде. Можно полагать, что, как много позднее у тувинцев, у средневековых кочевых монголов эти орудия делали не в каждом хозяйстве, а отдельные специалисты-кустари.

По-видимому, специалисты-ремесленники делали также повозки (или их части) и участвовали в сооружении жилищ. Китайский путешественник Сюй Тин отмечал, что монголы имеют жилища двух типов — изготовленные в Яньцзине (видимо, речь идет об изделиях городских китайских ремесленников) и сделанные в степях, очевидно, самими монголами. Как указывал Сюй Тин, эти жилища перевозились на повозках [КСОТ, 138—139], конструкция которых, как известно, включала массивные железные втулки.

Таким образом, можно сделать вывод, что одежда, утварь, предметы быта, оружие и орудия труда, которыми пользовались средневековые монголы, также поступали к ним в основном из трех источников. Основным было домашнее хозяйство, в котором обрабатывались шкуры, шилась одежда и обувь, вырабатывались стрелы, катался войлок и т. д. Какая-то часть необходимой продукции производилась местными специалистами-мастерами, в числе которых, несомненно, были кузнецы и, вероятно, столяры. Наконец, значительная часть использовавшихся монголами изделий производилась вне кочевой среды ремесленниками оседлых народов. Эти изделия кочевники-монголы первоначально получали главным образом путем обмена или захватов, а впоследствии и путем создания поселений из захваченных в плен ремесленников-чужестранцев. Среди товаров, производившихся в этих поселениях, были ткани, металлические изделия, украшения, утварь и др. Изделия, найденные в ходе археологического изучения Каракорума, дают об этом достаточно яркое представление [ДМГ, 188—296].

По-видимому, ремесло, тесно связанное со скотоводством, существовало в средневековую эпоху и у других кочевых скотоводческих народов Евразии, в том числе у кочевников Восточной Европы — печенегов, торков, половцев и др., хотя характер их ремесленного производства и не нашел отражения в письменных источниках. Исследовавший их археологические памятники Г. А. Федоров-Давыдов приходит к выводу о том, что у печенегов, торков и половцев в X—XIV вв. почти полностью отсутствовало ремесло, и видит в этом признак развитого кочевого быта населения степей [Федоров-Давыдов, 1966, 195—196], однако вывод об отсутствии у них ремесла, на наш взгляд, безусловно нуждается в дополнительных доказательствах.

Из каких источников, если не из мастерских местных ремесленников, поступали в кочевническую среду многочисленные характерные именно для кочевников уздечки и пояс-

ные наборы, украшения и некоторые другие изделия, требовавшие несомненно труда специалистов-кузнецов и ювелиров? Конечно, какая-то часть этих изделий изготавливалась в условиях домашнего хозяйства, а часть, возможно, в городах. Однако более чем вероятно, что среди предметов, характеризующих материальную культуру кочевников восточноевропейских степей X—XV вв., были и изделия ремесленников из собственно кочевнической среды. Наличие ремесла в его неразвитом, связанном со скотоводством и характерном для кочевников виде отнюдь не противоречит подвижному образу жизни кочевников восточноевропейских степей. Тувинские этнографические материалы, приведенные выше, показывают, что выделившееся из домашнего хозяйства ремесленное производство, пусть даже недостаточно развитое и тесно связанное со скотоводством, вполне возможно и в условиях кочевого быта.

Однако нельзя не согласиться с тем, что города средневековых кочевников Восточной Европы — Сарай, Новый Сарай, Маджар и др. — выросли не в результате развития ремесла и торговли в кочевнической среде и были лишены местных традиций и корней. Половцы получили оседлую городскую культуру из рук согнанных ханами в степи Нижнего Поволжья пленных среднеазиатских, крымских, русских и других ремесленников, причем знакомство с культурой оседлого населения городов показывает ее резкое отличие от степной кочевнической культуры [Федоров-Давыдов, 1966, 210].

Таким образом, как в монгольских степях, так и в степях Восточной Европы создание городов не было и не могло быть результатом внутреннего развития ремесла и торговли в кочевнической среде.

Ремесло, выделившееся из домашнего производства, может быть выявлено у кочевников на всем протяжении их истории и существовало уже у ранних кочевников. Нельзя не согласиться с С. А. Токаревым, который отмечал, что тщательно выполненные и искусные изделия местных алтайских племен, найденные в скифских погребениях в долине Улаган, свидетельствуют о существовании у этих племен ремесла [Токарев, 1936, 125].

Дифференциация домашнего производства внутри кочевых общин и выделение ремесла было вызвано прежде всего потребностями кочевого общества, которое далеко не всегда могло получить потребную для него продукцию путем обмена с соседними оседлыми народами или в результате присвоения этой продукции военным путем (сюда следует отнести, пожалуй, и такую своеобразную форму присвоения, как вывоз не только продуктов ремесла, но и самих ремесленников, обращенных в пленников). Отсюда следует и такой, казалось бы, парадоксальный вывод, что у тех кочевых на-

родов, которые были оторваны от ремесленного производства оседлых земледельцев и не имели на своих территориях вывезенных пленных ремесленников, работавших на них, ремесло в кочевой среде получало сравнительно большее развитие. Там же, где имела регулярная связь с оседлыми земледельческими народами или перешедшими к оседлости этнически родственными группами кочевников и существовала постоянная возможность получать продукцию их ремесла на основе общественного разделения труда, ремесло в собственно кочевнической среде имело значительно меньшее развитие. К числу факторов, определявших развитие ремесла в обществах кочевников, связь которых с оседлыми земледельцами и ремесленниками испытывала трудности и нарушалась, следует отнести уровень социальной дифференциации и степень выделения богатой верхушки, нуждавшейся в высококачественных изделиях ремесленников.

Особенности исторического развития кочевых обществ Центральной Азии и Южной Сибири привели к неравномерному развитию у них ремесел. В частности, у тувинцев в условиях относительной изоляции их от культурных центров и значительного выделения богатой верхушки, заинтересованной в приобретении высококачественной продукции, ремесло в XIX—начале XX в. получило большее развитие по сравнению с кочевыми народами, жившими на сопредельных территориях.

Известно, что кузнечество выделилось из общехозяйственных занятий очень рано и что в Минусинской котловине был один из древних центров металлургии в Сибири. Однако исследователи конца XIX—начала XX в., характеризующие ремесло жителей этого района — хакасов, не упоминают кузнецов [Катанов, 1893, 566—567; Патачаков, 1958, 35—40]. Между тем у тувинцев в это время кузнечное ремесло имело сравнительно высокое развитие. Чем это можно объяснить? Прежде всего тем, что хакасы после присоединения к России в начале XVIII в. получили возможность приобретать более совершенные и дешевые кузнечные изделия у русских купцов и мастеров-переселенцев, основная же масса тувинских аратов по крайней мере до середины XIX в. была очень ограничена в возможности приобретения импортных изделий, в том числе кузнечных.

Именно этим обстоятельством можно, на наш взгляд, объяснить столь парадоксальное, но в известной мере верное утверждение известного путешественника и знатока быта и культуры народов Средней и Центральной Азии, что у тувинцев ремесло было развито в большей мере, чем у многих кочевников Средней Азии [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 84].

В литературе можно встретить утверждение, что отсталость хозяйства охотников-оленьеводов Восточной Тувы ярко от-

ражалась в отсутствии у них даже кузнецов. Последнее, как отмечалось выше, действительно справедливо для конца XIX—начала XX в. (в прошлом, судя по сохранившимся преданиям, кузнецы у них были). Однако это обстоятельство объясняется, на наш взгляд, не тем, что в трудных условиях кочевого быта и отсталости хозяйства охотники-оленьеводы не могли иметь своих кузнецов, а тем, что, находясь в постоянных контактах с соседним скотоводческим населением Тувы и Бурятии, а также с приезжавшими в Тоджу купцами, нуждавшимися в приобретении мехов, они постоянно имели возможность обменивать меха на необходимые им кузнечные изделия, т. е. отсутствовала надобность в собственном кузнечном производстве в условиях пушной специализации хозяйства тоджинцев и широко практиковавшегося обмена. О том, что само по себе таежное кочевое охотничье-оленьеводческое хозяйство не исключает существования кузнецов, свидетельствуют этнографические материалы, характеризующие эвенков, основная масса которых жила в относительной изоляции от источников поступления необходимых им кузнечных изделий. У эвенков в XVIII в. были кузнецы; они умели добывать и плавить железную руду, а у кочевых охотников-оленьеводов среди кузнецов, работавших на заказ в конце XIX—начале XX в., были великолепные мастера своего дела [Василевич, 1969, 91—92]. Итак, кочевое общество не могло существовать без продуктов ремесленного производства. Оно всегда получало их в основном двумя путями: во-первых, в результате производства таковых в кочевом хозяйстве, во-вторых, путем обмена с оседлыми народами (последнее дополняли или заменяли грабительские захваты продуктов ремесла или самих производителей). Степень соотношения этих двух форм менялась в различные исторические эпохи, но они всегда имели место.

Судя по материалам, характеризующим хозяйство кочевых скотоводов Центральной и Средней Азии и Южной Сибири, у всех них в той или иной мере существовало ремесленное производство, которое отнюдь не могло полностью заменить продукцию ремесла, «импортировавшегося» из других районов. Последнее также не могло заменить ремесла местных производителей даже в условиях очень тесных контактов с оседлыми цивилизациями, как это, например, имело место у гуннов.

В условиях кочевого хозяйства был невозможен полный отрыв ремесла от скотоводства без изменения форм быта и перехода ремесленников на оседлость. Этот переход в свою очередь мог иметь место лишь в условиях, когда переходила на оседлость и часть сельскохозяйственного населения, что было обусловлено иными факторами (прежде всего, занятием земледелием) и с развитием ремесла непосредственно не

было связано. Все это в значительной мере определяло специфику ремесла у кочевников. Поэтому создание ремесленных центров у кочевых народов Центральной Азии и Южной Сибири в отдельные исторические эпохи не являлось следствием развития у них ремесла и отделения его от сельского хозяйства в недрах одного социально-экономического организма (как это имело место у оседлых земледельческих народов), а было связано, например в монгольскую эпоху, с насильственным переселением захваченных ремесленников для обслуживания главным образом верхушки кочевого общества.

В силу изложенных причин у тех народов, которые находились в кочевом или полукочевом состоянии, не мог произойти до конца отрыв ремесла от скотоводства, а следовательно, и завершиться важнейший процесс общественного разделения труда — отделение ремесла от сельского хозяйства, и это являлось одной из основных причин, предопределявших господство в их обществе патриархального уклада. Эта связь была выявлена еще В. И. Лениным, который, характеризуя экономические отношения в России в первое время после революции, выделил в ней пять укладов, в том числе патриархальное хозяйство, разъяснив, что «это когда крестьянское хозяйство работает только на себя или если находится в состоянии кочевом или полукочевом» [В. И. Ленин, т. 43, 158].

Здесь мы вплотную подошли к анализу развития общественных отношений у степных и таежных кочевников Тувы и сопредельных районов Азии, что является предметом специального исследования¹.

* * *

Рассмотренные нами формы кочевого хозяйства тувинцев стали достоянием истории. Разумеется, наиболее ценные достижения традиционного хозяйства, связанные с народными знаниями, накопленными в скотоводстве, охотничьем промысле и ремесле, сохраняют свое значение и успешно используются в отгонном животноводстве, охоте, художественных промыслах. Жизненный уклад тувинцев ныне совершенно не похож на тот, который можно было наблюдать в сравнительно недавнем прошлом. Советская Тува — республика крупного коллективизированного сельского хозяйства и современной индустрии. Перешедшие на оседлость бывшие араты-кочевники успешно строят новые города и поселки, промышленные и сельскохозяйственные предприятия, быстрыми темпами развивают социалистическую экономику и культуру. Большие успехи в хозяйстве и культуре современной Тувы могли быть достигнуты в очень короткий исторический срок только благо-

даря вхождению Тувы в 1944 г. в братский Союз Советских Социалистических Республик и огромной помощи, оказанной тувинцам всеми народами нашей страны. «Только за четверть века в Туве, где до революции господствовали патриархальщина и полудикость (этими четкими словами охарактеризовал В. И. Ленин состояние окраин старой России) создана и успешно развивается вширь и вглубь социалистическая культура тувинского народа» [Тока, 1970, 13].

Закljučая книгу, необходимо подчеркнуть, что опыт построения социализма в Туве, как и в других республиках Советского Востока, опыт весьма успешного перехода от кочевых форм хозяйства к оседлости, имеет общен историческое значение и особенно важен для народов, поныне сохраняющих кочевое хозяйство и социально-экономические условия во многом близкие тем, которые характеризовали Туву в дореволюционном прошлом.

ПРИМЕЧАНИЯ

Глава I

¹ Казылганской (или уюкской) культурой называется культура племен Тувы VII—III вв. до н. э.

² Сыынчюрская (или шурмакская) культура была характерна для местных племен Тувы со II в. до н. э. по V в. н. э.

³ У степных пастушеских племен эпохи бронзы, в том числе у населения горно-степных районов Тувы, поголовье крупного рогатого скота, вероятно, преобладало над мелким [М. П. Грязнов, 1957].

⁴ Единичные экземпляры этих животных, в частности верблюды, иногда попадали в Восточную Туву. По переписи 1931 г., в Тодже значится один верблюд.

⁵ В опубликованных материалах ТСДП, к сожалению, не указаны способы исчисления скота в переводе в крупный. По сведениям, полученным мною от Х. М. Сейфулина, участника указанной переписи, перевод скота в крупный производился на основе сложившихся еще до революции критериев перевода численности скота в хозяйстве в податную единицу *бодо*. По имеющимся у меня данным, одному бодо соответствовали годовалый бычок, корова, сарлык, лошадь. Верблюд оценивался в два бодо; десять овец или двадцать коз считались за одно бодо. Молодняк при исчислении скота в переводе в крупный не учитывался.

⁶ Позволю себе заметить, что указанное Ф. Я. Коном хозяйство трудно признать средним. Оно несомненно богатое, поэтому мы говорим о нем как о среднем байском хозяйстве. Материалы переписей и обследований свидетельствуют о том, что в начале XX в. свыше 80% тувинских хозяйств имели меньшее количество скота, чем то, которое указывает Кон.

⁷ В литературе встречается утверждение, что аркан заканчивался пряжкой для продевания в нее ремня, чтобы получить легко затягивающуюся петлю, набрасываемую на шею животного [Потапов, 1969, 95]; однако это указание основано на недоразумении.

⁸ К крупному рогатому скоту относятся также домашние яки (сарлыки), но мы сочли более целесообразным охарактеризовать их в отдельном разделе (см. ниже).

⁹ Г. Е. Грумм-Гржимайло пишет, что преобладающая масть сарлыков у дэрбэтов, тувинцев и алтайцев — серая, в то время как в Халхе — темно-бурая и черная [Грумм-Гржимайло, 1926, т. III, 362]; однако в описании тувинцев здесь допущена ошибка. Она весьма вероятна, поскольку исследователь признает, что сам яков у тувинцев не видел [там же, 71, прим. 2].

¹⁰ Хотелось бы отметить ошибку Менхен-Хелфена [Mänchen-Helfen, 1931, 56], который писал, что для зимников тувинцы ищут лишь закрытое от ветра место, между тем главное при выборе зимника у всех кочевников, в том числе тувинцев, — обеспеченность его удобными для скота пастбищами.

¹¹ Нельзя не отметить, к сожалению, что в этой работе, насыщенной цифрами и специально посвященной кочевому аилу, ни разу не приведены сведения о численном составе входивших в него хозяйств.

¹ В настоящее время эта группа обурятилась. Однако еще в 30-е годы здесь было оленеводство саянского типа.

² А. Я. Тугаринов пишет о том, что «щеки к оленьей узде (делались. — С. В.) из кости оленьего рога» [Тугаринов, 1926, 77]. Существование таких «щек», характерных для оленеводов тундры, знакомых с упряжным оленеводством, мои информаторы решительно отрицали. Вероятно, Тугаринов имел в виду недоуздки-намордники для оленят. Любопытная параллель этой конструкции оленьего намордника имеется в собачьих вертлюгах у иганасан [Попов, 1948, рис. 236]. Нужно заметить, что подобные вертлюги известны уже в устьеполуйской культуре [Мошинская, 1953, табл. VI].

³ Этот признак лопарского типа относится только к одной из скандинавских групп; другие группы лопарей-скольтов (кольские и финские) оленей не доят.

⁴ Фонды МАЭ, колл. № 3871—9; Г. Н. Прокофьев, доставивший это седло, отмечает, что оно кладется на середину спины, как в саянском оленеводстве, в отличие от тунгусского.

⁵ Большинство исследователей (Б. Лауфер, Г. Хатт, А. Н. Максимов и др.) считают доение оленей сравнительно поздним явлением. Это так; однако у саянских оленеводов, судя по приведенному выше свидетельству «Юань-ши», доение оленей предшествовали возникновению верхового оленеводства и развилось, по-видимому, в процессе освоения самодийского оленеводства тюрками.

⁶ Доклад не был опубликован. Карту же со ссылкой на Вавилова привел С. Н. Боголюбовский в статье «О путях к овладению эволюцией домашних животных», вошедшей в сборник «Проблемы происхождения, эволюции и породообразования домашних животных», т. I, М.—Л., 1940, одним из редакторов которого был Н. И. Вавилов.

⁷ Нельзя признать удачным предложенный в «Историко-этнографическом атласе Сибири» [ИЭАС, 24] термин «олeneводство сибирского типа», которым обозначают выючно-верховое оленеводство главным образом тунгусских народов. Это название неверно и может ввести в заблуждение, поскольку саянское оленеводство по географическому признаку также является сибирским. М. Г. Левин и Г. М. Василевич употребляют термин «забайкальский тип», но и он не точен, так как обозначаемое им оленеводство охватывает значительно большую территорию (от Енисея на западе до Охотского побережья на востоке). Тунгусским этот тип оленеводства также можно назвать лишь условно, так как он известен не только у эвенков и негидальцев, но и у некоторых групп якутов, долган. Однако поскольку именно с тунгусскими народами связано развитие и распространение оленеводства этого типа, название «тунгусский» мы считаем более правильным.

⁸ С. И. Руденко считал это седло выючным, но нам представляется, что оно все же было верховым.

⁹ Простой недоуздок, состоящий из завязывающихся за рогами оленя ремешков и поводка, применяют ныне все оленеводы Евразии для выючно-верховой упряжи. Ряд народов используют этот недоуздок для упряжки ездовых и грузовых нарт (чукчи, коряки, юкагиры, эвены, часть эвенков). Подобная упряжь грузовых нарт встречается у всех самодийских народов. Ненцы, энцы, иганасаны, кеты и другие используют для передовых, частично для пристяжных, оленей недоуздки той же конструкции, но обороть составлена из ремешков и костяных пластин.

¹⁰ Эти очень своеобразные сосуды имели коническую форму, пришивное выступающее дно и цилиндрическую крышку с выступающим верхом. У саянских оленеводов [см.: С. И. Вайнштейн, 1961, 93, рис. 78-в] и эвенков [ГМЭ, колл. № 911—7 и др.] они имеют почти полное конструктивное сходство даже в деталях, что исключает их конвергентное развитие.

¹¹ Ср. с сообщением в «Тайпинхуаньюйдзи», где говорится: «...заставляли оленей тащить повозки» [Кюннер, 1961, 51] Г. М. Василевич

относит расселение этого народа к верховьям Олекмы, но такой вывод ничем не обоснован, кроме ссылки на Н. В. Кюнера, который в своих работах такой локализации не дает, ограничиваясь указанием на Северное Забайкалье. Следует также указать на совершенно необоснованную попытку венгерского исследователя П. Хайду [Хайду, 1953, примеч. 125] отнести упомянутое ниже сообщение буддийского монаха о народе, дошедшем оленей уже в конце V в., к тунгусам Прибайкалья.

¹² В. С. Бурдов совершенно неосновательно пытается оспаривать вывод В. М. Мошинской о том, что в Усть-Полуе найдены детали уздечки оленя-манщика [Бурдов, 1963, 237].

¹³ Во время экспедиции к тофаларам в 1967 г. мне удалось установить, что у них сохраняются воспоминания о применявшейся в прошлом ручной нарте, возможно корытообразной.

¹⁴ Есть сведения, что еще в XVII—XVIII вв. часть ненцев населяла лесные районы европейского Севера [Лепехин, 1805, 242 и сл.].

Глава III

¹ Находка относится к так называемой курганной культуре Японин (IV—VII вв.), в пределах которой периодизация отдельных археологических комплексов остается недостаточно разработанной (устная консультация С. А. Арутюнова).

² Монгольские и бурятские седла, просмотренные мною в фондах МАЭ и Бурятского республиканского музея в Улан-Удэ, не отличались сколько-нибудь существенно от тувинских. Вместе с тем следует отметить, что у монголов и бурят в отличие от тувинцев, у которых известен только один тип седла (им пользуются мужчины, женщины и дети), встречалось несколько разновидностей седел. У монголов, по сведениям Б. Я. Владимирцова [Владимирцов, 1910, 347], седла дэрбэтов имеют особенности, не характерные для общемонгольского типа седел. У них, в частности, гораздо выше передняя лука, круче задняя.

³ Б. К. Шишкин ошибочно называет бурундуком палочку, вставляющуюся в нос волю [Шишкин, 1914, 134].

Глава V

¹ Наиболее полные сведения об орудиях охоты и рыболовства в Западной Туве были получены мною от одного из старейших и лучших охотников в Туве — Монгуша Боро-хоо, жителя пос. Хөндергей.

Глава VI

¹ Вопросы общественных отношений у кочевников Тувы, как отмечалось выше, рассматривались в ряде работ. Эта тема была предметом исследования в моей докторской диссертации «Происхождение и историческая этнография тувинского народа» [Вайнштейн, 1969б]. В настоящее время мною ведется подготовка к печати монографии, содержащей соответствующие разделы диссертации.

ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Маркс К., Письмо Ф. Энгельсу 2 июня 1853 г.,— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 28.
- Маркс К., Письмо Ф. Энгельсу 25 сентября 1857 г.,— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 29.
- Энгельс Ф., Происхождение семьи, частной собственности и государства,— К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, изд. 2, т. 21.
- Ленин В. И., Развитие капитализма в России,— Полное собрание сочинений, т. 3.
- Ленин В. И., Доклад о продовольственном налоге на собрании секретарей и ответственных представителей ячеек РКП(б) г. Москвы и Московской губернии 9 апреля 1921 г.,— Полное собрание сочинений, т. 43.
- Абрамзон С. М., 1950, Этногенетические связи киргизов с народами Алтая, М.
- Абрамзон С. М., 1963, Киргизы,— «Народы Средней Азии и Казахстана», НМ, т. II, М.
- Аверкиева Ю. П., 1970, Индейское кочевое общество XVIII—XIX вв., М.
- Адрианов А. В., 1882, Сойоты и русская торговля,— «Восточное обозрение», № 21.
- Адрианов А. В., 1888, Путешествие на Алтай и за Саяны, совершенное в 1881 г. по поручению РГО,— «Записки РГО по общей географии», т. XI, СПб.
- Адрианов А. В., 1904, Предварительные сведения о собирании писаниц в Минусинском крае летом 1904 г.,— «Известия Русского комитета для изучения Средней и Восточной Азии в историческом, археологическом, лингвистическом и этнографическом отношениях», № 4.
- Аксенов А. Н., 1964, Тувинская народная музыка, М.
- Акты исторические, 1842, т. V, 1667—1700, СПб.
- Алексеев Е. А., 1967, Кеты, Л.
- Адрианов Б. В., 1963, Хозяйственно-культурные типы Средней Азии и Казахстана,— «Народы Средней Азии и Казахстана», НМ, т. I, М.
- Адрианов Б. В., 1968, Хозяйственно-культурные типы и исторический процесс,— СЭ, № 2.
- Адрианов Б. В., 1969, Древние оросительные системы Приуралья, М.
- Антипина К. И., 1962, Особенности материальной культуры и прикладного искусства южных киргизов, Фрунзе.
- Антропова В. В., 1953, Лыжи народов Сибири,— сб. МАЭ, т. 14.
- Аранчин Ю. Л., 1956, Национально-освободительное движение тувинского народа 1911—1912 гг.,— УЗ ТНИИЯЛИ, вып. III.
- Аргунов П. А., 1892, Очерки сельского хозяйства в Минусинском крае и объяснительный каталог сельскохозяйственного отдела Минусинского музея, Казань.
- Аристэ П. А., 1956, Формирование прибалтийских языков и древнейший

- период их развития.— «Вопросы этнической истории эстонского народа», Таллин.
- Африканов А. М., 1890, Урянхайская земля и ее обитатели.— «Известия ВСОРО», т. 21, к. 5.
- Бадамхатан С., 1962, Хубсугульские цагааны.— «Studia ethnographica», t. 2, fasc. 1, Улан-Батор (на монг. яз.).
- Бадамхатан С., 1965, Ховсголийн дархат ястан (Хубсугульские дархаты), Улан-Батор (на монг. яз.).
- Бадамхатан С., 1967, Дархаты (автореф. канд. дисс.), М.
- Банников А. Г., 1954, Млекопитающие Монгольской Народной Республики, М.
- Бартольд В. В., 1968, Связь общественного быта с хозяйственным укладом у турок и монголов.— Сочинения, т. V, М.
- Беннигсен А., 1913, Русское дело в Урянхайском крае.— «Известия общества востоковедения», СПб.
- Бернштам А. Н., 1940, Кенкольский могильник, Л.
- Бернштам А. Н., 1951, Очерк истории гуннов, Л.
- Библиотека иностранных писателей о России, 1836, т. 1, СПб.
- Бичурин Н. Я. [Иакинф], 1950, Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена, т. 1, II, М.—Л.
- Богатырев Н., 1908, Об ореховом и зверевом промыслах кумандинских инородцев Бийского уезда.— «Алтайский сборник», т. IX, Барнаул.
- Боголюбский С. И., 1956, Происхождение верблюдов, М.
- Богораз В. Г., 1901, Очерк материального быта оленных чукчей, составленный на основании коллекций Н. Л. Гондатти.— сб. МАЭ, т. 1, вып. 2.
- Богораз В. Г., 1927, Древние переселения народов северной Евразии и Америки.— сб. МАЭ, VI, Л.
- Богораз-Тан В. Г., 1928, Распространение культуры на земле, М.
- Будагов Л. З., 1871, Сравнительный словарь турецко-татарских наречий, т. 1—II, СПб.
- Бурдов В. С., 1965, О носителях древней приморской культуры на полуострове Ямал.— СА, № 2.
- Бурдуков Н., 1898, Доклад Министру земледелия и государственных имуществ чиновника особых поручений по командировке в Большедербетовский улус Ставропольской губернии осенью 1898 г., СПб.
- Бурковский А. Ф., 1958, Из истории техники металлического производства у киргизов.— «Ученые записки исторического факультета Киргизского государственного университета», вып. 5, Фрунзе.
- Бюлер Ф., 1846, Кочующие и оседло живущие в Астраханской губернии инородцы.— «Отечественные записки», т. 47, СПб.
- Вавилов Н. И., 1959, 1960, Избранные труды, т. 1—II, М.—Л.
- Вавилов Н. И., 1967, Избранные произведения в двух томах, т. 1—II, М.—Л.
- Вайнштейн С. И., 1954а, Археологические раскопки в Туве в 1953 г.— УЗ ТНИИЯЛИ, вып. 2, Кызыл.
- Вайнштейн С. И., 1954б, Этнографическая экспедиция тувинского музея в Юго-Восточную Туву.— СЭ, № 2.
- Вайнштейн С. И., 1954в, Чум подкаменнотунгусских кетов.— КСИЭ, XXI.
- Вайнштейн С. И., 1955, Памятники скифского времени в Западной Туве.— УЗ ТНИИЯЛИ, вып. 3, Кызыл.
- Вайнштейн С. И., 1956а, Археологические раскопки в Туве в 1955 году.— УЗ ТНИИЯЛИ, вып. 4, Кызыл.
- Вайнштейн С. И., 1956б, Народные способы металлического литья у тувинцев.— СЭ, № 4.
- Вайнштейн С. И., 1956в, Тувинцы Тоджи (автореф. канд. дисс.). М.—Л.
- Вайнштейн С. И., 1957, Очерк этногенеза тувинцев.— УЗ ТНИИЯЛИ, вып. 5, Кызыл.
- Вайнштейн С. И., 1958, Некоторые итоги работ археологической экспедиции Тувинского НИИЯЛИ в 1956—1957 гг.— УЗ ТНИИЯЛИ, вып. 6, Кызыл.
- Вайнштейн С. И., 1959а, Средневековые оседлые поселения и оборонительные сооружения в Туве.— УЗ ТНИИЯЛИ, вып. 7, Кызыл.
- Вайнштейн С. И., 1959б, Род и кочевая община у восточных тувинцев.— СЭ, № 6.
- Вайнштейн С. И., 1960, К вопросу о саянском типе оленеводства и его возникновении.— КСИЭ, XXXIV.
- Вайнштейн С. И., 1961, Тувинцы-тоджины, М.
- Вайнштейн С. И., 1964а, Тува в период разложения первобытнообщинного строя.— «История Тувы», т. 1, М.
- Вайнштейн С. И., 1964б, Тува в эпоху первобытнообщинного строя.— «История Тувы», т. 1, М.
- Вайнштейн С. И., 1964в, Древний Пор-Бажин.— СЭ, № 6.
- Вайнштейн С. И., 1965, Феликс Яковлевич Кон как этнограф.— «Очерки истории русской этнографии, антропологии и фольклористики», т. III, М.
- Вайнштейн С. И., 1966а, Памятники казылганской культуры.— ТТКЭАН, т. II, М.—Л.
- Вайнштейн С. И., 1966б, Памятники второй половины первого тысячелетия в Западной Туве.— ТТКЭАН, т. II, М.—Л.
- Вайнштейн С. И., 1966в, Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры (в связи с археологическими исследованиями в Туве).— СЭ, № 3.
- Вайнштейн С. И., 1968а, Родовая структура и патронимическая организация у тофаларов (до начала XX века).— СЭ, № 3, М.
- Вайнштейн С. И., 1968б, Краткая история этнографического изучения тувинцев.— «Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии», М.
- Вайнштейн С. И., 1968в, Этнографические исследования Н. Ф. Катанова у тувинцев и других тюркоязычных народов.— «Очерки истории русской этнографии, антропологии и фольклористики», т. IV, М.
- Вайнштейн С. И., 1969а, Личное имя, термины родства и прозвища у тувинцев.— «Ономастика», М.
- Вайнштейн С. И., 1969б, Происхождение и историческая этнография тувинского народа. Рукопись докторской диссертации (Всесоюзная библиотека им. В. И. Ленина).
- Вайнштейн С. И., 1969в, Происхождение и историческая этнография тувинского народа (автореф. докт. дисс.), М.
- Вайнштейн С. И., 1970а, Проблема происхождения оленеводства в Евразии (1. Саянский очаг одомашнивания оленя).— СЭ, № 6.
- Вайнштейн С. И., 1970б, Раскопки могильника Кокэль в 1962 г. (погребения казылганской и сынычюрекской культур).— ТТКЭАН, т. III.
- Вайнштейн С. И., 1971а, Проблема происхождения оленеводства в Евразии (2. Роль Саянского очага в распространении оленеводства в Евразии).— СЭ, № 5.
- Вайнштейн С. И., 1971б, Вопросы этнической истории и этнографии тувинского народа.— УЗ ТНИИЯЛИ, Кызыл.
- Вайнштейн С. И., 1971в, Проблема формирования хозяйственно-культурного типа кочевых скотоводов умеренного пояса Евразии.— «Тезисы докладов. Всесоюзная научная сессия, посвященная итогам полевых археологических и этнографических исследований», Тбилиси.
- Вайнштейн С. И., Долгих Б. О., 1963, К этнической истории хакасов (бельтирский шаманский бубен с изображением оленей).— СЭ, № 2.
- Вайнштейн С. И., Дьяконова В. П., 1966, Памятники в могильнике Кокэль конца I тысячелетия до н. э.— первых веков н. э.— ТТКЭАН, т. II, М.—Л.
- Вайнштейн С. И., Остроухов Г. А., 1969, Дневник путешествия

А. М. Остроухова к прикосогольским тувинцам в 1903 г.,— СЭ, № 6.

Валиханов Ч. Ч., 1904, Сочинения,— «Записки РГО по отделению этнографии», т. XXIX, СПб.

Валиханов Ч. Ч., 1961—1968, Собрание сочинений, т. I—IV, Алма-Ата.

Ван Юй-цин, 1966, Предварительное сообщение о раскопках погребения Ли Хэ (династия Суй) в провинции Шэньси,— «Ванью», № 1, (на кит. яз.).

Василевич Г. М., 1964, Типы оленеводства у тунгусоязычных народов, М.

Василевич Г. М., 1969, Эвенки, Л.

Василевич Г. М. и Левин М. Г., 1951, Типы оленеводства и их происхождение,— СЭ, № 1.

Василевич Г. М., Левин М. Г., 1961, Олений транспорт,— ИЭАС, М.—Л.

Васильев В. Д., 1859, История и древности Восточной части Средней Азии от X до XIII века с приложением китайских известий о киданях, чжуржитах и монголо-татарах,— «Труды Восточного отдела археологического общества», ч. IV, СПб.

Васильев В. И., 1962, Система оленеводства лесных энцев и ее происхождение,— КСИЭ, вып. 37.

Васильева Г. П., 1954, Туркмены-нохурли (историко-этнографический очерк),— ТИЭ, т. XXI, М.

Вербицкий В., 1884, Словарь алтайского и аладагского наречий тюркского языка, Казань.

Вербов Г. Д., 1936, Лесные ненцы,— СЭ, № 2.

Веселков Н. Ф., 1871а, Зарождение нашей торговли с западной стороной Китая со стороны Минусинского округа Енисейской губернии,— «О средствах к устранению экономических и финансовых затруднений в России», вып. 1, СПб.

Веселков Н. Ф., 1871б, Урянхи и географические сведения о южной границе Минусинского округа,— ИРГО, т. VII, № 2.

Веселков Н. Ф., 1872, Поездка в землю урянхов,— «Отчет РГО за 1871 год», СПб.

Вилинбахов В. Б., Холмовская Т. Н., 1960, Огневое оружие средневекового Китая,— «Из истории науки и техники в странах Востока», М.

Владимирцов Б. Я., 1910, Поездка к Кобдоским дэрбэтам летом 1908 г.,— ИРГО, т. XLVI.

Владимирцов Б. Я., 1928, Сравнительная грамматика монгольского письменного языка и халхаского наречия, Л.

Владимирцов Б. Я., 1934, Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм, Л.

Волков В. В., 1967, Бронзовый и ранний железный век Монголии, Улан-Батор.

Востров В. В., 1956, Казахи Джаныбекского района Западно-Казахстанской области (Историко-этнографический очерк),— «Труды Института истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР», т. 3, Алма-Ата.

Вяткина К. В., 1960, Монголы Монгольской Народной Республики,— ТИЭ, новая серия, т. LX, М.—Л.

Гаврилова А. А., 1965, Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен, М.—Л.

Гайдук А. А., 1911, Сыродутное производство в Якутском округе,— «Журнал русского металлургического общества», СПб.

Гаочанская керамика, 1934, Пекин (на кит. яз.).

Георги И. Г., 1799, Описание всех в Российском государстве обитающих народов, также их житейских обрядов, вер, обыкновений, жилищ, одежд и прочих достопамятностей, ч. I—III, СПб.

Геродот, История в девяти книгах.

Гиппократ, О воздухе, водах и местностях.

Гоголев З. В., 1958, Раскопки якутских могил XVII в.,— ТЯФ, вып. I (VIII), Якутск.

Грач А. Д., 1957, Петроглифы Тувы. I,— «сб. МАЭ», XVII, М.—Л.

Грач А. Д., 1958, Петроглифы Тувы. II,— «сб. МАЭ», т. XVIII, М.—Л.

Грач А. Д., 1960а, Археологические раскопки в Монгун-Тайге и исследования в Центральной Туве,— ТТКЭАН, т. I, М.—Л.

Грач А. Д., 1960б, Археологические исследования в Кара-Холе и Монгун-Тайге (полевой сезон 1958 г.),— ТТКЭАН, т. I, М.—Л.

Грач А. Д., 1966, Археологические раскопки в Сут-Холе и Бай-Тайге,— ТТКЭАН, т. II, М.—Л.

Гребнев Л. В., 1960, Тувинский героический эпос, М.

Греков В. Д., Якубовский А. Ю., 1950, Золотая Орда и ее падение, М.—Л.

Грум-Гржимайло Г. Е., 1914, 1926, 1930, Западная Монголия и Урянхайский край, т. I, СПб., т. II, Л., т. III, вып. I—II, Л.

Грязнов М. П., 1933, Боярская писаница,— ПИМК, № 7—8.

Грязнов М. П., 1941, Древняя бронза Минусинских степей,— «Труды Отдела истории первобытной культуры ГЭ», т. I.

Грязнов М. П., 1950, Первый Пазырыкский курган, Л.

Грязнов М. П., 1955, Некоторые вопросы истории сложения и развития ранних кочевых обществ Казахстана и Южной Сибири,— КСИЭ, 24.

Грязнов М. П., 1956, История древних племен Верхней Оби,— МИА № 48.

Грязнов М. П., 1957, Этапы развития скотоводческих племен Казахстана и Южной Сибири в эпоху бронзы,— КСИЭ, 26.

Грязнов М. П., Маннай-олл М. Х., 1972, Аржан — царский курган раннескифского времени в Туве,— «Археологические открытия 1971 г.», М.

Джарылгасинова Р. Ш., 1959, Монументальная живопись древнекогурёвских гробниц,— «Проблемы востоковедения», № 1.

Добромыслов Л. И., 1895, Скотоводство в Тургейской области, Оренбург.

Доброхотов А. Ф., 1959, Частное животноводство, М.

Долгих Б. О., 1952, Происхождение нганасанов,— «Сибирский этнографический сборник, 1»,— ТИЭ, новая серия, т. XVIII, М.—Л.

Долгих Б. О., 1957, Тамги нганасанов и энцев,— КСИЭ, 27.

Долгих Б. О., 1960, Родовой и племенной состав населения Сибири в XVII в., М.

Долгих Б. О., 1964, Проблемы этнографии и антропологии Арктики,— СЭ, № 4.

Древнемонгольские города, М., 1965.

Друри И. В., 1955, Оленеводство, М.

Дулов В. И., 1952, Земледелие у тувинцев в XIX — начале XX в.,— «Материалы по истории земледелия СССР», т. I, М.

Дулов В. И., 1956, Социально-экономическая история Тувы XIX — начала XX в., М.

Дуньхуанские фрески, [б. г.], Альбом, Пекин (на кит. яз.).

Дыренкова Н. Р. и Потапов Л. П., 1928, Абыл и озуп — хозяйственные орудия шорцев,— «Культура и письменность Востока», кн. III, Баку.

Дэвлет М. А., 1965, Большая Боярская писаница,— СА, 3.

Ермолаев А. П., 1919а, Краткий отчет об исследованиях в Урянхайском крае в 1915—1918 гг.,— «Сибирские записки», № 4—5.

Ермолаев А., 1919б, Урянхайский край (материалы для характеристики Урянхайского края в торговом отношении), Минусинск.

Жданко Т. А., 1968, Номадизм в Средней Азии и Казахстане (некоторые исторические и этнографические проблемы),— «История, археология и этнография Средней Азии», М.

Житецкий И. А., 1892, Астраханские калмыки, Астрахань.

- Загряжский Г. С., 1874, Кара-Киргизы (Этнографический очерк).— «Туркестанские ведомости», № 41, 42, 44, 45, Ташкент.
- Залкинд Е. М., 1970, Общественный строй бурят в XVIII — первой половине XIX в., М.
- Зиманов С. З., 1958, Общественный строй казахов первой половины XIX в., Алма-Ата.
- Золотарев А., 1938, Новые данные о ламутах и тунгусах XVIII в.,— «Историк-марксист», № 2.
- Золотарев А. М. и Левин М. Г., 1940, К вопросу о древности происхождения оленеводства.— «Проблемы происхождения, эволюции и пороодообразования домашних животных», т. 1, М.—Л.
- Зуев Ю. А., 1960, Тамги лошадей из вассальных княжеств.— «Тр. Института истории, археологии и этнографии АН Каз. ССР», т. VII. Алма-Ата.
- Иванни М. И., 1847, Поездка на полуостров Мангышлак в 1846 г.,— «Записки РГО», кн. 2, СПб.
- Иезуитов В. М., 1956, От Тувы феодальной к Туве социалистической, Кызыл.
- «Известия Оренбургского отдела РГО», вып. 2. Оренбург, 1893.
- Иллюстрированный справочник произведений культуры в раскопках, сделанных во время капитального строительства в Китае, 1954, Пекин (на кит. яз.).
- Историко-этнографический Атлас Сибири, 1961, М.
- История Киргизии, т. 1, Фрунзе, 1956.
- История Тувы, 1964, т. 1—2, М.
- Кабо Р. М., 1934, Очерки истории и экономики Тувы, т. 1, М.—Л.
- Кадошцев А. В., 1877, Отчет о поездке в Киргизские степи, СПб.
- Калаптар А. А., 1887, Состояние скотоводства на Кавказе.— «Материалы для устройства казенных летних и зимних пастбищ и для изучения скотоводства на Кавказе», т. 1, Тифлис.
- Каргер Н. К., 1930, Оленеводство у енисейцев.— СС, № 6.
- Каров Д. М., 1960, О развитии примитивных орудий.— «Проблемы истории первобытного общества», М.
- Карпини Джованни дель Пано, 1957, История Монголов.— «Путешествие в восточные страны Пано Карпини и Рубрука», М.
- Каррутерс Д., 1914, Неведомая Монголия, т. 1, Урянхайский край, СПб.
- Каруц Р., 1910, Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке, СПб.
- Карцелли С., 1925, Карагасский олень и его хозяйственное значение.— «Северная Азия», кн. 3.
- Кастрен А., 1860, Путешествие А. Кастрена по Лапландии, Северной России и Сибири (1838—1844, 1845—1849).— «Магазин земледелия и путешествий», т. VI, М.
- Каталог выставки важнейших раскопок 5 провинций, 1958, Пекин (на кит. яз.).
- Катанов Н. Ф., 1891, Поездка к карагасам в 1890 г.— «Записки ИРГО по отделению этнографии», т. XVII, вып. II, СПб.
- Катанов Н. Ф., 1893, Сагайские татары Минусинского округа Енисейской губернии.— «Живая старина», т. 3, вып. 4.
- Катанов Н. Ф., 1903, Опыт исследования урянхайского языка, Казань.
- Керт Г. М., 1971, Саамский язык, Л.
- Кибиров А. К., 1957, Работа Тянь-Шаньского отряда.— КСИЭ, XXVI.
- Ким Н. В., 1968, Из истории земледелия у бурят в конце XVIII и первой половине XIX века.— «Исследования и материалы по истории Бурятии», Улан-Удэ.
- Ким Ен Чжун, 1959, Исследования живописи когурёских гробниц, Пхеньян (на кор. яз.).
- Кинжалов Р. В., Луконин Р. Г., 1960, Памятники культуры сасанидского Ирана, Л.
- Киргизско-русский словарь, 1965, составитель К. К. Юдахин, М.
- Киселев С. В., 1947, Монголия в древности.— «Известия АН СССР», серия истории и философии, IV, № 4.
- Киселев С. В., 1951, Древняя история Южной Сибири, М.
- Кисляков Н. А., 1962, Таджики.— «Народы Средней Азии и Казахстана», НМ, т. I, М.
- Кларк Г., 1953, Доисторическая Европа, М.
- Клеменц Д. и Хангалов М., 1958, Общественные охоты у Северных бурят.— М. Хангалов, Собрание сочинений, т. 1, Улан-Удэ.
- Кляшторный С. Г., 1961, Согдийцы в Центральной Азии (по руническим текстам).— «Эпиграфика Востока», XVI.
- Кляшторный С. Г., 1964, Древнетюркские рунические памятники как источники по истории Средней Азии, М.
- Ковалевский А. П., 1956, Книга Ахмеда ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921—922 гг., Харьков.
- Козин С. А., 1941, Сокровенное сказание Юань чао би ши, т. 1, М.
- Колычева Е. И., 1956, Ненцы европейской России в конце XVII — начале XVIII в.— СЭ, № 2.
- {Кон Ф. Я.}, 1902, Исследования Ф. Я. Кона в земле Урянхов.— «Русский антропологический журнал», № 4.
- Кон Ф. Я., 1903, Предварительный отчет по экспедиции Ф. Кона.— «Известия ВСОРГО», т. XXXIV, № 1.
- Кон Ф. Я., 1934, Экспедиция в Сойотию.— «За пятьдесят лет», г. III, М.
- Котляревский А., 1865, Металлы и их обработка в доисторическую эпоху у племен индо-европейских.— «Древности», т. 1, вып. 1, М.
- Кочешков Н. В., 1966, Коллекции по этнографии и народному искусству монголов в собрании У. Ядамсүрэна (МНР).— СЭ, № 4.
- Краснов А. Н., 1887, Очерк быта семипалатинских киргиз.— ИРГО, т. 23.
- Краткие сведения о черных татарах Пэн Да-я и Сюй Тина. Публикация Лань Кюн-и и Н. Ц. Мункуева.— «Проблемы востоковедения», 1960, № 5.
- Кропоткин П. А., 1867, Поездка в Окинский караул.— «Записки Сибирского отделения РГО», кн. 9—10, Иркутск.
- Крупнов Е. И., 1938, Галиатский могильник как источник по истории алан-ассов.— ВДИ, № 2.
- Куклин А. Ф., 1950, Верхнеенисейская лошадь.— «Труды тувинской сельскохозяйственной опытной станции», вып. II, Кызыл.
- Кулешов П. Н., 1949, Особенности черепа красной калмыцкой породы.— Избранные труды, М.
- Куликов П. Е., 1896, Буряты Иркутской губернии.— «Изв. ВСОРГО», т. XXVI, № 4—5, Иркутск.
- Культурное наследие Кореи, 1956, Пхеньян (на кор. яз.).
- Куфтин Б. А., 1926, Киргиз — казаки. Культура и быт. Этнологические очерки, М.
- Кызласов Л. Р., 1960, Таштыкская эпоха, М.
- Кызласов Л. Р., 1969, История Тувы в средние века, М.
- Кычанов Е. И., 1963, Сведения в Юань-ши о переселениях киргизов в XIII веке.— «Известия АН Киргизской ССР, серия общественных наук», т. V, вып. 1, Фрунзе.
- Кычанов Е. И., 1965, Некоторые суждения об исторических судьбах тангутов после нашествия Чингисхана.— КСИНА, 76, М.
- Кюнер Н. В., 1961, Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока, М.
- Ладыгин В. Ф., 1899, Этнографический очерк. Вести из экспедиции П. К. Козлова.— «Известия РГО», XXXV, вып. XI.
- Лакоста И. И., 1953, Верблюдоводство, М.
- Лашук Л. П., 1967, Историческая структура социальных организмов средневековых кочевников.— СЭ, № 4.
- Леваневский М. А., 1894—1895, Очерки Киргизских степей Эмбенского уезда.— «Земледелие», т. 1, кн. 2—4; т. 2, кн. 2—3.
- Левашева В. П., 1965, Бусы из Кара-Корума.— ДМГ, М.

- Левин М. Г., 1954, К антропологии южной Сибири.— КСИЭ, вып. 20.
- Левин М. Г., 1958, Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока, М.
- Левин М. Г. и Чебоксаров Н. Н., 1955, Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области.— СЭ, № 4.
- Левшин А., 1832, Описание киргиз-казачьих орд и степей, ч. III, СПб.
- Лелехин Л. Н., 1805, Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства, ч. IV, СПб.
- Либеров П. Д., 1960, К истории скотоводства и охоты на территории Северного Причерноморья.— МИА, № 53.
- Лю Хань, 1959, Погребальные статуэтки, изображающие всадников в латах эпохи северных династий.— «Каогу», № 2 (на кит. яз.).
- Маак Р., 1887, Вилюйский округ Якутской области, ч. III, СПб.
- Маврикий, 1903, Тактика и стратегия, СПб.
- Мак-Гахан, 1875, Военные действия в Оксусе и падение Хивы, М.
- Майский И., 1921, Современная Монголия, Иркутск.
- Майский И. М., 1959, Монголия накануне революции, М.
- Максимов А. Н., 1928, Происхождение оленеводства.— «Ученые записки ИИРАНИОН», т. VI.
- Малов С. Е., 1951, Памятники древнетюркской письменности. Тексты и исследования, М.—Л.
- Малов С. Е., 1952, Енисейская письменность тюрков, М.—Л.
- Малов С. Е., 1959, Памятники древнетюркской письменности Монголии и Киргизии, М.—Л.
- Маннай-оол М. Х., 1970, Тува в скифское время, М.
- Мао Цзо-бэнь, 1957, Изобретения наших предков, Шанхай (на кит. яз.).
- Маргулан А. Х. и Муканов М. С., 1967, Ремесло.— «Культура и быт казахского колхозного аула», Алма-Ата.
- Марко Поло, 1956, Книга Марко Поло, М.
- Марков Г. Е., 1958, Скотоводческое хозяйство и общественная организация северобалканских туркмен в конце XIX — начале XX века.— ВМУ, серия историко-филологическая, № 4.
- Марков Г. Е., 1961, Очерк истории формирования северных туркмен, М.
- Марков Г. Е., 1967, Кочевники Азии (автореф. докт. дисс.), М.
- Март Н. Я., 1926, Средства передвижения, орудия самозащиты и производства в доистории, Л.
- Масанов Э. А., 1958, Из истории ремесла казахов.— СЭ, № 5.
- Масанов Э. А., 1959, Казахское войлочное производство во 2-й половине XIX и начале XX в.— «Труды Ин-та истории, археологии и этнографии АН Казахской ССР», т. 6.
- Маслов П., 1933, К материалам тувинской сельскохозяйственной и демографической переписи.— ТСП, М.
- Материалы для истории Сибири, 1866.— Чтения в Обществе истории и древностей российских при Московском Университете, кн. 4.
- Материалы по истории русско-монгольских отношений (1607—1636), 1959, М.
- Материалы по истории туркмен и Туркмении, 1939, т. I, М.—Л.
- Материалы раскопок погребений у горы Шинжай близ Цзиньнина провинции Юньнань, 1959, Пекин (на кит. яз.).
- Машковцев А. А., 1940, Саянский дикий реликтовый северный олень.— «Доклады АН СССР», т. XXVII, № 1, М.
- Миддендорф А., 1860, 1878, Путешествия на север и восток Сибири, ч. 1—2, СПб.
- Миллер Г. Ф., 1941, История Сибири, т. II, М.—Л.
- Михайловский, 1937, На борьбу с джутом.— «Новая Тува», № 3.
- Михеев Н., 1910, Отчет о поездке в Северо-западную Монголию и Урянхайскую землю, СПб.
- Мкртумян Ю. И., 1971, К изучению форм скотоводства у народов Закавказья.— «Хозяйство и материальная культура народов Кавказа в XIX—XX вв. (Материалы к „Кавказскому историко-этнографическому атласу“)», вып. I, М.
- Монгольско-русский словарь (под ред. А. Лувсандэндэва), 1957, М.
- Мошинская В. И., 1953, Материальная культура и хозяйство Усть-Полуя, МИА, № 35, М.
- Музей провинции Хунань. Отчет о раскопках захоронений эпохи Цзинь и южных династий в Чанша.— «Каогу Сюэбао», 1959, № 3, (на кит. яз.).
- Мункуев Н. Ц., 1963, Основные китайские источники по истории Монголии (XIII—XIV вв.).— «Современная историография стран зарубежного Востока, вып. 1 (Китай)», М.
- Мурзаев Д. В., 1905, Краткий очерк скотоводства и ветеринарно-санитарного состояния Урянхайской земли.— «Архив ветеринарных наук», кн. 6.
- Мэн гу-ю-му-цзи, 1895, Записки о монгольских кочевьях. Перевод с китайского П. С. Попова, СПб.
- Народы Сибири, 1956, НМ, М.
- Небольсин В., 1852, Очерки быта калмыков Хомутского улуса, СПб.
- Никольский А. М., 1885, Путешествие на озеро Балхаш и в Семиреченскую область.— Записки Западно-Сибирского отделения РГО, кн. 7, вып. I, отд. 1.
- Носилов К. Д., 1889, Юридические обычаи манси.— «Сборник материалов по этнографии, издаваемый при Дашковском этнографическом музее», вып. 3, М.
- Общественный строй у народов Северной Сибири. XVII — начало XX в., 1970, М.
- Окладников А. П., 1937, Очерки из истории западных бурят-монголов, Л.
- Окладников А. П., 1950, К изучению начальных этапов формирования народов Сибири (население Прибайкалья в неолите и раннем бронзовом веке).— СЭ, № 2.
- Окладников А. П., 1955, Якутия до присоединения к русскому государству.— «История Якутской АССР», т. I, М.—Л.
- Окладников А. П., 1955а, Неолит и бронзовый век Прибайкалья, ч. III, МИА, № 43, М.
- Окладников А. П., 1957, Из истории этнических и культурных связей неолитических племен Среднего Енисея.— СА, № 1.
- Окладников А. П., 1959, Шишкинские писаницы, Иркутск.
- Окладников А. П., 1962, О начале земледелия за Байкалом и в Монголии.— сб. «Древний мир», М.
- Окладников А. П., 1966, Петроглифы Ангара, М.—Л.
- Окладников А. П., 1968, Тунгусо-маньчжурская проблема и археология.— «История СССР», № 6.
- Оразов А., 1964, Хозяйство и основные черты общественной организации у скотоводов Западной Туркмении в конце XIX — начале XX в., М.
- Орбели И. А., Тревер К. В., 1935, Сасанидский металл, М.—Л.
- Ордынский А. К., 1896, Очерки бурятской жизни, Тобольск.
- Осипова В., 1961, Сельскохозяйственная и демографическая перепись 1931 г. как важнейший источник характеристики экономического строя сельского хозяйства Тувы.— УЗ ТНИИЯЛИ, вып. IX, Кызыл.
- Островских П. Е., 1898, Краткий отчет о поездке в Тоджинский хошун, Урянхайской земли.— «Известия РГО», т. 34, вып. 4.
- Островских П. Е., 1927, Оленные тувинцы.— «Северная Азия», № 5—7.
- Ошурков В. А., 1904, Отчет о поездке, совершенной летом 1902 г. в Западную Саяны и западную часть хребта Танну-Ола.— «Записки Красноярского подотдела Восточно-Сибирского Отделения РГО по физической географии», т. I, вып. I, СПб.
- Пак Джин Ук, 1966, Упряжь периода Трех государств.— «Кого минсок», № 3 (на кор. яз.).

Паллас П., 1773—1788, Путешествие по разным провинциям Российского государства, ч. I—III, СПб.

Памятники Сибирской истории, 1882, кн. I, СПб.

Памятники Сибирской истории XVIII века, 1885, кн. II (1713—1724), СПб.

Патачаков К. М., 1958, Культура и быт хакасов (XVIII—XIX вв.), Абакан.

Певцов М. В., 1951, Путешествие по Китаю и Монголии, М.

Пекарский Э. К., Цветков В. П., 1913, Очерки быта приайских тунгусов, — сб. МАЭ, т. II, вып. I, СПб.

Пекарский Э. К., 1917, Словарь якутского языка, т. I—III, Пг.

Першиц А. И., 1961, Хозяйство и общественно-политический строй Северной Аравии в XIX — первой трети XX в., М.

Першиц А. И., 1971, Оседлое и кочевое общество Северной Аравии в новое время (автореф. докт. дисс.), М.

Пестерев Е., 1793, Примечания о прикосновенных около китайской границы жителях, как российских ясачных татарах, так и китайских мунгалах и сойотах, деланные Егором Пестеревым с 1772 по 1781 г., — «Новые ежемесячные сочинения...», ч. 79—82, СПб.

Петри Б. Э., 1927, Охотничьи угодья и расселение карагас, Иркутск.

Петри Б. Э., 1928, Промыслы карагас, Иркутск.

Петри Б., 1929, Оленеводство у карагас, — «Известия биолого-географического НИИ при Иркутском университете», т. III, вып. 2, Иркутск.

Пещерева Е. М., 1960, О ремесленных организациях Средней Азии в конце XIX — начале XX в., — КСИА, вып. 33.

Погорельский П. и Батраков В., 1930, Экономика кочевого аула Киргизстана, М.

Покровский Ю. М., 1936, Очерки по истории металлургии, ч. I, М.—Л.

Попов А. А., 1948, Нганасаны, М.—Л.

Попов А. А., 1955, Плетение и ткачество у народов Сибири в XIX и первой четверти XX столетия, — сб. МАЭ, т. XII.

Попов А. В., 1839, Краткие замечания о приволжских калмыках, СПб.

Попов В., 1905, Через Саяны в Монголию, Омск.

Попов В., 1913, Урянхайский край, Иркутск.

Попов Я., 1858, Алтай, — «Томские губернские ведомости», № 41.

Потанин Г. Н., 1881, 1882, 1883, Очерки северо-западной Монголии, вып. II, III, IV, СПб.

Потанин Г. Н., 1950, Тангутско-Тибетская окраина Китая и Центральная Монголия, М.

Потапов Л. П., 1935, Разложение родового строя у племен Северного Алтая. Материальное производство, М.—Л.

Потапов Л. П., 1954, О сущности патриархально-феодалных отношений у кочевых народов Средней Азии и Казахстана, — ВИА, № 6.

Потапов Л. П., 1960, Материалы по этнографии тувинцев районов Монгун-Тайги и Кара-Холя, — ТТКЭАН, I, М.—Л.

Потапов Л. П., 1966, Очерки этнографии тувинцев бассейна левого бережья Хемчика, — ТТКЭАН, т. II, М.—Л.

Потапов Л. П., 1969, Очерки народного быта тувинцев, М.

Пржевальский Н. М., 1888, Четвертое путешествие в Центральной Азии, СПб.

Пржевальский Н. М., 1946, Монголия и страна тангутов, М.

Приклонский В. А., 1891, Три года в Якутской области, — «Живая старина», вып. III—IV.

Принцц, 1865, Торговля русских с китайцами по р. Чусе и поездка в г. Хобдо, — «Известия ИРГО», отд. II, СПб.

Прокофьев Г. Н., 1928, Остяко-самоеды Туруханского края, — «Этнография», № 2.

Прокофьева Е. Д., 1961, Шаманские бубны, — ИЭАС, М.—Л.

Радлов В. В., 1871, Торговые сношения России с Западной Монголией и их будущее, — «Записки ИРГО по отделению статистики», СПб.

Радлов В. В., 1893., 1899, 1905, 1911, Опыт словаря тюркских наречий, т. I—IV, СПб.

Рассадин В. И., 1967, Лексика современного тофаларского языка, (автореф. канд. дисс.), Улан-Удэ.

Рашид-ад-дин, 1952, Сборник летописей, т. I, кн. I, М.—Л.

Родевич В. М., 1910, Очерки Урянхайского края (Монгольского бассейна р. Енисея), СПб.

Родевич В., 1912, Урянхайский край и его обитатели, — ИРГО, т. 48.

Рубрук Г., 1957, Путешествие в восточные страны, — «Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука», М.

Руденко С. И., 1930, Очерк быта северо-восточных казаков, — «Казаки», Л.

Руденко С. И., 1953, Культура населения Горного Алтая в скифское время, М.—Л.

Руденко С. И., 1955, Башкиры (историко-этнографические очерки), М.—Л.

Руденко С. И., 1961, К вопросу о формах скотоводческого хозяйства и о кочевниках, — «Материалы по отделению Этнографии», ч. I, вып. I, Л.

Руденко С. И., 1962, Культура хуннов и юннулинские курганы, М.—Л.

Румянцев Г. Н., 1962, Происхождение хориных бурят, Улан-Удэ.

Рыбаков Б. А., 1948, Ремесло древней Руси, М.

Рыгдылов Э. Р., 1951, Китайские знаки и надписи на археологических предметах с Енисея, — ЭВ, V, М.—Л.

Рычков К. М., 1916, Береговой род юраков, — «Записки Западно-Сибирского отделения ИРГО», т. 38.

Рычков Ю. Г., 1961, Материалы по антропологии западных тунгусов, — «Антропологический сборник», III, М.

Рычков Ю. Г., 1965, Особенности серологической дифференциации народов Сибири, — «Вопросы антропологии», № 21, М.

Садыхов С., 1966, Тюрко-монгольские параллели. Источники формирования тюркских языков Средней Азии и Южной Сибири, Фрунзе.

Самойлович А. Н., 1930, Казаки Кошгагачского аймака Ойратской автономной области, — «Казаки», Л.

Санжеев Г. Д., 1930, Дархаты. Этнографический отчет о поездке в Монголию в 1927 г., Л.

Сафьянов Г. П., 1883, Эпизод из странствий по Монголии, — «Восточное обозрение», № 7, 8.

Сафьянов М., 1926, Страна будущего, — «Северная Азия», М.

Сборник документов по истории Бурятии, XVII век, вып. I, 1960, Улан-Удэ.

Свербеев Н., 1853, Сибирские письма, — «Вестник ИРГО», VIII, СПб.

Севортян Э. В., 1966, Пробные статьи к «Этимологическому словарю тюркских языков», М.

Сельский М., 1858, Озеро Косогол и его нагорная долина, по сведениям, собранным членом-сотрудником ИРГО Пурмикиным, — «Вестник ИРГО», ч. 24, разд. II, СПб.

Семенов Ю. И., 1964, Категория «общественно-экономический уклад» и ее значение для философской и исторической науки, — «Философские науки», № 3.

Семенов Ю. И., 1968, Об одной из ранних пеработладельческих форм эксплуатации, — сб. «Разложение родового строя и формирование классового общества», М.

Семенов-Зусер С., 1931, Родовая организация у скифов Геродота, — ИГАИМК, т. IX, вып. I, М.

Сердобов Н. А., 1971, История формирования тувинской нации, Кызыл.

Сорошевский В. Л., 1896, Якуты, т. I, СПб.

Син Бил, 1957, Луньюн чжэньи (Комментарии клуньюн), Шигань цзин чжуншу, Пекин (на кит. яз.).

Синици И. В., 1947, Археологические раскопки на территории Нижне-

го Поволжья.— «Ученые записки Саратовского государственного университета», XVII, Саратов.

Сказания о богатырях. Тувинский героический эпос. Предисловие, перевод и комментарии Л. В. Гребнева, 1960, Кызыл.

Смирнов А. П., 1966, Скифы, М.

[Соловьев Д. К.], 1921, Саянский промыслово-охотничий район и соболинный промысел в нем.— «Отчет Саянской экспедиции Департамента Земледелия», Пг.

Сорокин С. С., 1961, Древние скотоводы Ферганских предгорий.— «Исследования по археологии СССР», Л.

Сосновский Г. П., 1933, Древнейшие следы скотоводства в Прибайкалье.— сб. «Из истории докапиталистических формаций», М.—Л.

Спасский Гр., 1819, Путешествие к алтайским калмыкам в 1806 г.— «Сибирский вестник», ч. III, IV.

Спасский Г., 1819, Народы, кочующие в верьху реки Енисей.— «Сибирский вестник», ч. 5.

Стариков В. С., 1966, Земледельческие орудия лесостепных районов Восточной Азии (автор. канд. дисс.), Л.

Стариков В. С., 1967, Земледелие у монголов и вопросы его происхождения.— «Тезисы докладов научной сессии... Института этнографии АН СССР за 1966 г.», Л.

Стариков В. С., Чебоксаров Н. Н., 1965, Материальная культура КНР.— «Народы Восточной Азии», НМ, М.—Л.

Страбон. География.

Сунчугашев Я. И., 1969, Горное дело и выплавка металлов в древней Туве, М.

Сэкай кокогаку тайкэй (Энциклопедия мировой археологии), 1962, т. 9, Токио (на яп. яз.).

Талько-Грынцевич Ю. Д., 1904, К антропологии тунгусов.— «Груды Троицко-Савско-Кяхтинского отделения Русского географического общества», т. VII, вып. 3, Иркутск.

Тан-Богораз В. Г., 1933, Оленеводство. Возникновение, развитие, перспективы.— сб. «Проблемы происхождения домашних животных», вып. 1, Л.

Танские погребальные статуэтки. Из раскопок 1952—1964 гг. в провинции Шэньси, Пекин, 1964 (на кит. яз.).

Теплоухов С. А., 1913, Сообщение о поездке в Урянхайский край с антропологической, археологической и этнографической целью в 1913 году.— «Землеведение», т. 20, кн. 4.

Тока С. К., 1957, Слово арата, М.

Тока С. К., 1970, Торжество ленинской национальной политики.— «Торжество ленинской национальной политики в Туве», Кызыл.

Токарев С. А., 1936, Докапиталистические пережитки в Ойротии, Л.

Токарев С. А., 1945, Общественный строй якутов в XVII—XVIII вв., Якутск.

Токарев С. А., 1958, Этнография народов СССР, М.

Толстов С. П., 1934, Генезис феодализма в кочевых скотоводческих обществах.— ИГАИМК, вып. 103, М.—Л.

Толстов С. П., 1948а, Древний Хорезм, М.

Толстов С. П., 1948б, По следам древнехорезмийской цивилизации, М.—Л.

Толстов С. П., 1961, Некоторые проблемы всемирной истории в свете данных современной исторической этнографии.— «Вопросы истории», № 11.

Толыбеков С. Е., 1959, Общественно-экономический строй казахов в XVII—XIX веках, Алма-Ата.

Тувинская сельскохозяйственная и демографическая перепись 1931 года, 1933, М.

Тувинско-русский словарь (под ред. А. А. Пальмбах), 1955, М.

Тугаринов А. Я., 1926, Последние калмажи. Северная Азия, № 1, М.

Тугутов И. Е., 1958, Материальная культура бурят, Улан-Удэ.

Тумахани А. В., 1961, Некоторые данные о художественной обработке металла у бурят.— «Краткие сообщения Бурятского комплексного научно-исследовательского Института», вып. III, Улан-Удэ.

Тыва тоолдар, 1947, Кызыл.

Тыва тоолдар, 1951, т. II, Кызыл.

Тэйлор Э., 1939, Первобытная культура, М.

Файнберг Л. А., 1964, Общественный строй эскимосов и алеутов, М.

Фан Цзя-шэн, 1954, Изобретение пороха в Китае и его распространение на запад, Шанхай (на кит. яз.).

Федоров-Давыдов Г. А., 1966, Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов, М.

Формозов А. А., 1969, Очерки по первобытному искусству, М.

Хакасско-русский словарь, 1953, М.

Хангалов М. Н., 1958, Рыболовство у бурят и Ухан-хат.— Хангалов, Собрание сочинений, т. 1, Улан-Удэ.

Харузин А., 1889, Киргизы Букеевской орды. Антрополого-этнологический очерк, М.

Харузин Н. И., 1890, Русские лопари, М.

Харузин Н., 1896, История развития жилища у кочевых и полукочевых тюркских и монгольских народностей России, М.

Хайду П., 1953, К этногенезу венгерского народа.— «Acta linguistica», Budapest, t. II, № 3—4.

Хомич Л. В., 1966, Ненцы, М.—Л.

Цалкин В. И., 1955, Домашние и дикие животные Северного Причерноморья в эпоху раннего железа.— МИА, № 53.

Цалкин В. И., 1966, Древнее животноводство племен Восточной Европы и Средней Азии, М.

Цалкин В. И., 1970, Древнейшие домашние животные Восточной Европы.— МИА, № 135.

Цалкин В. И., 1971, Животноводство населения Северного Причерноморья в эпоху поздней бронзы и раннего железа.— сб. «Проблемы скифской археологии», М.

Цветков П., 1912, Исламизм, Ашхабад.

[Чанчунь], Путешествие на запад буддийского монаха Чанчуня, Серия «Сыбу бэйяо», Шанхай, [б. г.] (на кит. яз.).

Чебоксаров Н. Н., 1965, Хозяйственно-культурные типы народов Восточной Азии.— «Народы Восточной Азии», НМ, М.

Черкасов А., 1884, Записки охотника Восточной Сибири, Иркутск.

Чернецов В. Н., 1935, Древняя приморская культура на полуострове Я-мал.— СЭ, № 4—5.

Чернецов В. Н., 1953, Бронза Усть-Полуйского времени.— МИА, № 35, М.

Чернецов В. Н., 1963, К вопросу о месте и времени формирования уральской (финно-угро-самодийской) общности (Congressus internationalis finno-ugratarum Budapestini Raditis, 20—24.X.1960, Budapest).

Чернецов В. Н., 1964, К вопросу об этническом субстрате в иркутско-полярной культуре, М.

Черников С. С., 1960, О термине «ранние кочевники».— КСИИМК, вып. 80, М.

Членова Н. Л., 1956, Несколько писаниц Юго-Западной Тувы, СЭ, № 4.

Членова Н. Л., 1967, Происхождение и ранняя история племен тагарской культуры, М.

Чу Ен Хон, 1961, К вопросу о датировке когурёских гробниц, Пхеньян (на кор. яз.).

Шахунова П. А., Лиханов Б. Н., 1955, Советская Тува (природа, население, хозяйство), Кызыл.

Шварц Л., 1864, Подробный отчет о результатах исследований матема-

- тического отдела Сибирской экспедиции РГО,— «Труды Сибирской Экспедиции РГО», СПб.
- Швецов С. П., 1900, Прimitивное земледелие на Алтае, Омск.
- Шинкин Б. К., 1914, Очерки Урянхайского края,— «Известия Томского университета», кн. 60, Томск.
- Шинмарев Я. П., 1871, Сведения о дархатах-урянхайцах ведомства Ургинского хутукты,— «Известия Сибирского отделения РГО», т. II, вып. 3.
- Шне В., 1894, Зимовки и другие постоянные сооружения кочевников Акмолинской области,— «Записки ЗСОРГО», вып. I, кн. XVII.
- Шренк Л., 1899, Об инородцах Амурского края, СПб.
- Шубин В. Ф., 1953, Земледелие Монгольской Народной республики, М.
- Шапов А., 1937, Бурятская улусная родовая община,— Собрание сочинений, дополнительный том, Иркутск.
- Шербак А. М., 1961, Названия домашних и диких животных, Историческое развитие лексики тюркских языков, М.
- Шербак А. М., 1970, Енисейские рунические надписи. К истории открытия и изучения,— «Туркологический сборник», М.
- Эрдниев У. Э., 1965а, К истории земледелия у калмыков,— «Записки Калмыцкого НИИЯТИ», вып. 4, Элиста.
- Эрдниев У. Э., 1965б, Скотоводство у калмыков в XIX — начале XX в.,— «Записки Калмыцкого НИИЯТИ», вып. 4, Элиста.
- Эрдниев У. Э., 1970, Калмыки, Элиста.
- Юань-ши, 1936, Шанхай (на кит. яз.).
- Юхнев П. М., 1901, Неземледельческие промыслы кочевников Бэйского уезда, т. II, Барнаул.
- Юхнев П. М., 1903, Горный Алтай и его население, Барнаул.
- Ядринцев Н. М., 1881, Об алтайцах и черных татарах,— «Известия РГО», вып. 4, СПб.
- Яковлев Е. К., 1900, Этнографический обзор инородческого населения долины Южного Енисея и объяснительный каталог этнографического отдела музея, Минусинск.
- Яковлев Е. К., 1902, Этнографические заметки о соютах урянхайцах,— «Известия Красноярского подотдела ВСОРГО», т. I, вып. 5, Красноярск.
- Ярилов А., 1899, Кызылцы и их хозяйство, Юрьев.
- Arendt W. W., 1939, Sur l'apparition de l'étrier chez les scythes,— «Eurasia septentrionalis Antiqua», II, Helsinki.
- Birket-Smith K., 1929, The Caribou Eskimos,— «Report of the Fifth Thule Expedition», vol. V, Copenhagen.
- Burckhardt J. L., 1831, Bemerkungen über die Beduinen und Wahaby, Weimar.
- Bushell S. W., 1910, Chinese Art, vol. I, London.
- Castren M. A., 1855, Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen, St.-Pbg.
- Castren M. A., 1857, Versuch einer Koihalischen und karagassischen Sprachlehre nebst Wörterverzeichnissen aus den tatarischen mundarten der Minussinischen Kreises, St.-Pbg.
- Chavannes Es., 1914, Six monuments de la sculpture Chinoise,— «Ars Asiatica», II.
- Donner K., 1933, Sibirien. Folk och forntid, Tammerfors.
- «Exhibition of Burial Clay Figures of Ancient China in Tenri University Museum», Tokyo, 1963.
- Flor F., 1930, Haustierte und Hirtenkulturen,— «Wiener Beiträge zur Kulturgeschichte und Linguistik», I, Wien.
- Hahn E., 1896, Die Haustierte und ihre Beziehungen zur Wirtschaft des Menschen, Leipzig.

- Hancar Fr., 1956, Das Pferd in Prähistorischer und früher historischer Zeit, Wien — München.
- Hatt G., 1919, Notes on Reindeer Nomadism,— «Memoires of the American Anthropological Association», vol. VI, № 2, Lancaster.
- Hatt G., 1921, The Reindeer,— «American Anthropologist», new series, vol. 23, Lancaster.
- Hentze C. [б. r.], Les figurins de la céramique Funéraire, II, Dresden.
- Hermanns M., 1949, Die Nomaden von Tibet, Wien.
- Jettmar K., 1952, Zu dem Anfängen der Renntierzucht,— «Anthropos», Bd 47, Freiburg.
- Jettmar K., 1953, Zu dem Anfängen der Renntierzucht: Nachtrag,— «Anthropos», Bd 48, Freiburg.
- Jochelson W., 1908, The Koryak,— «Memoires of the America Museum of the Natural History», vol. 6, Leiden — New York.
- Karutz R., 1911, Unter Kirgisen und Turkmenen, Leipzig.
- Klaproth J., 1823—1831, Asia Poliglotta, Paris.
- Klaproth J., 1824, Mémoires relatifs à l'Asie, concernant des recherches historiques, géographiques et philologiques sur les peuples de l'Orient, Paris.
- Köhalmi K. U., 1968, Two Saddle Finds from Western Mongolia,— «Acta archaeologica Academiae scientiarum Hungaricae», Budapest.
- Krause E., 1904, Vorgeschichtliche Fischereigeräte und neuere Vergleichsstücke. Eine vergleichende Studie als Beitrag zur Geschichte der Fischereiwesens, Berlin.
- Laufer B., 1917, The Reindeer and its Domestication,— «Memoires of the American Anthropological Association», vol. IV, № 2, Lancaster.
- Leimbach N., 1936, Landeskunde von Tuwa, Gotha.
- Lippert J., 1886, 1887, Kulturgeschichte der Menschheit, Bd I, II, Stuttgart.
- Liu Mau-tsai, 1958, Die chinesischen Nachrichten zur Geschichte der Ost — Türken (Tu-küe), I—II, Wiesbaden.
- Mahmud al-Kasgari, 1939—1942, T. D. K. Divanü Lügat-it-türk tercümesi, c. I—IV, Ankara.
- München-Helfen C., 1931, Reise ins asiatische Tuwa, Berlin.
- Menges K., 1936, Die Wörter für «Kamel» und einige seiner Kreuzungsformen in Türkischen,— «Ungarische Jahrbüchern», Bd XV, H. 4—5.
- Middendorff A., 1848—1875, Reise in den äussersten Norden und Osten Sibiriens während des Jahres 1843 und 1844... Bd I—4, St.-Pbg.
- Musil A., 1928, The Manners and Customs of the Ruala Beduin, New York.
- Nellemann G., 1961, Theories on Reindeer Breeding,— «Folk», vol. 3, København.
- Nemeth J., 1965, Das Zimmerhandwerk der Turko — Bulgaren in Spiegel der alttürkischen Lehwörter der ungarischen Sprache,— «Acta Orientalia Hungarica», t. XVIII, Budapest.
- Olsen O., 1915, Et primitivt Folk. De mongolske rennomader, Kristiania.
- Pallas P., 1776, Sammlungen historischer Nachrichten über die mongolischen Völkernschaften, I—II, St.-Pbg.
- Pohlhausen H., 1953, Nachweisbare Ansätze zum Wanderhirtentum in der niederdeutschen Mittelsteinzeit,— «Zeitschrift für Ethnologie», Bd 78, Hb. I, Braunschweig.
- Radin A., 1915—1916, The Wihnebado Tribe,— «Annual Reports of the Smithsonian Institute», vol. XXXVII.
- Radloff W., 1886, Proben der Volksliteratur der Türkischen Stämme Süd — Sibiriens, I, St.-Pbg.
- Radloff W., 1893, Aus Sibirien. Löse Blätter aus meinen Tagebuche, Bd I—II, Leipzig.
- Reclus E., 1881, Nouvelle géographie universelle, VI, Paris.
- Scheffer J., 1675, Lappland, Frankfurt a. M.—Leipzig.

- Schmidt W., 1951, Zu den Anfängen der Herdentierzucht,— «Zeitschrift für Ethnologie», Bd 76, Heft 1, Braunschweig.
- Schmidt W., Koppers W., 1924, Völker und Kulturen, Regensburg.
- Sewell J., 1958, Four Newly Acquired Examples of Japanese Art,— «The Art Institute of Chicago Quarterly», vol. LII, № 1.
- Sirelius U. T., 1916, Über die Art und Zeit der Zählung des Renntieres,— «Journal de la société Finno-Ougrienne», № 33, Helsinki.
- Stein A., 1928, Innermost Asia. III, Oxford.
- Tchihatcheff P., 1845, Voyage scientifique dans l'Altaï Oriental et les parties adjacentes de la frontière de Chine, Paris.
- Uray-Köhalmi K., 1959, Zwei Systeme der Alterszeichnungen des Viehes bei den Mongolen,— «Studia Mongolica», t. I, fasc. 31.
- Vambery H., 1878, Étymologisches Wörterbuch der turko-tatarischen Sprachen. Leipzig.
- Vorren Ø., Manker E., 1957, Samekulturen en oversikt,— «Tromsø Museum og Skrifter», vol. V, Tromsø.
- Wiklund K. B., 1913, Frageschema für die Erforschung des Renntiernomadismus,— «Journal de la Société Finno-Ougrienne», № 30, Helsinki.
- Wiklund K. B., 1919, Om renskötselns uppkomst, Stockholm.

ОСНОВНЫЕ АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И МУЗЕЙНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

Архивные источники

- Архив востоковедов при Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР. Рукописные материалы А. Позднеева, А. В. Бурдукова, Д. А. Клеменца (ф. 44, К-1, 28).
- Архив Географического общества СССР (Ленинград). Дневник Г. Е. Грумм-Гржимайло во время путешествия 1903 г. в пределы Западной Монголии (ф. 32).
- Архив Государственного музея этнографии народов СССР (Ленинград). Переписка Д. А. Клеменца с Ф. Я. Коном (ф. 1).
- Архив Ленинградского отделения Института этнографии АН СССР. Дневник экспедиции Н. Ф. Катанова 1889 г. (ф. V).
- Архив Института этнографии АН СССР. Материалы Ф. Я. Кона 1902—1903 гг. (фонд Ф. Кона). Дневник экспедиционной поездки М. Г. Левина и материалы, собранные в экспедиции 1926 г. (ф. 41).
- Государственный архив Иркутской области. Отчет Малышева (ф. 25).
- Государственный архив Красноярского края. Конспект доклада Турчанинова об Урянхайском крае 1915 г. (ф. 217). Материалы к отчету по обследованию бассейна р. Хемчика в статистико-экономическом отношении А. П. Ермолаева (ф. 217). Краткие сведения об Урянхайском крае 1918 г. (ф. 1380).
- Государственный архив Тувинской АССР. Фонд «Амбынь-нойоны и правители хошунов Тувы» (ф. Р-112). Фонд комиссара по делам Урянхайского края и Усинского округа (ф. Р-115). Отчет А. П. Ермолаева о поездке в Тоджу (ф. Р-123). Фонд экономического совета ТНР (ф. Р-114). Отчет учителя Венкеля о поездке в Тоджу (ф. Р-123).
- Ленинградское отделение Архива АН СССР. Портфели Г. Ф. Миллера (ф. 21). Отчет В. Васильева о поездке к карагасам, тувинцам и монголам 1908 г. (ф. 142). Материалы Б. Э. Петри о землепользовании у карагас (ф. 135). Пояснительная записка М. Н. Черневича (ф. 78). Материалы А. Тугаринова к этнографической карте Тувы (ф. 135).
- Рукописный фонд Красноярского краевого музея. Материалы А. П. Ермолаева (рф. № 338, 694, 5724, 9104).
- Рукописный фонд Минусинского музея. Сведения Г. П. Сафьянова о Туве (рф. № 1).
- Рукописный фонд Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории. Копия отчета агронома Турчанинова за 1915 г. (рф. № 8).
- Центральный Государственный архив древних актов. Фонд Иркутской приказной избы (ф. 1121). Портфели Г. Ф. Миллера (ф. 199).
- Центральный Государственный исторический архив. Дела об Урянхайском крае (ф. 1273, 1276, 1284).
- Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Дневники экспедиции Ф. Я. Кона в Туву (ф. 135).

Музейные коллекции

Государственный музей этнографии народов СССР. Колл. А. В. Адрианова 1881 и 1927 гг. (колл. № 720, 4847). Колл. С. А. Теплоухова 1927 г. (колл. № 4534). Колл. Ф. Кона 1902—1903 гг. (колл. № 439, 454, 466, 469, 472, 480, 483, 623, 630, 632, 635, 638, 650).

Иркутский краеведческий музей. Колл. Н. М. Мартынова 1884 г. (колл. № 385, 388, 402, 414, 503, 506, 599, 609, 726). Колл. Д. А. Клеменца 1891 г. (колл. № 1364). Колл. Ф. Кона 1902—1903 гг. (колл. № 5874).

Красноярский краевой музей. Колл. Переплетчикова 1892 г., Знаменского 1897 г., Островских 1897 г. (колл. № 1507). Колл. Ф. Кона 1902—1903 гг. (колл. № 1506). Колл. Тугаринова 1911 г. (колл. № 1551). Колл. Ермолаева 1916 и 1919 гг. (колл. № 1570, 1579). Колл. Скороходова 1913 г. (колл. № 1552). Колл. Доможирова 1919 г. (колл. № 1582).

Музей антропологии и этнографии АН СССР. Колл. А. Е. Островских (колл. № 399). Колл. Г. М. Осокина (колл. № 391). Колл. А. В. Адрианова (колл. № 335). Колл. Н. Ф. Катанова (колл. № 197).

Использованы также тувинские этнографические коллекции Минусинского музея, Тувинского республиканского музея, музеев при Казанском и Томском государственных университетах, школьных музеев Тувинской АССР, а также Гамбургского этнографического музея.

Этнографические коллекции автора хранятся в Тувинском республиканском музее, археологические — в Тувинском республиканском музее и Музее антропологии и этнографии АН СССР. Дневники и рукописные материалы экспедиций в Туву — в Тувинском республиканском музее, Тувинском научно-исследовательском институте языка, литературы и истории, Архиве Института этнографии АН СССР, Архиве Института археологии АН СССР.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВ — Архив востоковедов Ленинградского отделения Института востоковедения АН СССР

АГОЛ — Архив Географического общества СССР, Л.

АИАМ — Архив Института археологии АН СССР, М.

АИЭЛ — Архив Института этнографии АН СССР, Л.

АИЭМ — Архив Института этнографии АН СССР, М.

БИБПОР — Библиотека иностранных писателей о России

БМ — Бурятский республиканский музей

ВА — «Вопросы антропологии»

ВГ — «Вопросы географии»

ВДИ — «Вестник древней истории»

ВИ — «Вопросы истории»

ВМУ — «Вестник Московского университета»

ВСОРО — Восточно-Сибирское отделение РГО

ВЯ — «Вопросы языкознания»

ГАИО — Государственный архив Иркутской области

ГАНО — Государственный архив Новосибирской области

ГАТО — Государственный архив Томской области

ГА ТАССР — Государственный архив Тувинской АССР

ГИМ — Государственный Исторический музей

ГК — Гаочанская керамика

ГМ — Гамбургский музей

ГМЭ — Государственный музей этнографии народов СССР

ДИБ — Сборник документов по истории Бурятии

ДМГ — Древнемонгольские города

ЗЖ — «Зоологический журнал»

ЗСОРО — Западно-Сибирское отделение РГО

ИВГО — «Известия Всесоюзного Географического общества»

ИГАИМК — «Известия Государственной академии истории материальной культуры»

ИИРАНИОН — Институт истории Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук

ИК — История Киргизии

ИМ — Иркутский краеведческий музей

ИРГО — «Известия Русского географического общества»

ИСПК — Иллюстрированный справочник произведений культуры

ИЭАС — Историко-этнографический атлас Сибири

КВ — Каталог выставки важнейших раскопок.

ККА — Красноярский краевой архив

ККМ — Красноярский краевой музей

КРС — Киргизско-русский словарь

КСИМК — «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры АН СССР»

КСИНА — «Краткие сообщения Института Народов Азии».

КСИЭ — «Краткие сообщения Института этнографии АН СССР»

КСОТ — Краткие сведения о черных татарах

КУМ — Казанский университетский музей

ЛОААН — Ленинградское отделение архива АН СССР
 МАЭ — Музей антропологии и этнографии АН СССР
 МИА — Материалы и исследования по археологии СССР
 МИРМО — Материалы по истории русско-монгольских отношений
 МИС — Материалы для истории Сибири
 МИТ — Материалы по истории туркмен и Туркмении
 ММ — Минусинский музей им. Н. Н. Мартыанова
 МПХ — Музей провинции Хунань
 МРП — Материалы раскопок погребений...
 МРС — Монгольско-русский словарь
 МТУ — Музей Томского университета
 НИИЯЛИ — Научно-исследовательский институт языка, литературы и истории
 НМ — Серия «Народы мира»
 ОАК — Отчет археологической комиссии
 ОЛЕАЭ — Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии
 ОСНСС — Общественный строй у народов Северной Сибири
 ПИМК — Проблемы истории материальной культуры
 РГО — Русское географическое общество
 РФ ТНИИЯЛИ — Рукописный фонд Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории
 СА — «Советская археология»
 СКТ — Сэкай какогаку тайкэй
 СКХ — Сборник князя Хилкова
 СОБ — Сказания о богатырях
 СС — «Советский Север»
 С. ск. — С. А. Козин, Сокровенное сказание
 СЭ — «Советская этнография»
 ТДУ — «Труды Дальневосточного университета»
 ТИЭ — «Труды института этнографии АН СССР»
 ТКАЭЭ — «Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции»
 ТПС — Танские погребальные статуэтки
 ТРМ — Тувинский республиканский музей
 ТРС — Тувинско-русский словарь
 ТСДП — Тувинская сельскохозяйственная и демографическая перепись
 ТТ — Тыва тоолдар
 ТТ. II — Тыва тоолдар, т. II.
 ТТКЭАН — «Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции Института этнографии АН СССР»
 ТТСОС — «Труды Тувинской сельскохозяйственной опытной станции»
 ТЯФ — «Труды Якутского филиала АН СССР»
 УЗ ТНИИЯЛИ — «Ученые записки Тувинского научно-исследовательского института языка, литературы и истории»
 ЦГАДА — Центральный Государственный архив древних актов
 ЦГИАЛ — Центральный государственный исторический архив, Л.
 ЭВ — «Эпиграфика Востока»
 ЭО — «Этнографическое обозрение»
 ЕВСФ — «Exhibition of Burial Clay Figures...»
 МК — Mahmud al-Kaşgarî

УКАЗАТЕЛЬ ЭТНИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ*

Абак-кирен 23
 Авары 129
 Азербайджанцы 35
 Ак-монгуш 80
 Алтай-кижи 68
 Алтайские тюрки 131, 235
 Алтайцы 10, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 35, 43, 44, 52, 53, 68, 72, 79, 111, 138, 143, 144, 147, 151, 159, 161, 162, 166, 168, 177, 178, 185, 187, 189, 194, 196, 201, 202, 205, 207, 213, 215, 237, 238, 240, 251, 255, 256, 258, 263, 273, 276, 277, 288
 Арабы 67, 75, 80, 278
 Астраханские татары 152
 Афганцы 166
 Балыкчи 218, 224
 Башкиры 35, 143, 209
 Бедуины 71
 Бельтиры 89, 153, 277
 Буряты 4, 9, 10, 17, 111, 138, 147, 168, 175, 178, 189, 190, 202, 203, 205, 221, 222, 242, 244, 251, 252, 256, 258, 273
 Гуй (увань, гяй) 119
 Гунны 12, 28, 35, 43, 76, 128, 191, 210, 233, 285
 Гяй (см. гуй)
 Дархаты 9, 68, 71, 89, 93, 97, 99, 111, 178, 251, 273
 Долганы 102, 113, 117, 124, 289
 Древнетюркские племена (древние тюрки) 12, 27, 190, 191, 235
 Дубо (туба) 113, 109, 182, 230
 Дэрбэты 48, 49, 67, 263, 273, 275, 276, 288

Енисейские эвенки 118

Жужани 235

Индейцы 220

Иргиты 159

Казахи 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 36, 37, 48, 56, 58, 67, 68, 69, 71, 72, 75, 80, 83, 111, 138, 139, 143, 144, 145, 147, 148, 151, 159, 172, 179, 205, 216, 248, 252, 255, 259, 263, 277

Калга (см. халха-монголы)
 Калмыки 17, 36, 48, 49, 52, 67, 138, 178, 252, 263, 277

Камасинцы 9, 69, 89, 90, 91, 93, 96, 97, 99, 124, 198, 202, 211, 227, 251

Карагасы 89

Кара-калпаки 23, 35

Кара-монгуш 80

Качинцы 34, 153, 190, 203

Кеты 4, 125, 256, 283

Кидани 154

Киргизы 9, 20, 23, 24, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 46, 47, 50, 56, 57, 67, 68, 69, 76, 111, 139, 143, 145, 147, 151, 159, 162, 166, 194, 205, 209, 216, 238, 240, 249, 251, 252, 255, 277

Китайцы 129, 133, 176, 187, 276, 279

Койбалы 34, 89, 145, 153

Коряки 123, 124, 227, 289

Кумандинцы 153, 154, 227, 229

Курыканы 206, 209

Кызылыны 173

Кыпчаки 207

Кыргызы (группа тувинцев) 78, 79, 159

Кыргызы (хягас) 13, 39, 79, 111, 156, 157

Кыштаг 208

* Указатель составлен Т. Мастюгиной.

Лебединцы 143, 151, 154
Лесные урянкаты 14, 89, 152, 183, 201
Лопари (саамы) 124, 125
Лопари-скольты 288

Манси 200, 204
Манчжуры 185
Милтге 13
Монголы 4, 9, 10, 16, 17, 23, 25, 26, 28, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 57, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 102, 111, 112, 113, 117, 119, 136, 137, 138, 145, 147, 149, 150, 151, 152, 154, 157, 159, 162, 166, 167, 168, 171, 172, 177, 178, 187, 191, 194, 202, 205, 209, 210, 215, 216, 221, 222, 230, 240, 242, 244, 249, 251, 252, 255, 256, 259, 261, 263, 273, 275, 276, 279, 280, 281, 282
Монголы-дэрбэты (см. дэрбэты)
Монголы-халха (см. халха-монголы)
Монгуш 78
Моторы 89

Найман 147
Нганасаны 92, 95, 96, 122, 124, 289
Негидальцы 288
Ненцы 94, 109, 110, 124, 125, 289

Обские угры 221
Огузы 207
Ойнарские сойоты 152
Ойнары 79, 139
Ойраты-калмыки 180
Окинские сойоты 89
Ондары 80
Ордосские монголы 230, 275
Орочи 102
Османские турки 151

Печенеги 282
Половцы 282, 283
Приалтайские казахи 67
Приалтайские найманы 21, 214
Протосаамы 125

Русские 17, 51, 115, 139, 147, 150, 151, 152, 154, 160, 167, 176, 223, 226, 227, 237, 240, 273

Сагайские татары (сагайцы) 23, 57, 153, 277

Самодийцы 101, 106, 109, 110, 115, 118, 122, 125
Сары-хаш 93
Сат 79
Селькупы 97, 109, 125, 256
Скифы 21, 127, 138, 145, 215
Сунна 278

Табон-бельгиры 89
Таджики 65
Тангуты 280
Тасманийцы 227
Татары 17, 59, 66, 209, 281
Теленгиты 73, 75, 153, 251
Телеуты 143, 145, 151, 154, 189
Тибетцы 43, 44
Тидирисы 122
Тоджинцы (тувинцы-тоджинцы) 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 99, 110, 116, 119, 151, 153, 176, 184, 186, 191, 193, 198, 200, 202, 204, 205, 208, 211, 216, 218, 224, 226, 227, 229, 258, 285
Торгоуты 23
Торки 282
Тофалары 4, 9, 69, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 105, 110, 111, 116, 119, 142, 153, 193, 198, 200, 202, 204, 211, 221, 222, 223, 224, 227, 229, 251, 257, 273
Туба (см. дубо)
Тубалары 153, 227, 229
Тувинцы-тоджинцы (см. тоджинцы)
Тугю (см. тюрки-тугю)
Туматское племя 281
Тунгусы 92, 94, 105, 112, 115, 116, 117, 118, 120, 121, 122, 125, 189
Турки 26, 42
Туркмены 17, 23, 67, 143, 278
Тюрки 78, 102, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 119, 133, 136, 191, 289
Тюрки-тугю (тугю) 13, 129, 154

Увань (см. гуй)
Узбеки 35, 143
Уйгуры 13, 26, 35, 109, 151, 154, 209

Хакасы 4, 9, 10, 31, 35, 57, 73, 111, 143, 190, 193, 194, 197, 201, 202, 205, 251, 257, 258, 259, 263, 273, 277, 284
Халха-монголы (калга, монголы-халха, халхасцы) 17, 24, 36, 41, 67, 71, 152, 177, 255, 275
Ханты 204

Ханьхэна 89, 105, 153
Хягас (см. кыргызы)

Цилицисы 157

Челканцы 229
Чжурчжэни 16, 187
Чукчи 123, 227, 289

Шамары 278
Шорцы 31, 34, 57, 143, 145, 151, 153, 154, 194, 202, 220, 221, 227, 229, 230, 251

Эвенки 17, 94, 102, 105, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 154, 201, 220, 256, 285, 289
Эвенки-хамнеганы 115
Эвены 102, 124, 289
Энцы 94, 103, 105, 289
Эскимосы 221
Эчмы 13

Юкагиры 288

Якуты 17, 35, 44, 46, 50, 56, 57, 67, 73, 92, 102, 117, 143, 144, 148, 191, 201, 204, 205, 207, 209, 216, 237, 242, 249, 255, 256, 258, 289